1940 г.
1937 г.
38.476.28
130

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

891.78
L981o

This **BOOK** may be kept out **ONE MONTH** unless a recall notice is sent to you. A book may be renewed only once; it must be brought to the library for renewal.

MAY 12 1964

MAR 2 1988

MAR 3'88

Г-21.
Л-85.

А. ЛУНАЧАРСКІЙ

Отклики жизни

СОДЕРЖАНІЕ:

Предисловіе.
Дачники.
Въ мірѣ неяснаго.
О чести.
Есть ли душа у японца?
Діалогъ объ искусствѣ.
Философія и жизнь.
Храмъ или мастерская.
Экскурсія на „Полярную Звѣзду".
Варвары.

Библиотека Петр. Райсовета
БИБЛИОТЕКА
имени В. И. ЛЕНИНА
ул. Р. Люксембург, д. 9
Проверено в 1959 г.
БИБЛИОТЕКА
имени тов. ЛЕНИНА.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
О. Н. ПОПОВОЙ
1906
С.-ПЕТЕРБУРГЪ
НЕВСКІЙ, 54

ПРОВЕРЕНО

Тип. Спб. акц. общ. „СЛОВО“. Ул. Жуковскаго, 21.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящій сборникъ по общему направленію своему является прямымъ продолженіемъ перваго сборника моихъ статей, озаглавленнаго „Этюды критическіе и полемическіе".

Цѣликомъ раздѣляя всѣ основы марксизма, я совершенно соглашаюсь съ Карломъ Каутскимъ въ его утвержденіи, что основой научно-соціалистической мысли и публицистики всегда долженъ оставаться глубокій соціально-экономическій анализъ явленій общественной жизни и основанный на немъ научный прогнозъ. Но я не думаю, какъ не думаетъ и Каутскій, чтобы область марксистской мысли вполнѣ исчерпывалась этой, повторяю, главной и основной задачей. Сознаніе отдѣльныхъ индивидовъ и массъ растетъ и опредѣляется въ атмосферѣ общественной жизни, строго завися въ конечномъ счетѣ отъ классовой структуры даннаго общества, отъ момента классовой борьбы, въ свою очередь зависящихъ отъ достигнутой стадіи экономическаго развитія. Сознаніе опредѣляется бытіемъ. Но только вульгарный марксизмъ, марксизмъ, какимъ онъ представляется испорченнымъ и враждебно настроеннымъ умамъ его противниковъ, отрицаетъ огромную сложность процесса психическаго приспособленія индивидовъ и массъ къ силамъ и

891.78
L981o
1004745

импульсамъ соціальной среды. Человѣческая психика, какъ индивидуальная, такъ и коллективная, является чрезвычайно усложненнымъ и тонкимъ механизмомъ. Какъ именно опредѣляетъ „бытіе“ зарожденіе; развитіе и смерть той или иной идеи, какъ зажигается въ сердцахъ энтузіазмъ, или разливается по нимъ холодная апатія, какъ выковываются разнообразныя чувства чести, какимъ путемъ коллективныя цѣли превращаются въ индивидуальный идеалъ, настолько мощный, что передъ его требованіями умолкаютъ всѣ эгоистическіе инстинкты вплоть до инстинкта самосохраненія,—вотъ нѣкоторыя изъ того моря задачъ, которыя ставитъ передъ нами психологія.

Марксистская соціологія беретъ изъ общественной жизни два момента: всеопредѣляющую среду и вытекающіе, какъ результаты ея воздѣйствій, п о с т у п к и индивидовъ и, въ особенности, массъ. То, что происходитъ, такъ сказать, внутри индивида, работу психическаго передаточнаго механизма, черезъ посредство котораго импульсы космической и соціальной среды претворяются въ человѣческія дѣйствія, марксистская соціологія игнорируетъ. И совершенно правильно: какъ соціологія, она должна считаться лишь съ внѣшними, точно данными фактами. Попытка буржуазныхъ соціологовъ перенести центръ тяжести на явленія психическія, на мысли, чувства и желанія, увидѣть въ нихъ первопричину человѣческихъ дѣйствій, а, стало быть, и историческихъ явленій,—привела къ невозможной путаницѣ и противорѣчитъ основной научной идеѣ объ исчерпывающей зависимости индивидуальнаго отъ среды, силы которой дѣйствуютъ до него и вокругъ него и неразрывной частью которой онъ является.

Тѣмъ не менѣе психологическія задачи существуютъ и, не относясь къ области марксистской соціологіи, не могутъ не становиться предметомъ марксистской мысли вообще. Мало того, я убѣжденъ, что только революціонно

мыслящій и революціонно чувствующій марксистъ можетъ пролить яркій свѣтъ въ эту область и внести относительную систематичность въ явленія, которыя до сихъ поръ изслѣдованы лишь по кусочкамъ, а иногда даже просто и не констатированы, такъ какъ наиболѣе интересныя, сложныя и прекрасныя душевныя движенія доступны и понятны только революціонеру.

Для накопленія матеріала и его разработки на всѣхъ стадіяхъ, вплоть до формулированія законовъ индивидуальной и коллективной психологіи, существуютъ три пути: 1) путь систематическаго научнаго изслѣдованія, 2) путь беллетристическаго художественно-интуитивнаго и символически-обобщающаго изображенія и 3) путь отдѣльныхъ публицистическихъ очерковъ, этюдовъ или опытовъ, могущихъ играть большую роль, удачной постановкой знаковъ вопроса, или удачнымъ наведеніемъ на отдѣльные отвѣты.

Бурное время, которое мы переживаемъ, не даетъ никакой возможности для активнаго марксиста со всѣмъ нужнымъ спокойствіемъ и основательностью отдаться систематической научной работѣ. Кое-что сдѣлано въ этомъ направленіи тов. Богдановымъ въ его трудахъ, начиная съ книги: „Познаніе съ исторической точки зрѣнія“ и кончая послѣднимъ томикомъ: „Эмпиріомонизмъ“. Тов. Богдановъ ставилъ прежде передъ собою почти исключительно теоретико-познавательныя задачи, но въ послѣднее время онъ переходитъ также къ анализу чувственной и волевой стороны душевной жизни. Далеко не раздѣляя идеи тов. Богданова во всемъ цѣломъ, я не могу не отмѣтить плодотворности положеннаго имъ въ основу его изслѣдованій объединенія результатовъ новѣйшей научно-философской мысли съ основными идеями марксизма. Новѣйшая научная философія, развитая по преимуществу натуралистами, остановилась на извѣстной стадіи и не можетъ произнести слѣдующаго слова, именно, потому, что она чужда великимъ основамъ научнаго со-

ціализма. Но научный соціализмъ, воспринявшій отъ буржуазной мысли идею эволюціи, воспринявшій и переработавшій принципы классической политической экономіи, воспримет и переработаетъ также идеи Кирхгофена, Максвеля, Герца, Оствальда и цѣлаго ряда другихъ великихъ натуралистовъ, итоги которымъ съ замѣчательной ясностью подвелъ Христъ Махъ, съ замѣчательной многосторонностью Рихардъ Авенаріусъ. Марксизмъ воспримет эти идеи, потому что онѣ родственны ему; онъ переработаетъ ихъ, упрочивъ и расширивъ, такимъ образомъ, величественный храмъ пролетарской философіи.

Тов. Рожковъ въ предисловіи къ брошюрѣ „Пролетарская этика“ заявляетъ: „отъ искренно убѣжденнаго марксиста надо отличать марксиста послѣдовательнаго, т. е. такого, философскіе взгляды котораго находятся въ полной гармоніи съ его соціологическими, историческими и практическими взглядами: послѣдовательность требуетъ отъ марксистовъ усвоенія основъ эмпиріокритицизма Авенаріуса“. Быть можетъ, это положеніе тов. Рожкова слишкомъ смѣло, но на нашъ взглядъ оно не очень далеко отъ истины.

Мы убѣждены, что будущее маркистской гносеологіи и психологіи лежитъ въ томъ направленіи, въ какомъ ищетъ его тов. Богдановъ, т. е. въ направленіи органическаго усвоенія и претворенія въ плоть и кровь научнаго соціализма эмпирической научной философіи. Вотъ почему я счелъ важнымъ постараться дать русскому читателю доступное изложеніе теоріи Авенаріуса *). Рецензенты этой моей работы нашли мое изложеніе недостаточно пунктуально-точнымъ. Они правы: моей задачей было не только, и даже не столько познакомить читателя съ Авенаріусомъ, какъ

*) „Критика чистаго опыта“ Р. Авенаріуса въ популярномъ изложеніи А. Луначарскаго. Изд. Чарушникова.

доказать глубокую соединимость біологической психологіи Авенаріуса съ историческимъ матеріализмомъ Маркса. Систематическія работы марксистовъ въ области психологіи, а также эстетики и „этики“ будутъ на нашъ взглядъ базировать на анализѣ и терминологіи Авенаріуса. Къ сожалѣнію, къ продолженію работы систематическаго характера лично для пишущаго эти строки встрѣчаются непреодолимыя препятствія, впрочемъ препятствія такого характера, что съ равнымъ правомъ можно было бы сказать—и къ „счастью“.

Въ области беллетристики для живого уразумѣнія соціально-психологическихъ явленій сдѣлано уже и дѣлается чрезвычайно много. Само собою разумѣется, что дарованіе является здѣсь непремѣннымъ условіемъ и опредѣляетъ въ наивысшей мѣрѣ цѣнность доставляемаго художественнымъ произведеніемъ матеріала, цѣлесообразность его обработки и высоту его обобщенности. Но при прочихъ равныхъ условіяхъ, и здѣсь опять-таки особенно глубокихъ и особенно важныхъ для цѣлей познанія индивидуальной и коллективной души открытій, наблюденій и выводовъ, надо ждать отъ беллетристовъ, стоящихъ на высотѣ современной науки объ обществѣ, т. е. марксизма. Здѣсь не мѣсто входить въ разсмотрѣніе причинъ того факта, что ни русская, ни западноевропейская литература не обладаютъ значительнымъ числомъ беллетристовъ-марксистовъ. Появленіе художественныхъ произведеній, преслѣдующихъ тѣ соціально-психологическія задачи, которыя стоятъ теперь, на нашъ взглядъ, передъ марксистской мыслью,—неизбѣжно.

Посильный опытъ сдѣланъ пишущимъ эти строки въ драмѣ „Королевскій Брадобрей“, дающей попытку художественнаго анализа и эстетической („этической“) критики власти въ одной изъ ея наиболѣе чистыхъ формъ. Въ дальнѣйшемъ авторомъ будетъ сдѣлана попытка противопоставить этой драмѣ—драматическую же картину роста са-

мыхъ тонкихъ и прекрасныхъ душевныхъ движеній въ такъ называемыхъ „грубыхъ“ сердцахъ, въ атмосферѣ братской борьбы за народное право.

Вышеупомянутый первый сборникъ этюдовъ и настоящая книга представляютъ изъ себя третій для настоящаго времени, къ сожалѣнію, наиболѣе достойный способъ подходить къ задачамъ психологіи и тѣсно связанной съ ней эстетики, какъ науки объ оцѣнкахъ. Статьи, печатаемыя въ настоящей книгѣ, были опубликованы раньше въ журналахъ „Правда“ и „Образованіе“. Всѣ онѣ тщательно пересмотрѣны и освобождены отъ опечатокъ, которыми, къ сожалѣнію, бывали иногда прямо-таки искажены.

Статья „Въ мірѣ неяснаго“ появляется въ значительно расширенномъ видѣ, такъ какъ при первомъ своемъ опубликованіи она была жестоко ощипана усерднымъ и богобоязненнымъ цензоромъ.

А. Луначарскій.

Hangö.
8 апрѣля, 1906 г.

Дачники.

Новая драма Горькаго, какъ и двѣ прежнія его драмы, представляетъ собою картину разслоенія. То, что разслоеніе, процессъ взаимнаго размежеванія, все болѣе опредѣленная диференціація отдѣльныхъ группъ, типовъ и теченій, занимаетъ у нашего драматурга такъ много мѣста, — свидѣтельствуетъ лишь о его чуткости, такъ какъ русское общество, дѣйствительно, переживаетъ грандіозный процессъ самоопредѣленія; все въ немъ находится въ неотвердѣвшемъ еще видѣ, но постепенно отвердѣваетъ; и общество начинаетъ получать все болѣе рѣзко характерную физіономію. Припомните „Мѣщанъ“. Старый, прежде незыблемый материкъ мѣщанства—Безсеменовы отцы, растерянные и испуганные, отступаютъ, давая мѣсто своимъ дѣтямъ, настроеній и желаній которыхъ они не понимаютъ. Безсеменовы дѣти вступаютъ въ жизнь подъ разными флагами, и ихъ лица постепенно обрисовываются въ ходѣ самой пьесы. Петръ, правое крыло новаго мѣщанства, увлеченный сначала процессомъ всеобщей ломки, протеста и перестройки, быстро охладѣваетъ къ дѣлу широкой общественной реформы; онъ терзается стыдомъ, отставая отъ своихъ недавнихъ товарищей и ихъ радикальныхъ лозунговъ; ихъ неумолимой твердости, требовательности и неуживчивости онъ противопоставляетъ лозунгъ терпимости, мягкости и уступчивости, онъ требуетъ,

чтобы ему предоставили моральную свободу быть самимъ собою, потому что его естественнымъ желаніемъ является, по справедливому замѣчанію Нила, кое-что переставить въ домѣ своего отца, но въ общемъ и существенномъ оставить все по прежнему. Рядомъ съ умѣренностью его желаній характерна для Безсеменова сына дряблость и безхарактерность. Какъ мы уже сказали, Петръ представляетъ изъ себя правое крыло новаго мѣщанства. Какъ своеобразный переходный типъ, стоитъ передъ нами сестра его Татьяна. Дряблость и безхарактерность доходятъ у нея до гибельныхъ размѣровъ, она слишкомъ нервна, слишкомъ слаба, слишкомъ устала, чтобы радостно прислушиваться къ звукамъ всероссійскаго оркестра, который настраивается, чтобы, какъ говоритъ Тетеревъ, сыграть что-то фортиссимо, не говоря уже о томъ, чтобы самой принять участіе въ боевой музыкѣ; но, съ другой стороны, она слишкомъ изыскана, душа ея слишкомъ утонченна, чтобы примириться съ той мѣщанской обстановочкой, къ которой устремляются желанія ея брата, и остается ей, бѣдной, либо умереть, либо жалко ныть, наводя на всѣхъ скуку, либо найти себѣ утѣшеніе въ болѣе или менѣе мистическомъ міровоззрѣніи. Лѣвымъ крыломъ молодого мѣщанства является жизнерадостный, увѣренный въ себѣ Нилъ. Онъ не родной сынъ Безсеменова, онъ его пріемышъ, трудъ котораго долго эксплоатировали подъ видомъ благодѣянія. Ростъ крупной промышленности даетъ ему независимое мѣсто въ качествѣ высоко квалифицированнаго рабочаго, и онъ гордо вступаетъ въ жизнь, гордо предъявляетъ свои требованія и намѣренъ произвести въ безсеменовскомъ мірѣ измѣненія, безконечно болѣе глубокія, чѣмъ тѣ, о которыхъ мечтаетъ Петръ; топая въ полъ безсеменовскаго жилища, Нилъ вызывающе восклицаетъ: „сюда много моего труда вложено, я здѣсь тоже хозяинъ,— хозяинъ тотъ, кто трудится!“.

Къ Нилу примыкаетъ интеллигентная голытьба, въ лицѣ

Шишкина и Цвѣтаевой, аплодируетъ ему и одобряетъ его и „большой человѣкъ“, несвоевременный человѣкъ, Тетеревъ.

Замѣчательно, что даже передовая интеллигенція, живые Шишкины, если хотите, были шокированы одной чертой мѣщанъ, сказывающейся особенно въ характерахъ Тетерева и Нила — холодной жестокостью къ слабымъ и стонущимъ. Противъ Нила положительно протестовали, находя его недостаточно деликатнымъ и мягкимъ. Но жестокость, гордое. здоровое равнодушіе къ безнадежно больному, унылому и хилому не случайно и не помимо воли автора заняло свое мѣсто въ характеристикѣ положительныхъ персонажей, такъ какъ Нилъ и Тетеревъ—персонажи положительные на нашъ взглядъ, и мы увѣрены, на взглядъ Горькаго; презрительная жестокость къ вялымъ и тряпичнымъ отбросамъ процесса общественной ломки, къ счастью, присуща Горькому, вообще. Эта презрительная жестокость ни на минуту не можетъ помѣшать самой глубокой нѣжности и состраданію къ скорбямъ существъ здоровыхъ, самой горячей жажды помощи къ тѣмъ, кто придавленъ внѣшними обстоятельствами и бьется, и ранитъ грудь о прутья проклятой клѣтки.

Я считаю драму „На днѣ“ произведеніемъ болѣе художественнымъ, чѣмъ драму „Мѣщане“, но въ соціально-психологическомъ отношеніи она даетъ безконечно меньше, такъ какъ разновидности общественнаго „дна“ не могутъ имѣть для насъ того значенія, какое имѣетъ „мѣщанство“. Драма эта остается драмою разслоенія, но интересъ перенесенъ изъ области соціально-психологической въ область философско-этическую. Философско-этическія проблемы, поставленныя Горькимъ „На днѣ“, и отвѣты, которые на нихъ даются тамъ, нѣсколько озадачили насъ и вызвали немалую радость въ писателяхъ съ широкимъ сердцемъ и теплымъ туманомъ въ головѣ, подобныхъ, напримѣръ, г. Волжскому. Коренной вопросъ во второй драмѣ Горькаго, вопросъ о

жалости. Писатель словно испугался обвиненій въ жестокосердіи и полномъ отсутствіи любви къ ближнему. Онъ создалъ „драму жалости и милосердія“, какъ назвалъ своихъ „Ткачей“ Гауптманъ въ извинительномъ письмѣ къ Вильгельму II.

Правда, одни изъ героевъ „дна“ провозглашаютъ свѣтлые и боевые лозунги: „человѣкъ—это звучитъ гордо!.. Богъ свободнаго человѣка—Правда!“ Въ высшей степени страннымъ, однако, представляется, что произносящій эти слова интеллигентный босякъ вывелъ ихъ изъ ученія странника Луки—лукаваго человѣколюбца. Между тѣмъ Лука мягокъ, потому что его „много мяли“, какъ онъ объясняетъ; умудренный опытомъ, онъ сталъ ловкимъ врачемъ людскихъ страданій, а испытаннымъ лѣкарствомъ, его панацеей, которую онъ лишь искусно варьируетъ, является ложь.

Въ критической литературѣ уже указывали, что какъ горьковская жестокость, его крѣпкое и свѣжее, какъ горный воздухъ, правдолюбіе, такъ и та проповѣдь утѣшительной лжи, въ которую онъ ударился въ своемъ „днѣ“,—имѣютъ своимъ прототипомъ (врядъ ли источникомъ) нѣкоторыя идеи жестокаго философа съ молотомъ—Фридриха Ницше.

Въ самомъ дѣлѣ, Ницше требовалъ отъ человѣка гордости, требовалъ отъ него мужества смотрѣть правдѣ въ лицо и искать правды, хотя бы она несла съ собою и страданіе. Преодолѣть свой страхъ передъ страданіемъ, тотъ страхъ, который заставляетъ порою человѣка зажмуривать глаза, жаждать могучей и прочной культуры, основанной на гранитѣ истины, а не на хрупкихъ подпоркахъ измышленій—вотъ въ чемъ, по Ницше, должна заключаться гордость человѣка. И въ этомъ мы съ нимъ совершенно согласны. Но такое воззрѣніе на задачи человѣка неминуемо приводитъ къ презрительной жестокости по отношенію къ тѣмъ коротконогимъ и малодушнымъ людямъ, которые, не

надѣясь на свои силы и ужасаясь открывающихся передъ ними, безконечныхъ, но темныхъ перспективъ, готовыхъ, какъ они думаютъ, поглотить ихъ, — кутаются въ ветхія лохмотья старой утѣшительной лжи или въ непрочную паутину новыхъ самообмановъ. Мужественно идя впередъ по трагическому пути познанія дѣйствительности, по тяжкой дорогѣ борьбы съ нею, ломая вокругъ себя острые мраморные углы, царапающіе ихъ грудь, перебрасывая мосты черезъ бездны, правдоискатели и борцы не могутъ отмахиваться пренебрежительно отъ хилыхъ и хворыхъ людей, не отъ раненыхъ, нѣтъ: „раненый не боленъ!“—какъ говоритъ Варвара въ послѣдней драмѣ Горькаго, а отъ отравленныхъ, отъ отравленныхъ угаромъ мѣщанскихъ клѣтушекъ, чадомъ лампадъ и восковыхъ свѣчей, зажженныхъ передъ идолами, отъ тѣхъ, кто, привыкнувъ къ жаркой и душной атмосферѣ, къ двойнымъ рамамъ, печамъ и перинамъ, не можетъ не считать смертельнымъ для себя вольный вѣтеръ правды, вѣющій на ослѣпительныхъ снѣговыхъ вершинахъ.

„Богъ свободныхъ людей—Правда“,—говоритъ Горькій устами одного изъ своихъ героевъ. Конечно, онъ хочетъ формулировать этимъ выше намѣченное міровоззрѣніе. Однако, мы не согласимся съ нимъ. Нѣтъ! У свободнаго человѣка нѣтъ боговъ. Человѣкъ ищетъ правды и находитъ ее не для того, чтобы сдѣлать ее своею госпожею, не для того, чтобы передъ нею преклониться, но для того, чтобы биться съ нею и покорять ее, сковать ее золотыми цѣпями разума и заставить служить себѣ и наслаждаться ею и, поставивъ ногу на ея шею, подняться выше, въ область творчества. Правда—не Богъ, это фундаментъ, это матеріалъ и орудіе. Но передъ человѣкомъ носится другая прекрасная фея, сотканная изъ мыслей и солнечныхъ лучей, чудная мечта человѣческая. Но и она, эта далекая принцесса Греза—не высшее существо по сравненію съ творцомъ-человѣкомъ, а его же-

ланная невѣста. Жизнь человѣчества — прекрасная сказка, и я хочу кстати вкратцѣ разсказать вамъ ее читатель.

Это—сказка о героѣ, объ Иванѣ-царевичѣ, который полюбилъ всѣмъ пыломъ огненной души существо изъ легкаго тумана, блѣдный и летучій, но невыразимо прелестный образъ. Этотъ образъ пролеталъ передъ нимъ и подъ полуденными лучами солнца среди повседневныхъ трудовъ, и при свѣтѣ луны, украдкой глядящей въ одинокую спальню царевича-человѣка. И много разъ хотѣлъ онъ схватить милый образъ и страстно прижать къ груди свою туманную принцессу, но только воздухъ хватали его порывистыя руки, и онъ горько плакалъ, и призрачныя слезы выступали на глазахъ безплотнаго видѣнія. Долго не могъ понять нашъ царевичъ, что шепчутъ ему призрачныя уста, но онъ услышалъ, наконецъ, о чемъ молила его Греза: „создай мнѣ тѣло“,—говорила она. И начались годы науки и годы труда, пока изъ неуступчивыхъ элементовъ дѣйствительности создалъ волшебникъ и художникъ человѣкъ прекрасное тѣло для заколдованной принцессы Грезы. И она слилась съ нимъ, и оно ожило, и, ликуя, обнялъ нашъ Иванъ-царевичъ свою супругу—Осуществленную Мечту.

Не думайте, читатель, что мы далеко уклонились отъ темы; мы вернулись къ ней. Ницше училъ, что человѣкъ воленъ создавать себѣ иллюзіи и грезы, если только онѣ ведутъ его впередъ по пути творческихъ побѣдъ, къ росту силъ, къ царственному счастью власти надъ природой. Пусть даже греза окажется неосуществимой, пусть идеалъ—сверхъ силъ, дѣло лишь въ томъ, чтобы человѣкъ былъ смѣлъ и стремился впередъ. Отнимите у человѣка подобную иллюзію, и, если онъ силенъ, онъ создастъ себѣ другую, еще болѣе прекрасную. То же, что ждетъ его, быть можетъ, прекраснѣе всѣхъ грезъ; теперь мы видимъ это будущее, „яко въ зерцалѣ гаданій“,—тогда же „познаемъ лицомъ къ лицу!“.

Конечно, для того, чтобы быть причастнымъ такому труду и такимъ надеждамъ, нужно перерости рамки индивидуалистическаго узкодушія. Но съ такими творческими „иллюзіями"—какъ далеки мы отъ трусливой утѣшительной лжи горьковскаго Луки. Явныя симпатіи *) Горькаго къ Лукѣ мы считаемъ временнымъ грѣхопаденіемъ писателя, который намъ дорогъ и въ боевой инстинктъ котораго мы вѣримъ: знакомство съ „Дачниками" было облегченіемъ. Это не только драма общественнаго разслоенія интеллигенціи, это также окончательное размежеваніе Горькаго съ интеллигентщиной.

Драма Горькаго „Дачники", какъ и предыдущія драмы того же автора, является драмой разслоенія и въ то же время въ ней, какъ и въ нихъ, ставится проблема жалости, проблема о жестокой правдѣ и ласкающемъ обманѣ.

Передъ нами среда ступенью выше, чѣмъ изображенная въ „Мѣщанахъ", это интеллигенція, интеллигенція не дворянская, а буржуазная, это Петры Безсеменовы разныхъ оттѣнковъ и разныхъ возрастовъ, Татьяны и студенты Шишкины,—все, что путемъ образованія поднялось надъ мѣщанскимъ уровнемъ и ищетъ себѣ окончательнаго мѣста въ подвижномъ русскомъ обществѣ. Среда эта крайне разношерстна и по своему общественному положенію, и по своему душевному складу. При первомъ же взглядѣ на нее замѣтно распаденіе ея на три большія группы.

На первомъ мѣстѣ стоятъ самодовольные, находящіе весь смыслъ существованія въ той работѣ, которую возлагаетъ на ихъ плечи господствующій общественный строй, а еще болѣе въ тѣхъ окладахъ и вознагражденіяхъ, кото-

---

*) Мы не ручаемся, что не ошиблись. У насъ есть также данныя думать, что Горькій съ самаго начала отрицательно относился къ своему Лукѣ.

рые они получаютъ за свое служеніе „князю міра сего“. Никто изъ нихъ, въ сущности, не увѣренъ, чтобы его трудъ имѣлъ какой-нибудь смыслъ съ обще-человѣческой точки зрѣнія, но имъ въ большей или меньшей степени наплевать на это, они живутъ, не заглядывая въ глубину вещей и не заботясь объ отдаленномъ будущемъ, они ожесточенно обороняются отъ всякаго, кто старается указать имъ на глубокую ложь, на унизительную пустоту ихъ существованія. Они-то сами, за исключеніемъ развѣ наиболѣе умныхъ, считаютъ свое положеніе узаконеннымъ и прочнымъ, но, со стороны глядя, слишкомъ ясно, что старое зданіе, въ которомъ они поселились въ качествѣ лакеевъ, даетъ уже трещины и грозитъ крушеніемъ; его хозяева и исконные обитатели, такъ сказать, срослись съ нимъ и не производятъ того впечатлѣнія сплошной и безобразной эфемерности, какъ эти новыя заплаты изъ толстаго демократическаго сукна на ветхомъ и распадающемся пурпуровомъ одѣяніи. Эти новые слуги въ старомъ домѣ производятъ впечатлѣніе явленія временнаго, мимолетнаго, до безсмысленности лишеннаго всякой связи со своею страною и ея истинными интересами именно потому, что, готовые продаться кому угодно, они продались дряхлому порядку, устои котораго уже стонутъ подъ напоромъ новыхъ силъ.

Типы второго порядка—это неудовлетворенные, мятущіеся, такъ или иначе протестующіе, такъ или иначе задыхающіеся въ своей интеллигентской обстановкѣ. Эти уже не только со стороны, но и въ собственномъ своемъ сознаніи представляются чѣмъ-то непрочнымъ, плодомъ переходнаго времени. Каждый изъ нихъ страдаетъ иначе, въ иномъ видитъ источникъ своихъ мукъ, къ иному стремится, но жить своимъ настоящимъ они не могутъ; одни изъ нихъ найдутъ выходъ прочь, вонъ изъ интеллигентской жизни, другіе рано или поздно сгинутъ въ ея безобразномъ нестроеніи.

Наконецъ, третья группа опять-таки спокойна, болѣе или менѣе увѣрена въ правильности пути, по которому она идетъ. Но ея увѣренность отнюдь не есть самоувѣренность, это вѣра въ новыя силы, въ народныя силы, отъ которыхъ наша третья группа не хочетъ отдѣляться, которымъ она хочетъ служить, авангардомъ которыхъ себя чувствуетъ. Но и здѣсь какъ объективно, такъ и въ собственномъ сознаніи, никто не живетъ настоящимъ, надѣются на завтрашній день, готовятся къ нему и подготовляютъ его.

И поэтому всю выведенную имъ компанію Горькій окрещиваетъ однимъ словомъ—Дачники, временные жители, и все настроеніе интеллигентной „дачной“ жизни прекрасно выражаетъ чуткая и страдающая Варвара Михайловна: „Мнѣ—неловко жить... Мнѣ кажется, что я зашла въ чужую сторону, къ чужимъ людямъ и не понимаю ихъ жизни!..“

„Не понимаю я этой нашей жизни, жизни культурныхъ людей. Она кажется мнѣ непрочной, неустойчивой, поспѣшно сдѣланной на время, какъ дѣлаются на ярмаркахъ балаганы“.

„Эта жизнь точно ледъ надъ живыми волнами рѣки... онъ крѣпокъ, онъ блеститъ, но въ немъ много грязи... много постыднаго... нехорошаго... Когда я читаю честныя, смѣлыя книги... мнѣ кажется, восходитъ горячее солнце правды... Ледъ таетъ, обнажая грязь внутри себя, и волны рѣки скоро сломаютъ его, раздробятъ, унесутъ куда-то“...

Теперь намъ предстоитъ разобраться въ типахъ каждой изъ трехъ категорій, такъ какъ авторъ даетъ изображеніемъ ихъ богатѣйшій матеріалъ для характеристики сословія россійскихъ „дачниковъ“.

Начать придется съ первой категоріи и съ самаго законченнаго типа пьесы, съ присяжнаго повѣреннаго Сергѣя Васильевича Басова. Это полный, холеный блондинъ

зрѣлыхъ лѣтъ, который любитъ ходить по-простецки, въ русскихъ рубахахъ и высокихъ сапогахъ, вѣчно добродушный и веселый, улыбающійся жизни, которая ему тоже улыбается. О томъ, чѣмъ онъ былъ когда-то, одно изъ дѣйствующихъ лицъ говоритъ:

„Какъ быстро мѣняются люди! Я помню его студентомъ... Какой онъ тогда былъ хорошій! Безпечный, веселый бѣднякъ... рубаха-парень — звали его товарищи и говорили: онъ легкомысленъ и склоненъ къ пошлости, но она“...

„Она“—это жена его, строгая и вдумчивая Варвара Михайловна, которой, увы! не удалось спасти легкомысленнаго мужа отъ пошлости. Самъ Басовъ тоже любитъ вспоминать о своемъ прошломъ; сытый и благодушный, въ своей русской рубахѣ, играетъ онъ въ шахматы съ озлобленнымъ и желчнымъ неудачникомъ Сусловымъ и, похваляясь, поучаетъ его:

„Мизантропія, мой другъ, излишняя роскошь... Одиннадцать лѣтъ тому назадъ явился я въ эти мѣста... и было у меня всего имущества—портфель да коверъ. Портфель былъ пустъ, а коверъ—худъ. И я тоже былъ худъ“...

Теперь онъ раздобрѣлъ, и его философія стала также рыхлой и сытой, отражая благополучіе своего самодовольнаго носителя и словно тонкимъ слоемъ сала заволакивая его глаза и рисуя ему дѣйствительность въ розовомъ свѣтѣ.

„Наша страна прежде всего нуждается въ людяхъ, благожелательно - настроенныхъ“, — поучаетъ онъ, сидя на верандѣ: „Благожелательный человѣкъ—эволюціонистъ, онъ не торопится... Благожелательный человѣкъ... измѣняетъ формы жизни незамѣтно, потихоньку, но его работа есть единственно прочная“...

Но особенно превосходна, особенно характерна сцена, въ которой охмелѣвшій Басовъ наслаждается природой и разводитъ свои душеспасительныя рѣчи.

„Природа, лѣса, деревья... сѣно... люблю природу! (почему-то грустнымъ голосомъ). И людей люблю... Люблю мою бѣдную, огромную, нелѣпую страну... Россію мою! Все и всѣхъ я люблю!.. У меня душа нѣжная, какъ персикъ! Яковъ,—говоритъ онъ писателю Шалимову,—ты воспользуйся, это хорошее сравненіе: душа нѣжная, какъ персикъ. А, вино! Налейте мнѣ. Какъ хорошо! Какъ весело, милые мои люди! Славное это занятіе—жизнь... для того, кто смотритъ на нее дружески, просто... Къ жизни надо относиться дружески, господа! довѣрчиво... Надо смотрѣть ей въ лицо простыми дѣтскими глазами, и все будетъ превосходно. Господа! Посмотримъ ясными дѣтскими глазами въ сердца другъ другу—и больше ничего не нужно. Вотъ дядя поймалъ молодого веселаго окуня... а я взялъ окуня и пустилъ его назадъ, въ родную стихію. Потому что я—пантеистъ, это фактъ! Я и окуня люблю...

— Заболтался ты, Сергѣй!—перебиваетъ его Шалимовъ.

Басовъ: „Не суди—да не судимъ будеши... А я говорю не хуже тебя... ты человѣкъ красиваго слова, и я человѣкъ красиваго слова!“

Не подумайте, однако, читатель, что этотъ „пантеистъ“ дѣйствительно безобиденъ: не говоря уже о томъ, что его рыхлая, безсердечно себялюбивая жизнь можетъ задушить всякую искру горячности и молодости въ близкихъ къ нему людяхъ, не говоря уже о томъ, что этотъ благожелательный эволюціонистъ является „столпомъ“, всею тяжестью своей раскромленной туши давящимъ на жертвы поддерживаемаго имъ порядка, не говоря уже обо всемъ этомъ, праздноболтающій Басовъ не можетъ и не хочетъ сдерживать свой адвокатскій языкъ, и изъ пухлыхъ устъ цвѣтущаго „добряка“ такъ и льются гнусныя сплетни, инсинуаціи и оскорбленія. Не то, чтобъ ему сознательно хотѣлось причинить боль, а просто нѣтъ ему ни до кого дѣла, радъ онъ посудачить, радъ плоско сострить, позабавить свой

застывающій мозгъ пикантнымъ, по его мнѣнію, злословіемъ.

За что и почему этотъ бездарный, безхарактерный индивидъ пользуется хорошимъ состояніемъ, извѣстнымъ общественнымъ положеніемъ?

Конечно, за то, что онъ мягокъ, какъ воскъ, и почтительнѣйшимъ образомъ отливается въ ту форму, въ какую приписываютъ ему отлиться господствующія силы, за то, конечно, что онъ „благожелательный эволюціонистъ“, т.-е. во всякое время готовъ съ неисчерпаемымъ добродушіемъ помириться съ какою угодно гнусностью.

„Ты человѣкъ красиваго слова“,—говоритъ онъ своему другу писателю Шалимову:—„и я человѣкъ красиваго слова“. Общество платитъ Басову за его адвокатскій языкъ безъ костей, оно платитъ Шалимову за „красивыя слова“ его повѣстей и разсказовъ.

У этого послѣдняго когда-то за красивымъ словомъ скрывалось красивое искреннее чувство. Того, давно прошедшаго Шалимова, Варвара Михайловна описываетъ такъ:

„Я видѣла его однажды на вечерѣ... я была гимназисткой тогда... Помню, онъ вышелъ на эстраду, такой крѣпкій, твердый... На головѣ непокорные, густые волосы, лицо—открытое, смѣлое... лицо человѣка, который знаетъ, что онъ любитъ и что ненавидитъ... знаетъ свою силу... Я смотрѣла на него и дрожала отъ радости, что есть такіе люди... Хорошо было! да! Помню, какъ энергично онъ встряхивалъ головой, его буйные волосы темнымъ вихремъ падали на лобъ... и вдохновенные глаза его помню“...

Съ тѣхъ поръ Шалимовъ облысѣлъ и обрюзгъ, и былое чувство, согрѣвавшее его писанія, изсякло. Осталось одно пустое красивое слово. Въ личной жизни Шалимовъ, какъ и Басовъ, какъ и цѣлый рядъ другихъ, изображенныхъ Горькимъ буржуазныхъ интеллигентовъ нашей первой категоріи, стремится къ зажиточности и къ комфорту, не брез-

гуя никакими средствами. Басовъ, увѣренный, съ одной стороны, что „онъ писатель... всѣми уважаемый!“ съ другой стороны, сплетничаетъ о немъ съ полуодобрительной завистью:

„А этотъ Яшка—шельмецъ! Вы замѣтили, какъ онъ ловко выскальзываетъ, когда его припираютъ въ уголъ? (смѣется). Красиво говоритъ онъ, когда въ ударѣ! А хоть и красиво, однако, послѣ своей первой жены, съ которой, кстати сказать, онъ и жилъ всего полгода... а потомъ бросилъ ее... или, скажемъ, разошелся... Онъ лѣтъ пять не видалъ ее... а теперь вотъ, когда она умерла, хочетъ ея имѣньишко къ своимъ рукамъ прибрать. Ловко?“

Впрочемъ, съ точки зрѣнія Басова, такія стремленія Шалимова нисколько не являются препятствіемъ ко всеобщему уваженію. Естественно однако, что мѣщанскій, звѣриный, дѣльцовскій образъ дѣйствій не можетъ быть началомъ, одухотворяющимъ шалимовскія литературныя произведенія. Это житейская проза, а вдохновенія нашъ писатель ищетъ въ другомъ, именно въ томъ чувствѣ одиночества, оторванности, которое онъ самъ себѣ создалъ, низвергнувъ прежніе кумиры. Въ прозѣ жизни онъ раздобываетъ всѣми средствами деньгу, этимъ онъ безнадежно отталкивается отъ прежняго берега, отъ того, гдѣ молодость, порывы, любовь, идеалы, а, слѣдовательно, и живая горячая красота, но пристать къ берегу Басовыхъ—Шалимовъ просто изъ профессіональныхъ разсчетовъ не можетъ, ибо Басовы—проза, а жизненная основа Шалимова—искусство. И вотъ изъ оторванности своей Шалимовъ стремится создать другую красоту, дѣланно-мелонхолическую, утонченно-ноющую красоту, которой прикрывается все, что не имѣетъ силъ для жизни смѣлой и правдивой, т.-е. для борьбы, и недостаточно безсмысленно или безстыдно, чтобы щеголять во всей своей животно-благополучной или животно-

алчущей наготѣ. Характерно отношеніе Шалимова къ двумъ красивымъ женщинамъ: циничной Юліи Филипповнѣ и тоскующей, рвущейся къ свѣту, Варварѣ Михайловнѣ. Передъ жгучей брюнеткой съ вызывающими глазами Шалимовъ считаетъ возможнымъ растегнуться, онъ козыряетъ своимъ опытомъ селадона, онъ говоритъ языкомъ—кавалериста, онъ щеголяетъ своими холеными усами; но, оставшись наединѣ съ печальной и строгой Варварой, онъ заявляетъ: „что усы!.. къ чорту усы!“ Тутъ онъ выдвигаетъ, на этотъ разъ, впрочемъ, напрасно, свою мнимо-поэтическую якобы меланхолію:

„Во мнѣ нѣтъ самонадѣянности учителей... Я — чужой человѣкъ, одинокій созерцатель жизни... Я не умѣю говорить громко, и мои слова не пробудятъ смѣлости въ этихъ людяхъ. Не надо бояться, что отойдешь отъ людей... Повѣрьте мнѣ, въ сторонѣ отъ нихъ—воздухъ болѣе чистъ и прозраченъ, все яснѣе, все опредѣленнѣе... Если бы вы поняли... Какъ искренно я сейчасъ говорю!.. Вы не повѣрите мнѣ, можетъ быть, но я все же скажу вамъ, передъ вами мнѣ хочется быть искреннимъ, быть лучше, умнѣе... Мнѣ кажется, что, когда я рядомъ съ вами... я стою у предверія невѣдомаго, какъ море, счастья... что вы обладаете волшебной силой, которой могли бы насытить другого человѣка, какъ магнитъ насыщаетъ желѣзо... И у меня рождается дерзкая, безумная мысль... Мнѣ кажется, что если бы вы...“ и т. д.

Но на искреннюю Варвару этотъ дѣланный языкъ не дѣйствуетъ, какъ не дѣйствуетъ новая шалимовская красота на истинно-новаго читателя. Шалимовъ чувствуетъ, что онъ временный человѣкъ, „дачникъ“, и это злитъ его и омрачаетъ ему жизнь. Великолѣпенъ по своей характерности разговоръ на эту тему, который ведутъ Шалимовъ съ Басовымъ:

Шалимовъ (ворчливо). Ничего я не пишу... скажу

прямо... Да! И какого тутъ чорта напишешь, когда совершенно ничего понять нельзя? Люди какіе-то запутанные, скользкіе, неуловимые...

Басовъ. А ты такъ и пиши — ничего, молъ, не понимаю! Главное, братъ, въ писателѣ искренность.

Шалимовъ. Спасибо за совѣтъ! Искренность!.. Не въ этомъ дѣло, другъ мой! Искренно-то я, можетъ быть, одно могъ бы сдѣлать—бросить перо и, какъ Діоклетіанъ, капусту садить... Но — надо кушать, значитъ, надо писать. А для кого? Не понимаю... Нужно ясно представить себѣ читателя — какой онъ? Кто онъ? Лѣтъ пять назадъ я былъ увѣренъ, что знаю читателя... и знаю, чего онъ хочетъ отъ меня... И вдругъ, незамѣтно для себя—потерялъ я его... Потерялъ, да. Въ этомъ драма, пойми. Теперь, вотъ, говорятъ, родился новый читатель... Кто онъ?

Басовъ. Я тебя не понимаю... Что это значитъ потерять читателя? А я... а всѣ мы—интеллигенція страны—развѣ мы не читатели? Не понимаю... Какъ же насъ можно потерять? а? Не понимаю...

Шалимовъ. Конечно... интеллигенція—я не говорю о ней... да... А вотъ есть еще... Этотъ... новый читатель.

Басовъ (трясетъ головой). Ну? не понимаю.

Шалимовъ. И я не понимаю... но чувствую. Иду по улицѣ и вижу какихъ-то людей... У нихъ совершенно особенныя физіономіи... и глаза... Смотрю я на нихъ и чувствую—не будутъ они меня читать... неинтересно имъ это... А зимой читалъ я на одномъ вечерѣ тоже... вижу, смотритъ на меня множество глазъ, внимательно, съ любопытствомъ смотрятъ, но это чужіе мнѣ люди, не любятъ они меня. Ненуженъ я имъ... какъ латинскій языкъ... Старъ я для нихъ... И всѣ мои мысли — стары... И я не понимаю — кто они? Кого они любятъ? Чего имъ надо?

Злясь на непонятнаго „новаго“ читателя, Шалимовъ старается успокоить себя, сто разъ на день клевеща на

него; онъ говоритъ, какъ отмѣчаетъ Горькій, скучно и лѣниво: „Ждутъ обновленія жизни отъ демократіи, но спрошу васъ, кто знаетъ, что это за звѣрь — демократъ?“ Декадентка Калерія взволнованно подхватываетъ: „Да, да! Вы тысячу разъ правы... Это еще звѣрь, варваръ! Его сознательное желаніе одно—быть сытымъ“.

Шалимовъ: „И носить сапоги со скрипомъ“.

Эта декадентка Калерія, выбрасываемая жизнью за бортъ, разновидность Татьяны изъ „Мѣщанъ“, единственная представительница тѣхъ читателей, которымъ нравится новая красота Шалимова, его послѣдняя манера. „Скажите откровенно, вамъ нравятся мои разсказы?“—спрашиваетъ ее измученный внутренними сомнѣніями Шалимовъ, и она съ готовностью отвѣчаетъ:

„Очень! Особенно послѣдніе... Они менѣе реальны, въ нихъ меньше грубой плоти! Они полны той мягкой теплой грустью, которая окутываетъ душу, какъ облако окутываетъ солнце въ часъ заката. Немногіе умѣютъ цѣнить ихъ, но эти немногіе — горячо любятъ васъ“.

Да, Шалимовъ нуженъ Калеріямъ и Рюминымъ, къ которымъ мы еще вернемся.

Надъ Басовымъ и Шалимовымъ Горькій совершаетъ судъ черезъ посредство женщины. Варвара Михайловна, жена Басова, съ презрѣніемъ отвергаетъ своего мужа, какъ отвергаетъ она и ухаживанія Шалимова, бывшаго когда-то ея идоломъ. Но если презрѣніе такой женщины, какъ Варвара, можетъ доставить Шалимову нѣсколько горькихъ часовъ, а крушеніе такъ называемаго семейнаго счастья, или, другими словами, нѣкоторый ущербъ безмятежно мѣщанскому спокойствію, можетъ на время обезкуражить Басова, то въ сущности развѣ это наказаніе? Оба утѣшатся и утѣшатся очень скоро. Басовъ даже почувствуетъ нѣкоторое облегченіе, когда перестанетъ постоянно видѣть передъ

собою строгое и укоризненное лицо своей жены. Онъ говоритъ о ней:

„Моя жена? Варя? О! Это пуританка! Это удивительная женщина, святая! Но — съ ней скучно! Она много читаетъ и всегда говоритъ отъ какого-нибудь апостола. Выпьемъ за ея здоровье!“

Скоро оправится и Шалимовъ. Послѣ катастрофы, послѣ страстнаго протеста Варвары, онъ успокаиваетъ покинутаго Басова:

„Мой другъ, успокойся! Все это только риторика на почвѣ истеріи... Повѣрь мнѣ! Ты не суетись!

И постигнетъ ли когда-нибудь какая-либо кара этихъ самодовольныхъ обывателей—неизвѣстно.

Еще счастливѣе и цѣльнѣе Басова, энергичнѣе и хищнѣе его помощникъ, откровенный арривистъ и трезвенникъ Николай Замысловъ. Онъ красивъ, ловокъ и веселъ. Нахально смотритъ онъ на міръ сквозь свое пенснэ, и все ему удается. Философія его проста:

„Жизнь — искусство! Вы понимаете, жизнь — искусство смотрѣть на все своими глазами, слышать своими ушами... Я это сейчасъ только выдумалъ, но чувствую, что это останется моимъ твердымъ убѣжденіемъ! Жизнь — находить во всемъ красоту и радость, даже искусство ѣсть и пить“...

Передъ своей любовницей Юліей Филипповной, женой инженера Суслова, онъ еще откровеннѣе. На ея вопросъ: „во что же ты вѣришь?“ — онъ отвѣчаетъ:

„Я? только въ себя, Юлька... Вѣрю только въ мое право жить такъ, какъ я хочу! У меня въ прошломъ голодное дѣтство... и такая же юность, полная униженій... Суровое прошлое у меня, дорогая моя Юлька! Я много видѣлъ тяжелаго и сквернаго... я много перенесъ. Теперь — я самъ судья и хозяинъ своей жизни, вотъ и все!..“

Но онъ, конечно, остерегся бы скомпрометировать себя публичнымъ признаніемъ такого рода. Публично онъ пред-

Культинспекция Петр. Райсовета
БИБЛИОТЕКА
имени В. И. ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
имени тов. ЛЕНИНА

почитаетъ скрыть свой циничный взглядъ на вещи за якобы эстетической и какъ будто даже философской фразой о томъ, что жизнь есть искусство.

Зато родственная ему натура, инженеръ Сусловъ, поступаетъ иначе. Вся разница между нимъ и Замысловымъ въ томъ, что Суслову чертовски не везетъ. Замысловъ дѣлаетъ карьеру, онъ наживается, онъ душа общества, онъ отбиваетъ у Суслова даже его красивую жену. Сусловъ, напротивъ, во всемъ неудачникъ: построенная имъ стѣна рушится, убивая рабочихъ, богатое наслѣдство ускользаетъ изъ его рукъ, жена его презираетъ. И этотъ волкъ ненавидитъ другихъ волковъ, своихъ конкурентовъ. Онъ ненавидитъ ловкаго волка—Замыслова, онъ ненавидитъ волковъ, замаскированныхъ въ разныя шкуры, подобныхъ Шалимову и Басову, но еще больше ненавидитъ онъ честныхъ и смѣлыхъ. Подавленный неудачами, задыхаясь отъ злобы, Сусловъ выбалтываетъ грубо, безжалостно тайну буржуазной интеллигенціи въ собственномъ смыслѣ слова:

„Мы всѣ здѣсь дѣти мѣщанъ, дѣти бѣдныхъ людей... Мы много голодали и волновались въ юности... Мы хотимъ поѣсть и отдохнуть въ зрѣломъ возрастѣ—вотъ наша психологія. Она не нравится вамъ, но она вполнѣ естественна и другой и быть не можетъ! Прежде всего человѣкъ, а потомъ всѣ прочія глупости... И потому оставьте насъ въ покоѣ! Изъ-за того, что вы назовете насъ трусами и лѣнтяями — никто изъ насъ не устремится въ общественную дѣятельность... Нѣтъ! Никто!.. А за себя скажу—я не юноша! Меня безполезно учить! Я взрослый человѣкъ, я рядовой русскій человѣкъ, русскій обыватель! Я обыватель и больше ничего-съ! Вотъ мой планъ жизни. Мнѣ нравится быть обывателемъ... Я буду жить, какъ я хочу! И, наконецъ, наплевать мнѣ на ваши розсказни... призывы... идеи!“

„Такъ обнажить себя можетъ только психически-больной!“ —говоритъ на это Марія Львовна.

Перейдемъ теперь ко второй категоріи, къ недовольнымъ, мятущимся. Здѣсь Горькій развертываетъ передъ нами цѣлую психологическую гамму, полную нюансовъ. Эта гамма неразрывной цѣпью соединяетъ правое крыло буржуазной интеллигенціи, продавшейся настоящему, съ его лѣвымъ крыломъ, передовымъ отрядомъ будущаго.

Ближе всѣхъ къ типамъ первой категоріи стоитъ жена Суслова и любовница Замыслова — Юлія Филипповна. Типъ этотъ очень удался автору. По внѣшности это яркая, красивая, нарядная брюнетка; она кокетничаетъ и позируетъ при людяхъ, она вульгарно и зазывающе весела, но, оставшись одна, она погружается въ страшную апатію и тихонько напѣваетъ на тоскливый мотивъ грустныя слова романса:

Уже утомившійся день
Склонился въ багряныя воды...
Темнѣютъ лазурные своды,
Прозрачная стелется тѣнь.

Аппетиты у нея, какъ и у мужа, довольно звѣриные, она дерзко развратничаетъ и на угрозы постылаго мужа отвѣчаетъ угрозами же. Но въ ней живетъ гдѣ-то глубоко что-то нѣжное, женственное и хорошее:

„Я люблю все чистое... Вы не вѣрите? Люблю, да... Смотрѣть люблю на чистое... слушать“...

Она неудовлетворена, она тоскуетъ, но она не знаетъ выхода и не ищетъ его. Нужна была бы бездна горячей любви, цѣлая система бережнаго воспитанія, чтобы вывести эту женщину на истинный путь. И кто знаетъ, сколько свѣжей, здоровой радости могла бы дать себѣ и другимъ эта сильная, богатая, но вся загаженная и теперь погибшая натура.

„Не знаю...—говоритъ она:—не знаю я, что такое развратъ, но я очень любопытна. Скверное такое, острое любо-

пытство къ мужчинѣ есть у меня. Я красива — вотъ мое несчастье. Уже въ шестомъ классѣ учителя смотрѣли на меня такими глазами, что я чего-то стыдилась и краснѣла, а имъ это доставляло удовольствіе, и они вкусно улыбались, какъ обжоры передъ гастрономической лавкой. Да. Потомъ меня просвѣщали замужнія подруги... Но больше всѣхъ я обязана мужу. Это онъ изуродовалъ мое воображеніе... онъ привилъ мнѣ чувство любопытства къ мужчинѣ. А я уродую ему жизнь. Есть такая пословица: взявши лычко — отдай ремешекъ".

Горькій вообще отмѣчаетъ въ своей новой пьесѣ съ особенной яркостью превосходство женщинъ надъ мужчинами. Въ нихъ больше истиннаго идеализма, по его мнѣнію, но мужчины хозяева жизни и безжалостно калѣчатъ красивыя женскія души.

Превосходна сцена пикника. Мужчины собрались вмѣстѣ, пьяные, красные, потные; они хохочутъ, разсказывая другъ другу грязные анекдоты. Женщины лежатъ на травѣ отдѣльно. Онѣ напѣваютъ грустныя пѣсни, онѣ ведутъ тихую бесѣду, онѣ печально мечтаютъ о другой, лучшей жизни. Юлія Филипповна горько восклицаетъ: „милыя мои женщины — плохо мы живемъ!" — „Да, плохо... и не знаемъ, какъ надо жить лучше",—откликается Варвара Михайловна. Но будущее принадлежитъ, какъ сказалъ Бебель, женщинѣ и рабочему.

Самымъ несимпатичнымъ изъ женскихъ типовъ является жалкая, заѣзженная жизнью жена доктора Дудакова—Ольга Алексѣевна. Трудно бросить въ нее камнемъ: она превратилась въ то, чѣмъ она является, главнымъ образомъ, подъ тяжестью семьи. Это крошечная душа, похожая на маленькую собачку, озлобленную, смиренно свертывающуюся въ комочекъ, но всегда готовую укусить исподтишка. Фигура ея нарисована съ горькимъ юморомъ. Уже здѣсь мы встрѣчаемся съ постановкой проблемы о жалости. Жалкая,

обиженная судьбой собаченка, Ольга Алексѣевна, много разъ пользовалась помощью Варвары Михайловны. Сильный человѣкъ принимаетъ обыкновенно помощь другихъ, какъ нѣчто должное; средній—съ благодарностью; маленькій—съ затаенной ненавистью. Гордость Ольги Алексѣевны не препятствуетъ ей хныкать передъ своею болѣе сильной подругой, но въ ней достаточно гордости, чтобы болѣзненно завидовать, еле сдерживая свое мизерное озлобленіе. Въ порывѣ она открыла свои карты, она выкричала Варварѣ свое нутро:

„Я ненавижу себя за то, что не могу жить безъ твоей помощи... ненавижу! Ты думаешь, мнѣ легко брать у тебя деньги... деньги твоего мужа?.. Нельзя уважать себя, если не умѣешь жить... если всю жизнь нужно, чтобы кто-то помогалъ тебѣ, кто-то поддерживалъ тебя... Ты знаешь? Иногда я не люблю и тебя... Ненавижу! За то, что вотъ ты такая спокойная и все только разсуждаешь, а не живешь, не чувствуешь...

Варв. Мих. Голубчикъ мой, я только умѣю молчать... Я не могу себѣ позволить жалобъ—вотъ и все!..

Ольга Алекс. Тѣ, которые помогаютъ, должны въ душѣ презирать людей... Я сама хочу помогать.

Варв. Мих. Чтобы презирать людей?

Ольга Алекс. Да, да! Я—не люблю ихъ!“

Она наговорила Варварѣ массу гадостей и оттолкнула ее отъ себя. Варвара жалѣла Ольгу Алексѣевну, а жалѣть ее не надо было, потому что это безплоднѣйшая растрата силъ. Не стоитъ жалѣть людей съ мелкокалиберной душой, и не потому, что они отвѣтятъ неблагодарностью и даже ненавистью, а потому что они не нужны жизни и возня съ этими обреченными стончуками только измельчаетъ душу жалѣющаго. Очень хорошо поэтому, что Варвара Михайловна разрываетъ сразу съ этой озлобленной крохотной обывательницей: „мы слишкомъ много прощаемъ,—

твердо и холодно отвѣчаетъ Варвара Михайловна на новые подходы присмирѣвшей Ольгѣ Алексѣевны.—Это слабость.. Это убиваетъ уваженіе другъ къ другу".

Можно установить общее правило: жалѣть стоитъ только тѣхъ и помогать только тѣмъ, кого можешь уважать. Разнаго рода ничтожные страдальцы полагаютъ, будто бы самое страданіе является уже достаточнымъ основаніемъ для уваженія. Это величайшій вздоръ. Пусть Рюмины утѣшаютъ Калерій и наоборотъ, а всѣхъ ихъ утѣшаютъ спеціалисты утѣшители—Шалимовы. Строителямъ жизни, творцамъ ея новыхъ формъ приходится устанавливать совсѣмъ другіе критеріи для оцѣнки людей. Уважать можно только за силу. Силой приходится считать, разумѣется, всякое дарованіе, способное украшать жизнь, дѣлать ее интенсивнѣе, приближать ее къ идеалу могучей, широко объединенной, человѣко-божеской жизни. Сила не гарантируетъ, конечно, отъ страданій, она не гарантируетъ ни отъ медленной гибели, болѣе того: именно сильнымъ людямъ съ крупнымъ размахомъ, людямъ самостоятельнымъ, рвущимся къ идеалу, сердцамъ и талантамъ, которые не могутъ продаться за чечевичную похлебку, именно имъ— тѣснѣе всего живется въ современномъ обществѣ. Вотъ тутъ-то нужно какъ можно больше состраданія, нѣжнаго участія, любвеобильной помощи. Прелестныя сцены состраданія и утѣшенія между сильными людьми рисуетъ Горькій и въ „Дачникахъ". Обращаю вниманіе читателя въ особенности на послѣднюю сцену третьяго дѣйствія.

Но жалѣть обывательскую мимозу, въ родѣ Ольги Алексѣевны, или виртуозовъ страданія, въ родѣ Рюмина — глупо и вредно.

Удивительно, въ какомъ почетѣ у насъ жалость. Перечтите нѣсколько десятковъ объясненій въ любви: почти всюду мужчина бьетъ на чувство сожалѣнія у женщины, если ему только еще предстоитъ завоевать ея любовь; онъ

старается явиться въ ея глазахъ возможно болѣе жалкимъ, заботясь только о томъ, чтобы быть красиво жалкимъ, т.-е. выдержать свои причитанія въ благородно-меланхолическихъ тонахъ. Я боленъ—ты можешь быть моей исцѣлительницей. Вотъ обычный сентиментальный мотивъ объясненій въ любви въ 19 и 20 столѣтіяхъ. Такъ объясняются въ любви и Варварѣ въ „Дачникахъ“. Шалимовъ предполагаетъ, что Варвара могла бы его насытить, какъ магнитъ насыщаетъ желѣзо: „мнѣ кажется, что если бы вы“.. и т. д. То же кажется, разумѣется, и Рюмину. Красивая женщина, „королева“, какъ называетъ ее Двоеточіе, благородная, задумчивая,—вотъ и похаживаютъ вокругъ страдающіе господчики и стенаютъ свои серенады въ минорномъ тонѣ. Но, слава Богу, Варвара не изъ жалостливыхъ. Разговоръ ея съ Рюминымъ—это разрывъ той части интеллигенціи, для которой глубокое внутреннее недовольство и страданіе служитъ стимуломъ къ исканію выхода,—отъ той, которая сдѣлала изъ этого недовольства, изъ этого страданія свое амплуа.

„Мнѣ больно!—говоритъ Рюминъ Варварѣ:—надо мной тяготѣетъ и давитъ меня неисполненное обѣщаніе... Въ юности моей я далъ клятву себѣ и другимъ... Я поклялся, что всю жизнь мою посвящу борьбѣ за все, что тогда казалось мнѣ хорошимъ, честнымъ... И вотъ, я прожилъ лучшіе годы мои—и ничего не сдѣлалъ, ничего! Сначала я все собирался, выжидалъ, примѣривался—и, незамѣтно для себя, привыкъ жить покойно, сталъ цѣнить этотъ покой, бояться за него... Вы видите, какъ искренно я говорю! Не лишайте меня радости быть искреннимъ! Мнѣ стыдно говорить... но въ этомъ стыдѣ есть острая сладость... исповѣди. Не любви прошу—жалости! Жизнь пугаетъ меня настойчивостью своихъ требованій, а я осторожно обхожу ихъ и прячусь за ширмы разныхъ теорій, вы понимаете это, я знаю... Я встрѣтилъ васъ—и вдругъ сердце мое вспых-

нуло прекрасной, яркой надеждой, что... вы поможете мнѣ исполнить мои обѣщанія, вы дадите мнѣ силу и желаніе работать... для блага жизни!“

А Варвара отвѣчаетъ ему:

„Я ищу смысла въ жизни—и не нахожу. Развѣ это—жизнь? Развѣ можно такъ жить, какъ мы живемъ? Яркой, красивой жизни хочетъ душа, а вокругъ насъ—проклятая суета бездѣлья... Противно, тошно, стыдно жить такъ! Всѣ боятся чего-то и хватаются другъ за друга, и просятъ помощи, стонутъ, кричатъ...

Рюминъ. И я прошу помощи! Теперь я слабый, нерѣшительный человѣкъ... Но если бы вы захотѣли!

Варв. Мих. (сильно). Неправда! Не вѣрю я вамъ! Все это только жалобныя слова! Вѣдь, не могу же я переложить свое сердце въ вашу грудь... если я сильный человѣкъ! Я не вѣрю, что гдѣ-то внѣ человѣка существуетъ сила, которая можетъ перерождать его. Или она въ немъ, или ея нѣтъ! Я не буду больше говорить... въ душѣ моей растетъ вражда...

Рюминъ. Ко мнѣ? за что?

Варв. Мих. О, нѣтъ, не къ вамъ!.. ко всѣмъ! Мы живемъ на землѣ чужіе всему... мы не умѣемъ быть нужными для жизни людьми. И мнѣ кажется, что скоро, завтра, придутъ какіе-то другіе, сильные, смѣлые люди и сметутъ насъ съ земли, какъ соръ... Въ душѣ моей растетъ вражда ко лжи, къ обманамъ...

Рюминъ. А я хочу быть обманутымъ, да! Вотъ я узналъ правду—и мнѣ нечѣмъ жить!

Варв. Мих. (почти брезгливо). Не обнажайте предо мной вашей души. Я не хочу, не надо!.. Мнѣ жалко нищаго, если это человѣкъ, котораго ограбили, но если онъ прожился или рожденъ нищимъ—я не могу его жалѣть!..

Рюминъ (оскорбленный). Не будьте такъ жестоки! Вѣдь, вы тоже больной, раненый человѣкъ!

Варв. Мих. (сильно, почти съ гордостью). Раненый— не боленъ, у него только разорвано тѣло. Боленъ тотъ, ктс отравленъ.

Браво, браво! Долой его, пусть помогаетъ себѣ, какъ знаетъ, или пусть гибнетъ! Есть кому помогать на свѣтѣ. Гибнутъ другіе, гибнутъ сотни тѣхъ самыхъ „сильныхъ и смѣлыхъ“ людей, которые идутъ на смѣну буржуазной интеллигенціи, чтобы взять въ свои руки знамя борьбы за идеалъ. Имъ надо помочь въ такое время, когда они еще не окрѣпли; помогите Геркулесу въ его колыбели, помогите ему въ его борьбѣ со змѣями, которыя душатъ его, пока онъ безсознателенъ! Помогите себѣ, рвущіеся къ свѣту Власы и Варвары, ищите смысла въ жизни, вы уже близки къ нему въ вашихъ поискахъ, —но проведите границу между собою и Рюмиными, не позволяйте этимъ тряпичнымъ людямъ висѣть у васъ на рукахъ.

Я испытываю своего рода ликованіе, представляя себѣ слѣдующую картину: Шалимовы, Рюмины, Калеріи нашей литературы, утонченные эстеты, рыцари самоанализа, отшельники превыспреннихъ мечтаній съ огромнымъ самодовольствомъ, котораго они не могутъ сдержать и которое просвѣчиваетъ въ ихъ затуманенныхъ взорахъ, подходятъ къ передовой русской публикѣ, тревожной и ищущей, по королевски прекрасной, и, аккомпанируя себѣ на всѣхъ инструментахъ, они поютъ ей; они поютъ о своемъ тоскливомъ одиночествѣ, о своихъ разочарованіяхъ, о безплодныхъ мечтахъ,—каждую складку своей дряблой души выворачиваютъ они и воспѣваютъ, каждое сумасбродство своей болѣзненно-спутанной мысли они сервируютъ, подъ разными пряными соусами. И они щеголяютъ, они охорашиваются, они кривляются наперебой: „а я-то, я-то! ты на меня посмотри, публика! я еще невиданно-скорбный, я еще неслыханно-сумасшедшій“. И вдругъ публика отвѣчаетъ почти

брезгливо: „не обнажайте передо мной вашей души, не хочу, не надо!“ Браво, браво!

Рюминъ истерически выкрикиваетъ: „я хочу быть обманутымъ... Вотъ я узналъ правду—и мнѣ нечѣмъ жить“. И въ другомъ мѣстѣ онъ разсуждаетъ:

„Правда груба и холодна, и въ ней всегда скрытъ тонкій ядъ скептицизма... Вы сразу можете отравить ребенка, открывъ предъ нимъ всегда страшное лицо правды. Я противъ этихъ обнаженій... всѣхъ этихъ неумныхъ, ненужныхъ попытокъ сорвать съ жизни красивыя одежды поэзіи, которыя скрываютъ ея грубыя, часто уродливыя формы... Нужно украшать жизнь! Нужно приготовить для нея новыя одежды прежде, чѣмъ сбросить старыя.

„Вы часто говорите—жизнь! Что такое—жизнь? Когда вы говорите о ней, она встаетъ предо мною, какъ огромное, безформенное чудовище, которое вѣчно требуетъ жертвъ ему, жертвъ людьми! Она изо дня въ день пожираетъ мозгъ и мускулы человѣка, жадно пьетъ его кровь. Зачѣмъ это? Я не вижу въ этомъ смысла, но я знаю, что чѣмъ болѣе живетъ человѣкъ, тѣмъ болѣе онъ видитъ вокругъ себя грязи, пошлости, грубаго и гадкаго... и все болѣе жаждетъ красиваго, яркаго, чистаго!.. Онъ не можетъ уничтожить противорѣчій жизни, у него нѣтъ силъ изгнать изъ нея зло и грязь—такъ не отнимайте же у него права не видѣть того, что убиваетъ душу! Признайте за нимъ право отвернуться въ сторону отъ явленій, оскорбляющихъ его. Человѣкъ хочетъ забвенія, отдыха... мира хочетъ человѣкъ “

Прекрасное profession de foi напуганныхъ людей. Забавно только, что они не подумаютъ объ одномъ: допустимъ, что вѣра въ то, будто человѣчество можетъ справиться со всякой правдой, будто ему не нужно никакихъ разукрашенныхъ ширмочекъ, допустимъ, что это обманъ,—нѣтъ, однако, никакого сомнѣнія, что изъ всѣхъ возможныхъ обмановъ—это былъ бы обманъ наиболѣе насъ возвыша-

ющій; въ немъ—духъ захватывающая дерзость, божественный вызовъ бездушной стихіи; руководясь имъ, человѣкъ строитъ свою науку; пусть это иллюзія, но отъ нея вырастаетъ душа человѣческая, въ этомъ положеніи кроется до сумасшествія отважная мысль о правѣ и возможности для человѣка покорить себѣ природу.

Господа маги! Вы утверждаете, что прекрасно знаете, будто вѣра въ безконечный прогрессъ науки и техники есть иллюзія, но, вѣдь, вы же хотите красивыхъ иллюзій, почему же не оцѣниваете вы этой, въ глазахъ вашихъ, иллюзіи именно съ точки зрѣнія красоты?

Допустимъ, съ другой стороны, что положеніе о томъ, будто „лицо правды всегда страшно“, будто человѣчество всегда должно пытаться завѣсить черное окно, глядящее въ вѣчность, какой-нибудь размалеванной занавѣской, допустимъ, что это положеніе—истинно. Какая же низкая истина это въ такомъ случаѣ! Какую жалкую роль отводитъ она человѣчеству въ міровой драмѣ!

Казалось бы, лица, жаждущія красивыхъ иллюзій, должны были восклицать: „тьмы низкихъ истинъ о необходимости для человѣка самообмана намъ дороже насъ возвышающій обманъ о томъ, что жажда истины — лучшая руководительница человѣка!“ Но нѣтъ! Для нашихъ искателей иллюзій важно не то, чтобы та или другая истина, тотъ или другой обманъ дѣйствовали на насъ возвышающимъ образомъ, — имъ важно лишь получить какое бы то ни было утѣшеніе: они готовы проповѣдывать всякій обманъ и всякую истину, лишь бы только они не требовали отъ нихъ никакого напряженія силъ, а, напротивъ, оправдывали бы ихъ апатію и пониженную жизнь.

Превосходно отмѣтилъ Горькій въ Рюминѣ обычную черту меланхолическихъ истериковъ: вымоганіе сочувствія путемъ угрозы самоубійства и неудачныя, презрѣнно-жалкія, досадно-комичныя попытки къ самоубійству. Еще Ницше

иронически совѣтывалъ хулителямъ жизни освободить себя отъ нея, а ее отъ себя; но въ сущности они страстно привязаны къ ней, въ сущности имъ хочется вовсе не смерти, а комфортабельнаго покоя, между тѣмъ какъ пользоваться такимъ покоемъ при нынѣшнихъ обстоятельствахъ какъ-то зазорно. Господа Рюмины не могутъ сдѣлаться господами Басовыми: ихъ нервы слишкомъ утончены, чтобы они не понимали, какое паденіе человѣческаго достоинства знаменуется басовскимъ пантеистическимъ благодушіемъ; кромѣ того, господамъ Рюминымъ хочется, чтобы ими любовались и имъ больно и обидно, что молодежь, „новый читатель“ и, въ особенности, наиболѣе даровитыя, наиболѣе отзывчивыя, наиболѣе привлекательныя для нихъ женщины отказываютъ имъ въ любви и уваженіи, ища героическаго, яркаго, соколинаго. Но достигнуть этого соколинаго наши меланхолическіе ползучіе эстеты не въ состояніи; имъ оставалось бы только ныть, клеветать и помышлять о самоубійствѣ, если бы для нихъ не существовало Шалимовыхъ. Жаль, что Горькій отмѣтилъ лишь вскользь и то только относительно Калеріи симпатію истерическихъ эстетовъ къ своимъ идеологамъ—Шалимовымъ. Шалимовъ (см. „Вопросы Жизни“, нынѣ лопнувшій журналъ, переполненный Шалимовыми) долженъ худо ли, хорошо ли задрапировать худосочную наготу интеллигента - истерика и построить ему „мостъ въ царствіе небесное“, по которому господа Рюмины и госпожи Калеріи преблагополучно и безъ потери своего утонченно-интеллигентскаго достоинства переберутся въ царствіе буржуазно-комфортабельнаго самодовольства.

Г. Невѣдомскій въ статьѣ, посвященной „Дачникамъ“, съ удовольствіемъ отмѣчаетъ, что къ свѣту, по Горькому, имѣется не одинъ только путь, не только путь протеста противъ господствующей силы, не только путь борьбы, а еще и путь чисто-эстетическихъ исканій чистоты, граціи,

изящества. Представительницей такого исканія, соединеннаго съ брезгливымъ отношеніемъ къ живой жизни, является старѣющая дѣвица Калерія. Она сочиняетъ очень милые и очень грустные стихи, она содрогается отъ всякаго соприкосновенія мутныхъ волнъ житейскаго потока, она груститъ, груститъ безъ конца. Разбитая всѣми перипетіями дачной драмы, она рыдаетъ въ послѣдней сценѣ и вопрошаетъ: „а я! а мнѣ—куда же?“ И Соня, юная представительница лѣваго крыла интеллигенціи, отвѣчаетъ ей: „идемъ же къ намъ!“—„Зачѣмъ къ вамъ? — плаксиво спрашиваетъ Калерія: „что тамъ у васъ, что я найду?“ Но Соня подымаетъ ее и ведетъ за собой. Этой-то сценѣ и обрадовался г. Невѣдомскій. Мы ей ничуть не обрадовались. Находись мы среди тѣхъ, къ кому привела Соня Калерію, мы бы непремѣнно спросили: „зачѣмъ къ намъ? что ей у насъ? что намъ въ ней?“ Въ этой послѣдней сценѣ у Горькаго какъ будто прозвучала послѣдняя нота той жалостливости, которую онъ проповѣдывалъ въ драмѣ „На днѣ“.

Гораздо ближе къ лѣвому крылу стоитъ несчастный докторъ Дудаковъ. Это добросовѣстный трудовой человѣкъ, не умѣющій ни приспособляться къ жизни, ни бороться съ нею. Мрачный, нелѣпый, съ семьей на рукахъ, онъ огрызается отъ непріятностей, которыя сыплются на него со всѣхъ сторонъ, но если не вмѣшается чья-нибудь сильная рука, усталый и затравленный Дудаковъ покончитъ съ собой, покончитъ безъ рюминскихъ фразъ, безъ трагически-водевильныхъ перипетій. И какъ странно! Соня уводитъ Калерію къ себѣ, Дудаковъ же остается безъ помощи, между тѣмъ какъ такимъ людямъ, какъ Дудаковъ, помогать можно и должно: въ сущности это золотыя руки, настоящій труженикъ, между тѣмъ Калерія—новое изданіе кисейной барышни.

Главный драматическій интересъ пьесы сосредоточенъ на „взыскующихъ града“, на той части интеллигенціи, ко-

торая послѣ долгаго и мучительнаго исканія выстрадала, наконецъ, ясный выводъ: прочь отъ ликующей и праздноболтающей буржуазной интеллигенціи, скорѣе въ станъ борцовъ за свѣтлое будущее, за права безправныхъ пока, за счастье несчастныхъ пока властителей завтрашняго дня.

Варвара Михайловна — натура глубокая и сдержанная: она терпѣлива, даже слишкомъ, и долгое время окружающіе ея не подозрѣваютъ о томъ, какой мучительный процессъ происходитъ въ ея душѣ.

Значительный процентъ людей вообще по своему духовному калибру не подходитъ къ условіямъ нынѣшней жизни, въ особенности же жизни русской. Среди студенческой молодежи встрѣчаешь буквально на всякомъ шагу типы, отъ знакомства съ которыми получаешь одновременно и радостное и горькое чувство. Отъ него не можетъ отдѣлаться и старый купецъ не у дѣлъ — Двоеточіе при встрѣчѣ съ Власомъ. Радуешься тому, что формы души юноши такъ не подходятъ къ обычнымъ жизненнымъ рамкамъ. Представьте себѣ хорошаго юношу, съ здоровымъ тѣломъ и умомъ, съ яснымъ стремительнымъ чувствомъ и постарайтесь окружить его въ вашемъ воображеніи средою, вполнѣ подходящей, вполнѣ ему соотвѣтствующей, средою, въ которой онъ могъ бы быть дѣйствительно счастливъ всѣми фибрами своего существа, жаждующаго развитія и творчества, нѣжнаго и любвеобильнаго, радостно ищущаго отклика на ликующій призывъ юнаго сердца, ищущаго любви безъ мѣры и борьбы безъ оглядки... Когда вы представите себѣ эту фантастическую картину, вы чувствуете, какъ хорошъ въ сущности молодой и свѣжій человѣкъ, и какой красивой поэмой была бы жизнь, если бы человѣкъ былъ единственнымъ кузнецомъ своего счастья. Но, вслушиваясь въ гнѣвныя и страстныя тирады протестующаго противъ жизни молодого человѣческаго матеріала, вы смотрите на

юнаго собесѣдника грустными глазами и задумчиво говорите ему: „скверно вамъ будетъ, Власъ“!

Однако, это еще ничего. Если передъ вами матеріалъ твердый и неуступчивый, печаль снова смѣняется веселымъ настроеніемъ. Ну, да! Придется ломать жизнь, пока она тебя не сломитъ. Сколько крови сердца и сколько соковъ нервовъ проситъ каждый камень, выломанный изъ нелѣпой стѣны, закупорившей насъ со всѣхъ сторонъ! Ломать жизнь можно только, ломая себя, но все же ломать ее можно, и въ самой ломкѣ, и въ созиданіи новыхъ формъ, какъ бы ни мучительно трудна была эта работа, много захватывающаго счастья; и въ трупѣ павшаго каменолома со сломанными крыльями и руками, съ разбитой грудью, — бездна красоты и обѣтованія, смысла и гордости. Гораздо печальнѣе то, что еще и на другія мысли наводитъ зрѣлище юной силы, бурно рвущейся навстрѣчу жизни. Вокругъ нея стоитъ множество „двоеточій“, вопросительныхъ знаковъ и другихъ знаковъ препинанія, въ лицѣ обывателей, и всѣ они желчно повторяютъ: „высоко летаешь — гдѣ-то сядешь?“ И сочувствующій другъ не можетъ не слѣдить съ безпокойствомъ за полетами молодого существа. Не всегда матеріалъ оказывается твердымъ: иногда онъ оказывается гибкимъ. Вѣдь, и Басовы, и Шалимовы, и Рюмины—всѣ были хорошими молодыми людьми.

Возьмите вы ту же Варвару Михайловну: какъ долго, какъ безобразно долго терпитъ она пошлѣйшаго Басова и всю окружающую ее басовщину. Протестуя противъ жалобъ, она сама очень не прочь отъ жалобныхъ тирадъ. Послѣ одной изъ нихъ у Варвары Михайловны завязывается такой разговоръ:

Калерія (брезгливо, съ досадой). Почему ты не бросишь мужа? Это такой пошлякъ, онъ тебѣ совершенно лишній... (Варв. Мих. съ недоумѣніемъ смотритъ на Калерію).

Калерія (настойчиво). Брось его и уходи куда-нибудь... учиться иди... влюбись... только уйди!

Варв. Мих. (встаетъ, съ досадой). Какъ это грубо...

Калерія. Ты можешь, у тебя нѣтъ отвращенія къ грязному, тебѣ нравятся прачки... ты вездѣ можешь жить...

То, что представляется Калеріи грубымъ, т.-е. умѣніе жить съ прачками, есть, разумѣется, большой плюсъ въ натурѣ Варвары, но плюсъ этотъ остается чисто платоническимъ, если у человѣка слишкомъ много терпѣнія. Бросить Басова, уйти учиться или влюбиться — грубо, по мнѣнію Калеріи,—это понятно, но это грубо и по мнѣнію Варвары, что совсѣмъ не понятно и досадно. Я вовсе не хочу сказать, что Горькій сдѣлалъ промахъ, надѣливъ Варвару чрезмѣрной пассивностью и невыносимымъ долготерпѣніемъ,—нѣтъ, это совершенно вѣрно подмѣченная интеллигентски-гамлетовская черта. Какъ и Гамлетъ, Варвара Михайловна траурно величава и совершенно законно смотритъ на окружающихъ сверху внизъ; какъ и Гамлетъ, она частенько разражается очень красивыми и прочувственными монологами, бичуетъ другихъ, бичуетъ себя, но съ мѣста не движется; какъ и Гамлетъ, она тысячу разъ убѣждаетс снова и снова въ преступной и омерзительной пошлости мужа и его друзей; какъ и Гамлетъ, она переходитъ къ активности только подъ давленіемъ постороннихъ силъ и благодаря исключительному стеченію обстоятельствъ.

И если Варвара Михайловна представляетъ изъ себя траурно-красивую и горькую сторону гамлетовскаго духа, то ея братъ, Власъ, взялъ на себя остальное: гамлетовско-желчное шутовство, мистифицированіе окружающихъ, полубезумное кривлянье, всю лихорадочную больную веселость, которой окружаетъ себя измученная душа, слишкомъ гордая, чтобы допустить къ себѣ сожалѣніе.

Варвара Михайловна со своей благородной натурой и высшими запросами живетъ съ благодушнымъ слизнякомъ

Басовымъ, какъ его жена, живетъ годъ за годомъ, кручинится, но мысль бросить его считаетъ грубой. Еще нѣсколько шаговъ по этому пути, еще нѣсколько лѣтъ такой жизни, да если бы ко всему прибавились дѣти,—и мы имѣли бы передъ собою субъекта, схоронившаго свое „я“ и мертваго, не хуже Рюмина или Шалимова, а тирады, полныя красивой печали, сдѣлались бы надгробнымъ памятникомъ надъ погребенной душой.

Власъ, честный, порывистый, любящій Власъ продолжаетъ служить у Басова секретаремъ, позволяетъ эксплоатировать себя и самъ служитъ несомнѣннымъ орудіемъ эксплоатаціи другихъ; онъ иронизируетъ, злится и кривляется, но безъ посторонней помощи онъ все же не могъ бы выбиться изъ басовскаго болота. При обыкновенныхъ условіяхъ Власъ и Варвара несомнѣнно погибли бы, но воздухъ послѣднее время становится все свѣжѣе. Шалимовъ съ безпокойствомъ и ненавистью констатируетъ приближеніе новаго читателя. Варвара Михайловна говоритъ въ одномъ мѣстѣ:

„Мнѣ кажется, что скоро, завтра, придутъ какіе-то другіе, сильные, смѣлые люди и сметутъ насъ съ земли, какъ соръ“...

Приближеніе этихъ людей ознаменовывается тѣмъ, что Власы и Варвары перебѣгаютъ въ ихъ лагерь. Навстрѣчу имъ идетъ авангардъ арміи „дѣтей прачекъ и кухарокъ, дѣтей здоровыхъ рабочихъ людей“. Марья Львовна, представительница этого авангарда, кричитъ навстрѣчу Варѣ и Власу, которыхъ она въ сущности спасла: „родные наши, тамъ, внизу, послали насъ впередъ себя, чтобы мы нашли для нихъ дорогу къ лучшей жизни“.

Активное выступленіе „новыхъ людей“ — вотъ то спасительное явленіе, въ результатѣ котораго Басовы будутъ терять своихъ секретарей, а нерѣдко и женъ.

Что касается типовъ положительныхъ, то надо сознаться,

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ТОВ. ЛЕНИНА.

что по условіямъ, вѣроятно, совершенно независящимъ отъ автора, идеи Марьи Львовны, а тѣмъ болѣе Саши и Зимина остаются чрезвычайно неясными. Хорошо намѣчена свѣжая бодрость, простота и искренность отношеній, поэзія прямоты и увѣренности въ себѣ, свойственныя лучшимъ представителямъ пролетарской интеллигенціи. Но все же рядомъ съ сочно нарисованными отрицательными образами положительные типы драмы представляются какъ бы импрессіоннистски набросанными контурами. Положительныхъ типовъ русской публикѣ придется еще подождать.

Не совсѣмъ понятна для насъ фигура Двоеточія. Это дѣлецъ, всю жизнь ворочавшій капиталомъ и ни разу не задумавшійся надъ тѣмъ, имѣетъ ли его неустанный трудъ какой-нибудь смыслъ и какую-нибудь цѣль? Теперь нѣмецъ-конкурентъ заставилъ его прекратить дѣло, и онъ почувствовалъ себя рыбой, выброшенной на берегъ; онъ не понимаетъ больше, что къ чему, онъ не знаетъ, куда дѣть свои праздноболтающіяся руки, онъ не знаетъ, куда дѣть свое богатство: не отдавать же его, въ самомъ дѣлѣ, злобному племяннику, неудачнику Суслову, совершенно чужому и несимпатичному человѣку.

Возможны, конечно, индивидуальные случаи, когда подобные Двоеточія подпадаютъ подъ вліяніе лицъ, въ родѣ Марьи Львовны, и отдаютъ свои средства на служеніе обществу, но въ своихъ „Дачникахъ“ Горькій нарисовалъ, такъ сказать, схему междуинтеллигентскихъ отношеній, и какъ-то странно и фальшиво, что тѣмъ базисомъ, на которомъ укрѣпляются Марья Львовна и ея друзья, являются капиталы сданнаго въ архивъ фабриканта. Развѣ это типично? Типичное сливается здѣсь съ совершенно случайнымъ, рѣдкимъ, даже курьезнымъ, отъ чего возникаетъ своеобразное біеніе, непріятный диссонансъ.

Мы не станемъ останавливаться на разборѣ новаго произведенія Горькаго, какъ театральной пьесы. Какъ худо-

жественное произведеніе, какъ вѣрно задуманная и прекрасно выполненная общая картина, отражающая внутреннюю жизнь цѣлаго слоя нашего общества, новая драма Горькаго представляетъ изъ себя крупное и отрадное литературное явленіе. Она сама по себѣ является симптомомъ, это одна изъ ласточекъ настоящей весны, не той, которая приходитъ по приказу офиціальныхъ календарей, а той, которая стихійно расправляетъ льды и усыпаетъ землю цвѣтами, хотя бы и вопреки календарямъ. Такая весна веселое, радостное время, но въ достаточной степени жестокое, такъ какъ многое таетъ и сгораетъ въ лучахъ огненнаго Ярилы; мы привѣтствуемъ поэтому то вполнѣ опредѣленное отношеніе къ жалости, къ сентиментальному, мелкому человѣколюбію, столь родственному благодѣльной лживости, которое выясняется изъ цитированныхъ нами мѣстъ „Дачниковъ“. Судя по многимъ тирадамъ Луки въ драмѣ „На днѣ“, Горькому грозила опасность впасть въ „мягкость“... Слава Богу, что этого не случилось и что „жестокость“ взяла въ немъ верхъ. Побольше, побольше жестокости нужно людямъ завтрашняго дня.

Въ мірѣ неяснаго.

У меня все не было досуга почитать журналъ идеалистовъ, т. е. союза кантіанцевъ и мистиковъ: „Вопросы Жизни“. Слышать объ этомъ журналѣ мнѣ, конечно, приходилось. Одни мнѣ говорили, что, несмотря на общую истерику, царящую въ немъ, онъ ведется разнообразно и интересно. Другіе утверждали, что въ немъ удивительно интересны лишь заглавія, но подъ всякимъ и всяческимъ заглавіемъ въ концѣ концовъ издаются все тѣ же однообразныя пустыни вѣчности и безконечности.

Наконецъ, я нашелъ время перечесть нѣсколько книжекъ журнала.

Я всегда считалъ нелѣпой теорію Сигеле, утверждающую, что, собравшись вмѣстѣ, умные люди глупѣютъ, а глупые совсѣмъ сходятъ съ ума.

Я и теперь думаю, что во всемъ своемъ объемѣ эта теорія—порожденіе отвратительнаго мѣщанскаго индивидуализма. Но иногда это бываетъ вѣрно. Поработавши вмѣстѣ, г-да идеалисты совсѣмъ заговорились, и тонъ ихъ въ настоящее время до того мистиченъ, приподнятъ, нервозенъ, что даже здоровому человѣку, начитавшемуся „Во-

просовъ Жизни", начинаетъ казаться, что „океанъ летитъ кругомъ" *).

Любопытная и подкупающая черта идеалистовъ заключается въ томъ, что они всякую вещь и всякій вопросъ норовятъ связать съ самыми нѣдрами вселенной и начинаютъ почти всегда отъ Адама и даже отъ Бога и чорта. На этотъ разъ я послѣдую ихъ примѣру и тоже начну отъ Адама. Какъ извѣстно, Богъ іудеевъ,—какимъ онъ изображенъ въ твореніяхъ этого народа,—создавъ міръ изъ ничего, требовалъ по отношенію къ себѣ безусловнаго повиновенія. Сонмы духовъ, имъ созданныхъ, должны были наслаждаться собственнымъ бытіемъ и лицезрѣніемъ всѣхъ тайнъ и красотъ мірозданія, но зато они должны были немолчно воздавать хвалу своему творцу и господину.

Однако, въ міръ, созданный Элоимомъ, какими-то судьбами прокралась критика и непокорность.

Люциферъ-свѣтоносецъ, ангелъ звѣзды утренней, возмутился противъ всемогущихъ силъ. Я не удивляюсь тому, что зловредная пропаганда и преступная агитація ангела утренней звѣзды имѣла успѣхъ и отвергнула отъ свѣтлыхъ и славословящихъ сонмовъ ангельскихъ значительное меньшинство. Правда, златокудрые и бѣлокрылые служители Элоима имѣли все, что имъ нужно было: ни восьми-часового дня, ни надбавки къ заработной платѣ имъ не требовалось. Когда архангелы вопрошали ихъ: „Что вамъ нужно, чего вамъ недостаетъ?" — они неизмѣнно отвѣчали: „правъ!" Этимъ, испорченнымъ Діаволомъ (иже есть клеветникъ), бывшимъ серафимамъ, не хотѣлось имѣть неподлежащую критикѣ абсолютную власть надъ собою; они требовали равноправія духовнаго міра.

---

*) Интересная опечатка наборщика статьи г-на Волжскаго. У г. Волжскаго „лежитъ", но наборщику послѣ всего, что онъ набралъ, естественнымъ показалось, чтобы океанъ „полетѣлъ".

Въ виду этого Архангелъ Михаилъ и его рать вооружились мечами огненными и бичами изъ молній, напали на ослушниковъ во время одной изъ шумныхъ демонстрацій и низвергли ихъ въ адъ, гдѣ начался рядъ мукъ и скрежетъ зубовный. Такъ кончилась первая революція.

Не характерно ли, что въ древнѣйшихъ легендахъ заложена такая складка протеста? Конечно, люди набожные съ ужасомъ сторонились отъ низверженныхъ заносчивыхъ гордецовъ, но... легенду кто-нибудь да создалъ? И легенда эта стала властительницей думъ многихъ людей, людей проклятыхъ и нечестивыхъ, людей вольнодумныхъ и гордыхъ, для которыхъ „власть"—ненавистное слово.

Кромѣ міра невидимаго, Саваоѳъ создалъ міръ видимый и въ немъ человѣка, существо „духовное", хотя и одаренное плотью. Отъ этого духовнаго существа требовалось, чтобы онъ жилъ покорной, сытой и праздной жизнью въ прекрасномъ саду.

Въ немъ самомъ и вокругъ него была гармонія. Свѣтло-голубыми ясными глазами глядѣлъ Адамъ на то, какъ вѣтеръ качаетъ ароматными вѣтвями, какъ лучъ солнца сверкаетъ въ плещущемъ ручьѣ, слушалъ пѣсню птицъ и ласкалъ льва и лань, прибѣгавшихъ вмѣстѣ сказать ему невинными глазами, что жизнь хороша и что всѣ любятъ другъ друга. И наступалъ вечеръ, и Ева приходила изъ душистыхъ рощъ съ цвѣтами и плодами, улыбками и ласками. Въ небѣ загорались звѣзды. Тихій ангелъ слеталъ и клалъ руки на кудрявую голову Адама и на граціозную головку Евы, заснувшей, склонясь на его плечо. И тогда Адамъ пѣлъ хвалу Творцу, и вселенная подпѣвала ему, и не слышно было за пѣснью вселенной лязга цѣпей, стона и скрежета въ каторжныхъ рудникахъ, куда низвергъ архангелъ Михаилъ бунтовщиковъ.

Но, очевидно, по ошибкѣ въ Адама и Еву была заложена маленькая доза сатанинской гордости. Стоило чорту ска-

зать два слова о познаніи, независимости и равенствѣ, какъ прародители наши преступили законъ. Библія нисколько не утверждаетъ, чтобы Діаволъ налгалъ людямъ. На высшемъ совѣщаніи небесныхъ властей серьезно ставился вопросъ о томъ, какъ бы Адамъ, добившійся познанія, и на самомъ дѣлѣ не добился также независимости и равенства? Послѣ короткаго обмѣна мнѣніями, рѣшено было пустить въ ходъ политику репрессій, и прежде всего отправить Адама и Еву въ ссылку, притомъ избрать такой климатъ, въ которомъ древа жизни не могли бы прозябать, и гдѣ рубка дровъ и охота за дичью отняли бы все время Адама, пріучивъ его къ покорности и отучивъ отъ размышленія относительно добра и зла.

И люди смирились... Они стали благословлять карающую десницу и проклинать дурного совѣтчика, своею пропагандой навлекшаго на нихъ тяжелую репрессію.

Смирились, но не всѣ. Одни, кроткіе, стали проповѣдывать смиреніе и солидарность,—не боевую солидарность, не наступательную, а взаимноутѣшающую, всепрощающую, лазаретную. И осудили они познаніе, которое лишь „умножаетъ скорби“, и осудили роскошь и гордость, волю къ независимости и власти надъ міромъ. Кротокъ долженъ быть человѣкъ, незлобливъ, доволенъ малымъ. Другіе же хотѣли познавать и стремиться, хотѣли подыматься, изобрѣтать, творить и покорять. Кроткимъ были странны эти широкоплечіе, буйные—то мрачные, то непристойно веселые—исполины, и имъ казалось, что дочери ихъ и сыны ихъ не могли родить такихъ, и они говорили, будто высшіе духи сочетались бракомъ съ ихъ дочерьми, и отсюда-то пошло племя, которое не умѣщается въ рамкахъ, очерченныхъ мечомъ, которое рветъ и ломаетъ жизнь общины, презираетъ и губитъ и вѣчно хочетъ.

И вотъ создается удивительная легенда о нихъ, о тѣхъ, которые забросили жизнь пастуховъ и питаются плодами

земными (припомните жертву Каина), о тѣхъ, которые пляшутъ подъ музыку и куютъ себѣ вѣнцы изъ твердыхъ металловъ, о тѣхъ, чьи женщины такъ соблазнительно красивы... Создалась легенда о земледѣльцахъ градостроителяхъ, что они захотѣли построить городъ не для защиты отъ враговъ, не для собственнаго услажденія красотою палатъ, а для штурма самого неба. Гордые архитекторы, художники, творцы дерзостно затѣяли помѣриться своимъ искусствомъ съ недосягаемымъ Архикторомъ вселенной. Но Библія не утверждаетъ вовсе, чтобы предпріятіе было такъ уже безсмысленно. Она утверждаетъ, что въ „высочайшемъ мѣстѣ“ возникла нѣкоторая тревога, что имъ впервые былъ пущенъ формулированный позднѣе римлянами методъ: divide et impera... Путемъ возбужденія національныхъ разногласій и расовой вражды было разбито, по легендѣ, единство усилій племени исполиновъ.

Такъ все время возникаетъ въ древнихъ легендахъ исторія о бунтѣ противъ порядка. Однако, вслѣдъ за тѣмъ времена мѣняются. Первымъ выраженіемъ „бунта“ было всегда стремленіе къ собственному могуществу, выдѣлявшее личность ли, племя ли, и мирная жизнь нарушалась,—начинались захваты и насилія, и лилась кровь. Господа съ ихъ языческимъ „все позволено“ топтали въ землю рабовъ. Они поднимали бунтъ противъ умѣренности и аккуратности и тѣхъ законовъ слабости, которые выдавались за Божьи законы, они говорили: „законъ и справедливость—все это выдумали слабые, чтобы связать руки сильнымъ; богъ справедливости—это богъ слабыхъ, нашъ не таковъ,—онъ любитъ сильныхъ и побѣдителей, любитъ роскошь и вдыхаетъ расширенными ноздрями запахъ всесожженій“.

Когда въ Израилѣ начало пробиваться накопленіе богатствъ, а съ нимъ аристократическія и деспотическія начала, маленькіе люди, вся сила которыхъ была въ справедливости и равенствѣ людей между собою,—людей, при-

никшихъ къ землѣ передъ лицомъ стихій,—маленькіе люди возставали противъ большихъ людей, одѣтыхъ въ желѣзо и золото и съ сердцами изъ желѣза, а во главѣ маленькихъ становились огромные хранители страны, ревнители справедливости и не разъ именемъ Бога они сокрушали господъ. Таковы были пророки.

Воля къ культурѣ, развитіе силъ человѣчества, прогрессъ шелъ черезъ большія государства, торговлю, ремесла, войны и рабства. Страшно тяжелый путь для тѣхъ, кто своими костьми долженъ былъ уложить его. Но если господа поднимаютъ знамя бунта противъ застоя мелкообщинной жизни и узкихъ границъ костнаго закона, если они рѣшаются вновь начать борьбу со стихіями, перейдя въ наступленіе, то рабы зато поднимаютъ бунтъ за свою свободу, за нежеланіе свое быть средствомъ въ рукахъ творца-человѣка, хотя онъ самъ въ сущности лишь строитель для грядущихъ поколѣній.

Читатель-другъ, не осуди меня за то, что я въ этомъ психологическомъ и даже миѳическомъ свѣтѣ передаю данныя соціологическаго характера. Всякому не трудно будетъ понять, какія именно силы экономическаго порядка служатъ тѣми внутренними пружинами, которыя приводятъ въ движеніе всю эту борьбу. Для меня важно установить одно, что именно господа долго были представителями прогрессивнаго начала въ смыслѣ роста культуры; Савонаролла типиченъ, какъ ветхозавѣтный пророкъ въ новой исторіи, вновь и вновь старающійся остановить колесо прогресса, потому что подъ него попала демократія. Демократія же, рабы, выступала во имя Божіе, надѣясь лишь на помощь свыше, отрицая культуру, но она выдвигала зато великую идею общечеловѣческой солидарности.

И вотъ теперь,—и это важнѣе важнаго, и повторить это никогда не лишне,—современная демократія выступаетъ подъ знаменемъ науки и культурнаго прогресса, привѣт-

ствуетъ, зоветъ его, творитъ его; она перестаетъ ждать счастья за гробомъ и помощи свыше, она становится силой, вѣрящей въ себя: налицо всѣ черты прежнихъ г о с п о д ъ, гордыхъ и стремящихся впередъ, къ побѣдѣ разумнаго человѣка надъ безсмысленной стихіей, но... она, современная демократія, въ то же время полна духомъ солидарности. Исторія совершила величайшій, знаменательнѣйшій синтезъ, полный радостныхъ надеждъ и предвкушенія побѣды.

Но почему же тогда часть русской интеллигенціи напротивъ какъ разъ теперь приняла старое р а б с к о е знамя? Правда, она не отрицаетъ культурнаго прогресса науки, вѣдъ она, такъ сказать, живетъ ею, но она громко заявляетъ, что „трагизмъ жизни эмпирически безысходенъ“ и всячески старается развѣнчать то будущее, мечты о которомъ являются для насъ такою гигантской мотивирующей силой. Кромѣ того, до странности не вѣритъ она въ себя и безъ поддержки „изъ міровъ иныхъ“, даже безъ „новаго откровенія“, до котораго она, наконецъ, договорилась, она не надѣется на исходъ изъ „трагизмовъ“.

Мнѣ кажется, и я, если не ошибаюсь, гдѣ-то указывалъ на это, что тому нѣсколько причинъ: 1) молодые ученые, писатели, художники и т. п. въ несравненно большей степени нуждаются въ правахъ, чѣмъ въ матеріальномъ переустройствѣ человѣческаго сотрудничества,—отсюда невольное стремленіе возвысить цѣльность чистыхъ моральныхъ и гражданскихъ правъ надъ запросами экономическими, отсюда Бердяевское фырканье на „низменный идеалъ“ экономическаго движенія. Сейчасъ я не хочу объ этомъ спорить, а лишь констатирую стремленіе либеральную, формальную программу возвеличить за счетъ послѣдовательной и до конца доведенной экономической программы трудового класса; это-то и приводитъ ее къ Канту, а дальше къ мистикѣ, ибо „права“ раздуваются и разбухаютъ до чудовищныхъ и заполняющихъ міръ размѣровъ. Ламменэ сказалъ:

„нѣкоторыя подушки наполнены воздухомъ, и онѣ не изъ худшихъ“. Это вѣрно: идеалы, вѣрнѣе слова, наполненныя воздухомъ, могутъ служить мягкимъ сидѣньемъ и своего рода пьедесталомъ для интеллигентовъ. 2) Потребность раздуть значеніе формальныхъ правъ (напр. свобода, которая для насъ есть лишь отрицаніе зависимости и безсмысленна, пока не наполнена опредѣленнымъ содержаніемъ, а для нихъ—„метафизическая самоцѣль“) еще усиливается тѣмъ, что идеалистъ-идеологъ реальной, матеріальной силой себя, по справедливости, не признаетъ, его сила—аргументъ, убѣдительность. Извѣстно, что брахманы индусовъ молились сначала богамъ стихій, но потомъ, такъ какъ вся ихъ сила заключалась въ мнимой магической мощи молитвы, они стали возвеличивать эту силу молитвы, самое заклинаніе, самое слово, и оно стало богомъ боговъ и творцовъ-брамой. Такъ и наши „словесники“ не преминули, пройдя по всѣмъ ступенямъ жреческаго экстаза, объявить богомъ то „нравственное чувство“ и ту „абсолютную разумность“, которая является ихъ единственнымъ оружіемъ. „Вы говорите намъ, что нравственное чувство слабо, и разумность ничто, когда она не опирается на силу?—знайте же, есть Богъ! и этотъ Богъ и есть Нравственность и Разумность и все можетъ. Вѣруемъ, Господи, помоги нашему невѣрію“.

Когда мнѣ говорилъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ мой товарищъ, что идеалисты сблизятся съ націоналистами, я не хотѣлъ вѣрить. Мой пріятель утверждалъ, что у идеалистовъ, во-первыхъ, не хватитъ творчества, чтобы создать новыя религіозныя формы, а во-вторыхъ, то же внутреннее, несознанное лукавство, которое вооружало ихъ до сихъ поръ всѣми оружіями идеализма и мистицизма, подскажетъ имъ, что они могутъ стать силой, ежели обопрутся о готовыя религіозныя формы православія и народности, разумѣется, въ ихъ высшихъ, наиболѣе интеллигентныхъ проявленіяхъ.

Теперь это несомнѣнно. Идеалисты пропитываются теперь словянофильщиной. Случайно я наткнулся на тираду, ни къ селу, ни къ городу, какъ мнѣ кажется, приткнутую г. Смирновымъ къ характиристикѣ драмы Аннунціо „Дочь Іоріо“, но до крайности характерную для одной полосы чувствованій нашихъ интересныхъ антиподовъ. Привожу ее:

По мнѣню г. Смирнова, Алидже и Мила понимаютъ, что въ той жизни, освященной вѣковой традиціей, отъ которой они ушли, есть какая-то правда, разрывъ съ которой не прощается. Эта правда ихъ предковъ, „косгная“ правда, не миражъ, не иллюзія, но что-то живое, вѣчно стоящее, непреодолимое (Слышите: вѣчно! непреодолимо! А. Л.). „Въ ней т а ж и з н е н н о с т ь, н е з ы б л и м о с т ь, о с я з а т е л ь н о с т ь, которой н е д о с т а е т ъ ихъ правдѣ... У ихъ истины нѣтъ костей предковъ, нѣтъ святого очага. У нихъ н ѣ т ъ с в о е г о в н ѣ ш н я г о, п р е е м с т в е н н а г о с в я щ е н н а г о п р е д а н і я, того, что есть во всякой религіи, что н е о б х о д и м о д л я п о к о я р е л и г і о з н о й д у ш и“. И въ заключеніе г. Смирновъ взываетъ къ высшему синтезу новой, оторванной отъ почвы предковъ, истины со старой костной.

Помнится, г. Изгоевъ указывалъ на то, что нѣкоторымъ реальнымъ общественнымъ силамъ, напр., сектантамъ, идеалисты могутъ быть полезны. И они дѣлаютъ шаги къ этому, по моему, до безобразія понижая при этомъ свою мысль. Событія толкнули значительную часть идеалистовъ въ ряды партіи конституціонныхъ демократовъ; метафизика, а за нею должно быть и мистика выступятъ теперь въ качествѣ декоративныхъ украшеній прогрессивно буржуазной и просвѣщенной помѣщичьей программы.

У гг. идеалистовъ очень много интересныхъ заглавій.

Еще бы! Всюду выдвигая тенденціозно д у х о в н о е надъ тѣлеснымъ, они разрабатываютъ множество вопросовъ,

принадлежащихъ къ самымъ тонкимъ, самымъ глубокимъ, самымъ захватывающимъ. Вѣдь человѣкъ ѣстъ, чтобы жить; если инымъ приходится жить и бороться единственно для того, чтобы люди ѣли вдоволь, то изъ этого не слѣдуетъ, чтобы супъ съ курицей былъ ихъ послѣднимъ идеаломъ. Мыслить, создавать, любоваться всѣми переливами внутренней жизни человѣка и жизни природы—конечно это тотъ свѣтлый верхній этажъ, о которомъ всякій изъ насъ мечтаетъ. Къ сожалѣнію, намъ надо еще добраться до него, и мы вынуждены строить фундаментъ и нижній этажъ изъ грубыхъ тяжелыхъ сѣрыхъ камней. Намъ мало времени для того, чтобы уже теперь взбѣжать на недостроенную башню и оглянуться вокругъ. Нынѣшнее зданіе задумано для слишкомъ немногихъ, и приходится работать внизу, расширяя фундаментъ. Потомъ мы, или тѣ кто придетъ за нами, уже соорудятъ дивные дворцы и такія высокія-высокія бѣлыя кампанеллы, передъ которыми ничтожными покажутся всѣ буржуазныя колоколенки, на которыхъ благовѣстятъ теперь о „вопросахъ жизни“.

Слѣдуетъ ли изъ этого, что намъ такъ-таки и надо отвести себѣ пока одни экономическіе и узко-политическіе вопросы? Не знаю, какъ думаютъ другіе, по моему мнѣнію—ни въ какомъ случаѣ нѣтъ! И теперь, когда личная жизнь становится вещью хрупкой, а передъ обществомъ и прежде всего передъ тѣмъ классомъ, къ которому мы радостно и всецѣло примкнули, открываются безпредѣльные, залитые солнцемъ пути, хотя и полные испытаній и ужаса для индивидуумовъ, но побѣдоносные для цѣлаго,—теперь хочется съ энтузіазмомъ противопоставить религіозному чириканью буржуазныхъ музъ, синтезирующихъ „безпочвенную“ свою новую истину съ „костной“ вѣрой предковъ,—свою вѣру.

Когда начинается война, думаешь не только о пуш-

кахъ, тактикѣ, провіантѣ, но и побѣдѣ твоего знамени и о томъ отношеніи, въ какомъ находятся къ ней раны и смерть отдѣльныхъ лицъ,—ибо сегодня другіе, а завтра ты, быть можетъ,—и нѣтъ чувства болѣе религіознаго, въ лучшемъ смыслѣ этого слова, чѣмъ то, побѣждающее смерть, чувство классовой и общечеловѣческой солидарности, которымъ руководятся передовые борцы.

Займемся подобной темой, бесѣдуя о двухъ очень чуждыхъ намъ по психологіи мыслителяхъ: о Розановѣ и его пророкѣ—г. Волжскомъ.

Не вѣдаю, на чемъ основываясь, г. Волжскій пишетъ слѣдующія строки: „тѣхъ, кто осмѣливается заглядывать внизъ, вскрывать исподнюю, глубинную реальность, заподозрѣваютъ въ отсутствіи реализма, не понимаютъ, осмѣиваютъ, съ раздраженіемъ и тайнымъ страхомъ обзываютъ „мистиками“. Правда, г.Волжскій утверждаетъ здѣсь, что обзывая кого-то „мистикомъ“, реалисты испытываютъ „тайный“ страхъ, такъ что мы не можемъ попросить уважаемаго публициста-мистика привести доказательства: „боятся, но скрываютъ!“—но все же мы осмѣлимся, по крайней мѣрѣ, категорически отрицать утвержденіе его. При нынѣшнихъ условіяхъ появленіе мистика иногда (рѣдко, правда) привѣтствуется реалистами, какъ интересное явленіе, большею частью, вызываетъ сожалѣніе и объясняется какъ своеобразная болѣзнь—иногда общественнаго, иногда личнаго характера. Почему бы реалисты могли „бояться“ мистика? Самое направленіе нашего вѣка въ общемъ обратно мистицизму, и мы не въ правѣ ожидать паденія мысли. Если и замѣтно на поверхности цивилизованнаго общества обратное теченіе, т. е. мистическое, то знамя жизни все же находится въ безопасности, ибо тотъ классъ, которому принадлежитъ будущее, во всякомъ случаѣ остается ему вѣренъ. Когда мистически настроенный поэтъ съ настоящей фантазіей пытается набросать ту или иную картину,

объединяющую міръ, заглянуть туда, куда еще не проникло методическое изслѣдованіе,—мы привѣтствуемъ это: подъ мистической шелухой часто скрываются громадныя истины, сначала угадываемыя, а потомъ уже познаваемыя; мистическая поэзія (хотя бы во мнимо философской формѣ) можетъ быть предвѣстницей одной изъ тѣхъ истинъ, лица которыхъ еще предстоитъ открыть. Но когда мистика сводится къ бредовому пережевыванію старыхъ символовъ или уродливому порожденію новыхъ символовъ-недоносковъ, символовъ-пустяковъ, или когда она сводится къ самовлюбленному пустомыслію и праздноболтанію, какъ, напр., у Розанова, тогда можно чувствовать лишь жалость, къ которой примѣшивается презрѣніе въ той мѣрѣ, въ какой рядомъ сказывается фальшивая, угодливая къ силѣ, безпринципная душонка.

Вотъ если бы все направленіе вѣка шло отъ науки, прочь отъ нея, тогда можно было бы считать ужаснымъ затменіе, отупѣніе, паденіе ума, которое является послѣдствіемъ мистицизма.

Было страшно, напримѣръ, когда ростки свободнаго и планомѣрнаго изслѣдованія въ древнемъ мірѣ были раздавлены хлынувшимъ съ востока потокомъ тяжелаго, жизнеотрицающаго мистицизма. Помните знаменитую тираду Ницше объ этомъ?—„Вся работа античнаго міра оказалась пустою: я не нахожу словъ при видѣ этого чудовищнаго факта. А такъ какъ эта работа была только фундаментомъ для труда тысячелѣтій, то утратился (чуть было не утратился, сказали бы мы. А. Л.) весь смыслъ существованія античнаго міра. Уже имѣлись налицо всѣ зачатки научной культуры, всѣ научные методы... Естественныя науки въ связи съ математикой и механикой стояли уже на правильной дорогѣ; пониманіе фактовъ, эта высшая и драгоцѣннѣйшая способность уже имѣла свои вѣковыя традиціи... Пришлось завоевывать вторично свободный

взглядъ на дѣйствительность, осторожность, терпѣніе и серьезное отношеніе къ малѣйшимъ вещамъ, всю эту честность въ дѣлѣ познанія. И вся эта работа, уже сдѣланная раньше, не погибла отъ какой-либо катастрофы,—нѣтъ!... Ее обезчестили исподтишка невидимые, хитрые, малокровные вампиры".

Хотите ли образчикъ того, съ какою быстротою рухнула бы честность въ познаніи, если бы наука дѣйствительно потеряла цѣну не въ глазахъ однихъ только Волжскихъ и ихъ друзей? Г. Волжскій презрительно киваетъ головой на „источники мелководія" вродѣ дарвинизма, и съ умиленіемъ разъ двадцать, если не больше, твердитъ о геніальности „вопрошаній" Розанова о „тайнѣ пола", о „розовой тайнѣ пола", и вотъ вамъ отвѣтъ на „вопрошаніе" бездонно глубокомысленнаго фельетониста-пророка:

„Зачѣмъ бы землѣ перевертываться на своей оси, а не летать вокругъ солнца, обращенной къ ней постоянно одною стороной, какъ луна обращена вѣчно одною стороною къ землѣ?... Сонъ и бодрствованіе, двѣ души на землѣ, сновидящая и раціональная, „образомъ" и „подобіемъ" обращающіяся и на всѣхъ тварей—есть не механическая, но метафизическая причина переворачиваемой земли, „то на одинъ бокъ", то „на другой". Розановъ не рѣшается прямо сказать, что земля вращается вокругъ оси для того, чтобы онъ, Розановъ, и прочія твари могли спать и сны видѣть, но эта „другая" метафизическая причина!" И какъ скоро могли бы быть забыты столь неважныя и поверхностныя причины механическія! Метафизическая причина!—Это куда глубже. И превосходно это: „перевертываться на своей оси", „причина переворачиваемой земли то на одинъ бокъ, то на другой". Я, конечно, не думаю, чтобы Розановъ не зналъ, что у земли боковъ нѣтъ, и она равномѣрно

вращается, а не переворачивается, „то на одинъ, то на другой“, но, читатель, метафизически Розановъ, повидимому, вкладываетъ въ эту нелѣпицу о бокахъ свой смыслъ, такъ какъ далѣе онъ говоритъ: „все фосфористое въ человѣкѣ вдругъ зажигается, свѣтится; его существо вдругъ „намагничивается“ страшнымъ земнымъ магнетизмомъ только что повернувшейся земли“. Какая бездна премудрости: „фосфористое“ „намагначивается магнитизмомъ“ „только что повернувшейся“—не удивляйтесь: Розановъ искалъ своей учености для объясненія „розовой тайны“ на востокѣ, а отнюдь не у источниковъ мелководья. Онъ пишетъ нелѣпость, а г. Волжскій уже благоговѣйно перепечатываетъ и умиляется, и ему кажется нелѣпымъ и вульгарнымъ тотъ, кто скажетъ: да вѣдь это наглая чепуха, наборъ словъ, премудрость Кифы Мокіевича! Нѣтъ! Все надо понимать „особенно“, подходить особымъ „подхожденіемъ“, убѣдить себя заранѣе, что мой смыслъ вещей-прямое сопоставленіе фактовъ—дѣло „обидно ясное“, и что, чѣмъ больше чудачествъ и жупеловъ городитъ „вопрошатель“ — тѣмъ цѣннѣе его изслѣдованіе. Это быстрое разрушеніе методологіи, здраваго смысла, честности въ познаніи было бы странно, если бы не ютилось оно по „Русскимъ Вѣстникамъ“ и „Московскимъ Вѣдомостямъ“, откуда на удивленіе Европѣ вытаскиваетъ теперь его все болѣе и болѣе шалѣющій отъ мистицизма г. Волжскій.

Нѣтъ, реалистамъ нечего бояться Розановыхъ. Но вотъ г. Волжскій на смерть, до неприличія струхнулъ передъ нимъ. Говоря прямо, это произошло потому, что Розановъ преподнесъ ему „хорошую“ антихристіанскую мудрость подъ соусомъ мистичнѣйшаго мистицизма, со всѣми выкрутасами доподлиннаго „своего человѣка“. Когда эту свѣтлую мудрость развиваютъ прямо, смѣло, рѣшительно, г. Волжскому не страшно: „не вѣдаютъ, что творятъ“, говоритъ онъ. Но Розановъ со всѣмъ своимъ краснорѣчіемъ полу-

церковнаго характера не могъ быть отвергнутъ такъ просто, а выводы сдѣлалъ „языческіе“. Но замѣтьте, самое язычество Розанова, напугавшее г. Волжскаго,—плоское недоговоренное и въ высочайшей степени м ѣ щ а н с к о е; освободивъ его отъ всей шелухи, вы получите безпросвѣтно самодовольное мѣщанство и только. Но г. Волжскій ничего этого не разсмотрѣлъ; онъ не разсмотрѣлъ, что проведя, его по длиннымъ подземельямъ, мимо мощей и сфинксовъ, мимо иконъ и лампадъ всѣмъ богамъ древности, Розановъ вывелъ его на задворки, на грязный дворъ той же нынѣшней свѣтской мысли, научной мысли. Г. Волжскій бывалъ, несомнѣнно, въ ея большихъ залахъ, видѣлъ ея истинныя красоты и не убоялся за свой „синтезъ“, за свое „истинное касаніе лица Христова“, а выйдя на Розановскіе задворки перепугался только потому, что способъ выраженій Розанова иной, что тотъ продѣлалъ передъ нимъ процессъ самоосвобожденія мѣщанской души отъ немѣщанскихъ элементовъ великой христіанской религіи, продѣлалъ его тутъ же, начавъ съ изувѣрскихъ, простонародныхъ формъ „вѣры“ и дойдя до апофеоза свободнаго отъ религіи „хозяйственнаго человѣка“.

И подумайте, вѣдь, какъ испугался бѣдняжка г. Волжскій! „Раскрывается намъ загадочное лицо автора, но почему-то улыбающееся, улыбка сіяетъ, и свѣтъ ласковый, грѣющій лучится изъ нея, но почему-то становится странно... и страшно, жутко, хотя лампадочки свѣтятъ и все спокойно... черный ликъ Спасителя въ далекомъ углу совсѣмъ почернѣлъ, закрылся дымкой лампаднаго свѣта изъ земли... Самъ-то онъ уже не свѣтитъ“. Подумайте! даже и ликъ Христа уже не свѣтитъ при сіяніи грѣющей и ласковой, въ многословный и юродствующій мистицизмъ закутанной, мѣщанской мудрости Розанова!

„Розановъ часто какъ будто только изъ какой-то дели-

катности ли, боязливости ли *) отъ выводовъ отмахивается, какъ будто умышленно не выговаривая всего, не подчеркивая, иногда даже зачеркивая и затушевывая послѣдовательность и глубокость своей позиціи. Онъ какъ бы нарочно укорачиваетъ линіи узоровъ своего міросозерцанія... Зато, откажись онъ отъ этихъ фиговыхъ листковъ, останься на наготѣ своего мистически-демоническаго человекобожества, знающаго добро и зло“,—онъ станетъ неприступенъ. Тогда съ нимъ уже невозможенъ станетъ споръ,—можно, ужаснувшись,—отойти къ Христу, противостать, но не спорить“...

Подумайте! подумайте! такъ испугаться дѣйствительно укороченнаго, лишеннаго всякаго размаха всякой поэзіи „человѣкобожества“, такого, о которомъ стыдно и говорить, какъ о „человѣкобожествѣ“, до того оно самодовольно, ничтожно, мелко, прозаично, несмотря на „соленый соусъ“, подъ которымъ Розановъ его сервируетъ.

Но кончается прямо неприличіемъ! До того доходитъ ужасъ Волжскаго, что онъ пишетъ: „изъ всѣхъ антихристіанскихъ писателей, изъ всѣхъ критиковъ христіанства, которыхъ мы имѣли до сихъ поръ, В. В. Розановъ являетъ собой наибольшую силу, величайшую угрозу и самый страшный вызовъ“. Онъ видитъ въ немъ „антихристово“ начало и заявляетъ, что онъ окажется „явленіемъ грознымъ, требующимъ большаго вниманія со стороны церкви, чѣмъ Л. Толстой“.

У страха глаза велики, и даже Розановъ показался великимъ. Но Розановъ совсѣмъ не разрушитель, и нечего г. Волжскому волновать представителей офиціальной церкви: самоосвобождающійся мѣщанинъ остановится всегда во время и сумѣетъ „ладкомъ да миркомъ, тихонько, да

*) Несомнѣнно, второе.

умненько“ договориться съ любой господствующей религіей да еще и подслужиться, и подъ ручку подержать.

Но кто же такой этотъ Розановъ? Это философствующій публицистъ реакціонныхъ газетъ и журналовъ, разрабатывающій на цвѣтистомъ, манерномъ и архаически-семинарскомъ языкѣ разные религіозные вопросы, старающійся видоизмѣнить христіанство, лишивъ его аскетическихъ чертъ. При этомъ Розановъ, съ одной стороны, „дерзаетъ“, вылущивая изъ христіанства чуть не все его содержаніе и въ реабилитаціи „жизни“ (конечно, мѣщанской) доходя до реабилитаціи ея разврата, съ другой стороны—„не дерзаетъ“ и дѣлаетъ свое дѣло съ оглядкой на „власть предержащую“, помахивая иногда передъ нею хвостомъ. Не удивительно, что при такихъ обстоятельствахъ онъ, дѣйствительно, является „сложнымъ и тонкимъ въ лукавствѣ своемъ, теоретическомъ и практическомъ, писателемъ“. Рядомъ съ этимъ, Волжскій видитъ въ немъ „геніальный размахъ мысли“ и нѣчто „бездонно-глубокое и грозное“. Насколько это вѣрно, для насъ выяснится.

Вл. Соловьевъ, въ лучшее свое время, пока еще онъ, со ступеньки на ступеньку, не дошелъ до мрачной проповѣди жизнеотрицанія, относился къ Розанову презрительно. Розановъ настрочилъ полную прямо грубыхъ софизмовъ, слащаво-инквизиторскую статью въ защиту нетерпимости. Основываясь на томъ, что „мы боимся перестать вѣрить въ Бога*), Розановъ доказывалъ, что этотъ страхъ оправдываетъ всякія мѣры. На эту статью, тогда еще идеалистъ въ лучшемъ смыслѣ слова, Соловьевъ отвѣтилъ статьею „Порфирій Головлевъ о свободѣ и вѣрѣ“.

„Статья о свободѣ и вѣрѣ“ только что появилась въ одномъ изъ здѣшнихъ журналовъ и, — писалъ Соловьевъ, — „не подписана именемъ Головлева, но совокупность внутрен-

*) Вотъ кто боится-то, а не реалисты, г. Волжскій.

нихъ признаковъ не оставляетъ никакого сомнѣнія насчетъ дѣйствительнаго автора: кому же, кромѣ Іудушки, можетъ принадлежать это своеобразное, елейно-безстыдное пустословіе? Въ сравненіи съ этимъ, всѣ измышленія и кривотолкованія другихъ противниковъ религіозной свободы, какъ, напримѣръ, г. Л. Тихомирова, кажутся чѣмъ-то прямодушнымъ и добропорядочнымъ".

Розановъ, однако, мало былъ смущенъ этой характеристикой. Онъ продолжалъ свою изувѣрски-софистическую проповѣдь и утверждалъ еще, что Соловьевъ рано или поздно „придетъ" къ нему. Насколько наглы софизмы „Порфирія", вы можете видѣть изъ такого примѣра, приводимаго самимъ Волжскимъ: „Слабость вѣры, блужданія ума, самый атеизмъ уже сталъ какъ бы природой нѣкоторыхъ людей; но для чего въ этой природѣ человѣку гордо замыкаться? Не лучше ли, уединившись отъ нея умственно и все-таки не будучи въ силахъ ее сбросить съ себя, — отдать ее, какъ нѣчто чужое, постороннее себѣ, на судъ и присужденіе. Здѣсь все-таки есть нѣкоторый просвѣтъ къ свободѣ, нѣкоторая дверь убѣганія отъ зла, его отрицанія. Я не вѣрю, я совершенно не могу повѣрить, и вотъ—отрицаю себя, становлюсь индиферентенъ къ своему я, и сочувствую самъ всему, что съ нимъ производятъ". Г. Волжскаго беретъ раздумье, и онъ пишетъ: „Такая позиція В. В. Розанова была еще сколько-нибудь понятна и психологически объяснима, пока подъ ней держалась почва православной ортодоксіи. Зато теперь, когда Розановъ давно уже сошелъ съ прежней ортодоксальной почвы и погрузился въ глубины иныхъ настроеній, иныхъ религіозно-философскихъ исканій, позиція его становится въ этомъ пунктѣ всѣ болѣе непонятной, хитро-загадочной, странной и... страшной *).

*) Что касается насъ, то Розановская позиція кажется намъ прежде всего и главнымъ образомъ... подлой.

А Соловьевъ все-таки пошелъ къ „Іудушкѣ“. Розановъ могъ не только съ удовольствіемъ констатировать, что „пришелъ“, но еще замѣтить: „въ послѣдніе годы, приближаясь къ „Повѣсти объ Антихристѣ“, онъ замѣтно началъ окрашиваться въ колоритъ тогдашнихъ моихъ мнѣній, фанатичныхъ и мучительныхъ, противъ коихъ такъ возставалъ“.

Да, существуетъ „уклонъ“ отъ мистицизма болѣе или менѣе благороднаго къ изувѣрству. Не вообще существуетъ, а при извѣстныхъ общественныхъ условіяхъ. Объ этомъ „уклонѣ“ рѣзко говорилъ какъ-то г. Булгакову позднѣе сотрудникъ „Вопросовъ Жизни“, В. Водовозовъ. Г. Булгаковъ, впрочемъ, быть можетъ, и избѣжитъ „уклона“, потому что настали времена, неблагопріятныя затхлости.

Мѣщанства, плоскаго и сухого, въ Розановѣ г. Волжскій не разобралъ, но низменное лукавство, что называется, бьетъ въ носъ; однако, и это не заставило Волжскаго отшатнуться отъ столь страшнаго и вмѣстѣ столь привлекательнаго „антихриста“. Самъ Волжскій—большой риторъ, и риторика часто и раньше граничила у него съ нѣкоторымъ звонкимъ суесловіемъ, а именно риторъ Розановъ его совершенно подкупилъ. Онъ въ восторгѣ отъ его коверкающагося и своеобразнаго слога: очень хорошія слова говоритъ! „Металлъ и Жупелъ“ на каждомъ шагу! И притомъ такое пикантное соединеніе: православно-костное и рядомъ разнузданное,— вполнѣ совмѣстимыя, впрочемъ, начала въ типичномъ мѣщанинѣ, у котораго богомоліе и благолѣпіе прикрываютъ сладострастіе, разбухшее отъ скуки и пустоты мѣщанскаго существованія.

Мистики часто бываютъ гурманами по части слога. Вѣдь, надо показать свое умѣніе лицезрѣть въ духѣ „міры иные“. Это большой фокусъ. Главное при этомъ побольше словъ и поменьше опредѣленности. Слова должны быть разныя и въ причудливыхъ сочетаніяхъ, но такъ, чтобы образовъ не

получалось. Человѣкъ, съ сильной фантазіей слишкомъ ярокъ; у него выходитъ сказка, иногда захватывающая, но онъ всегда создастъ нѣчто слишкомъ реальное, а тутъ нужно, чтобы мелькало нѣчто, какъ будто что-то есть, но что—уловить невозможно. Если вы добились такого мутно-пестраго стиля — можете смѣло говорить о мірахъ иныхъ. Розановъ на это мастеръ, г. Волжскій находитъ у него „чутье нуменальнаго, потусвѣтнаго“, „кровное (?) касаніе мірамъ инымъ“.

„Чутко насторожившись и затаивъ дыханіе, съ замираніемъ сильно бьющагося сердца, онъ шепчетъ страшнымъ, прерывающимся отъ волненія шопотомъ свои странныя вопрошанія, тяжелыя недоумѣнія и жуткія, щекочущія догадки“.

При этомъ тема у Розанова „талантливая“ и „почти неприличная“ и „Розановъ вылупился изъ своей темы, какъ изъ яйца“. Въ писаніяхъ Розанова, по Волжскому, есть „что-то дразнящее, саднящее, соленое, вмѣстѣ съ приторно-сладкимъ, теплымъ и грѣющимъ“. Замѣчательно интересный писатель!“ — восклицаетъ нашъ идеалистъ. Не Богъ вѣсть, какъ интересенъ, скажемъ мы, но и онъ самъ и восторженный ужасъ передъ нимъ г. Волжскаго наводятъ на довольно интересныя мысли, касающіяся самыхъ глубинъ современныхъ міровоззрѣній.

Тема Розанова: „найти Бога на днѣ брачнаго завитка“; она „развертывается отъ таинственныхъ розовыхъ завитковъ пола“.

Легче всего понять эту тему, припомнивъ знаменитую фразу Іудушки Головлева, на котораго, по свидѣтельству Вл. Соловьева, похожъ „во всей совокупности признаковъ“ г. Розановъ. Іудушка говоритъ Анненькѣ: „Сегодня я молился Боженькѣ... и Боженька мнѣ сказалъ,—возьми Анненьку за полненькую тальицу и прижми ее къ своему сердцу“. У Порфирія Головлева наличность нѣкотораго философическаго

дарованія несомнѣнна, касаніе мірамъ инымъ у него самое кровное, что видно уже и изъ этой фразы: самъ Боженька сказалъ Порфирію: „возьми Анненьку“ и проч. Допустите, однако, что Порфирій былъ бы религіознымъ публицистомъ, спеціалистомъ пера, не возникла ли бы у него интересная тема? Какія „поправочки“ нужно внести въ обычное представленіе о „Боженькѣ“ для того, чтобы заповѣдь о полненькой тальицѣ оказалась въ его устахъ вполнѣ умѣстною Существуютъ поползновенія въ душѣ мѣщанина—закоренѣлаго, мелкодушнаго человѣчка—ко многому запретному, что объявлено грѣхомъ. Суровое жизнеотрицаніе христіанства—совсѣмъ не мѣщанская идея; конечно, мѣщанинъ, закоренѣлый, типичный, консервативенъ до высшей степени и зубами держится за власти предержащія и за офиціальную религію, такъ какъ пуще всего боится безпорядка, но аскетическое, хиліастическое начало въ христіанствѣ ему чужло и непонятно *). Только раздавленный страданіями народъ всею душою и всѣмъ сердцемъ откликается именно на эти аскетическо-хиліастическія ноты: „терпи, эта жизнь не настоящая, настоящая жизнь придетъ и ты будешь вознагражденъ за твои страданія“. Совсѣмъ непонятно это зажиточному мѣщанину, и онъ всегда подкапывался подъ эти устои вѣры. Въ вопросахъ семьи, брака, частной собственности мѣщанъ во всѣ времена старался найти такое толкованіе христіанства, которое бы узаконило его мѣщанскую точку зрѣнія на эти устои жизни, жизни вполнѣ, по его мнѣнію, настоящей. Протестантизмъ проникнутъ былъ этимъ духомъ. Сѣверный крестьянинъ — хозяйственный, зажиточный — а особенно горожанинъ-ремесленникъ мало-по-малу, но упорно передѣлали на свой ладъ религію пролетаріата громадныхъ метрополій юга.

*) Интересно, съ какою злобой обрушилось все мѣщанство, въ широкомъ смыслѣ этого слова, на хиліастическую секту малеванцевъ.

Есть любопытная на этотъ счетъ страничка у Рескина, этого типичнаго христіанина-протестанта, который не могъ не отнестись съ величайшей симпатіей къ „низведенію Христа на землю“. Вотъ что пишетъ великій эстетъ-мѣщанинъ въ своихъ „Шести Утрахъ во Флоренціи“.

„Соприкосновеніе сѣверныхъ народовъ съ византійскимъ югомъ означало, между прочимъ, встрѣчу начала семейно-домашняго и начала монастырскаго, практическаго хозяйственнаго ума и совершенно непрактичнаго безумія пустыни. Не могу придумать другого выраженія. Я употребляю его съ благоговѣніемъ и разумѣю при этомъ нѣчто очень благородное, не знаю даже, не сказать ли — нѣчто божественное. Судите сами. Сравните сѣвернаго мужика со св. Франциском; ладони, закорузлыя отъ полевой работы, съ нѣжными ладонями, изъязвленными отъ постоянной мысли объ язвахъ Христовыхъ. Въ моихъ глазахъ оба священны; но судите же сами: вѣдь несомнѣнно—и иначе рѣшить нельзя—что одинъ съ человѣческой точки зрѣнія здоровъ, а другой безуменъ. Соединить чувственное, осмысленное съ безсмысленнымъ (я говорю, повторяю, съ уваженіемъ)—это нелегко и это осуществилъ Джіотто“. Осуществилъ онъ это, по мнѣнію Рескина, поднявъ значеніе семьи. „Еще Чимабуэ изображалъ Іосифа, Богоматерь и Младенца-Христа, Джіотто изображаетъ отца, мать и ребенка“. Вы видите, первый шагъ зажиточнаго мѣщанства Возрожденія было—„найти Бога на днѣ брачнаго завитка“. Іосифъ превратился въ отца, материнство стало однимъ изъ главныхъ сюжетовъ живописи. Мать и дитя—это прежде всего. Но для того, чтобы любить такъ нѣжно семью, нужно имѣть досугъ, средства, видѣть въ ребенкѣ наслѣдника своему имуществу и дѣлу, нужна вся та семейная идиллія мелкаго производителя и торговца, которая недоступна пролетарію, недоступна истощенному, „неисправному“ мужику. Для того семья часто обуза, всегда источникъ заботъ и стра

даній, а его жена никогда не можетъ такъ беззаботно играть съ малюткой, какъ большинство Мадоннъ Рафаэля. И рядомъ съ культомъ семьи, начался и культъ собственности: утвари, снѣди, сокровищъ, которыя такъ тщательно выписывались особенно мелкобуржуазными голландскими мастерами, но также и многими итальянцами XV вѣка. Да не подумаетъ читатель, что я осуждаю ренессансъ, какъ мѣщанское явленіе! О, нѣтъ, не говоря уже о томъ, что это была мучительная эпоха, порождавшая такихъ титановъ отрицанія, какъ Ботичелли или Микель Анжелло, но и положительные представители жизнерадостности быстро перешагнули мѣщанскія, семейныя рамки, — и все же протестантско-хозяйственное мѣщанское начало налицо; въ то время, какъ въ одну сторону маятникъ возрожденія доходитъ до отчаяннаго пессимизма, а въ другую — до истиннаго человѣкобожія, на серединѣ льется журча потокъ примиряющаго искусства, счастливаго въ своей ограниченности.

Итакъ, въ судьбахъ христіанства происходилъ переломъ, поскольку зажиточная семья разрушала пафосъ и трагизмъ пролетарскаго хиліазма.

Послушаемъ теперь Розанова о томъ же.

Извиняюсь передъ читателемъ за длинную выписку, но она, что рѣдкое исключеніе, не мистична, а проста и ясна, и очень характерна.

— „Ну, вотъ и окончательно домой!—подумалъ я не безъ облегченія, садясь въ коляску.—Ближе ко щамъ; ну ее, всю эту мистику, и бѣлыя, и черныя сіянія, и психику дня и ночи“.—Прямо за стѣнами монастыря, какъ началось шлепанье грязи, овраги и пригорки, сразу входишь во всю реальность бытія. Это что-то совсѣмъ иное. Все познается черезъ противоположности и, можно сказать, не побывавъ въ отрицаніи жизни — не вкусилъ бы такъ остро самой жизни. Запахъ дегтя отъ колесъ волновалъ меня теперь не

менѣе „благоувѣтливаго“ вида монахинь. И ямщикъ, какъ повернулъ домой, развеселился же:

— Эй вы, зелененькіе! — неожиданно удивилъ онъ меня страннымъ обращеніемъ къ парѣ гнѣдыхъ. И сколько было ласки въ грубомъ, веселомъ окрикѣ. „Своя лошадь! Своя собственность!“ — вотъ первое и упорное, а, наконецъ, и вѣковѣчное отрицаніе монастыря. Гдѣ пробуждается собственность, личная, своя, особенная, поименная,— нѣтъ монастыря, да, пожалуй, тамъ нѣтъ и христіанства. Недаромъ древніе, первые, одушевленные христіане „имѣли все общее“, какъ записано въ исторіи. „Своя жена! свои дѣти! свой домъ!“ все это отрицаніе и вѣковѣчное отрицаніе христіанства, которое и учитъ о себѣ, что окончательное торжество его тогда настанетъ, когда „лицо міра прейдетъ“. Спорящіе противъ монастыря никакъ не хотятъ понять, что они въ то же время спорятъ и противъ христіанства, объективные — прямо противъ Христа. Тогда такъ прямо и надо это говорить, ибо никакая побѣда не можетъ быть выиграна съ фальшивыми картами. Нужно прямо говорить, что „моя лошадь! моя жена! мои дѣти!“— стоитъ внѣ орбиты христіанства *); что это—древнее язычество, которому еще остается вѣренъ человѣкъ, и не можетъ, да частью и не хочетъ, остаться ему невѣрнымъ. И трудно постигнуть, кто выживетъ и одолѣетъ, — въ судьбахъ исторіи и міра, — ликъ ли Христовъ съ Его испепеляющею красотою, покоряющею всякое сердце, покорившею языческій міръ, или столпъ земли съ его тяготами, съ механикой и геометріей, теоремы которой никакъ тоже не „испепеляются“. Я былъ пораженъ великой

*) „Безуміе ига“ по Рескиновской терминологіи, религіи античнаго пролетаріата—по нашей терминологіи.

эстетикой монастыря, а выѣхавъ изъ него, все-таки сказалъ про лѣса, поля, ямщика и его хату: „здѣсь лучше, съ этими... веселѣе“. И „веселѣе“ — не дурнымъ весельемъ, а просто въ смыслѣ: „легче стало“. Экстазъ всякій тяжелъ, между прочимъ, и монастырскій. Если эстетика приковываетъ вниманіе, то непремѣнно должно быть и даже вожделѣнно что-то „послѣ эстетики“, т. е. гдѣ нѣтъ эстетики, ибо вѣчное напряженіе невозможно, и хочется отдыха, свободы. Здѣсь—права земли, права безобразнаго или вообще некрасиваго. Эстетически можно умереть; а прожить — никакъ нельзя эстетически, и здѣсь — права жизни, реализма. Въ послѣднемъ анализѣ, эстетическія нити именно бѣлыя, холодныя. А теплота міра и содержится въ этихъ грубыхъ: „Моя зелененькая лошадь!“, „Мои черноглазенькія дѣти“, и все поименно, индивидуально, конкретно. Тутъ—столпъ міра, „пупъ земли“, также мало преходящій и „испепеливающійся“, какъ и теоремы геометріи“.

Неправда ли интересно и очень откровенно? Почти дерзко. И къ чести Розанова даже Іудушкинаго духа тутъ мало. Шепталъ, шепталъ, бормоталъ, дурачился, другихъ дурачилъ, и вдругъ выпалилъ. И не поняли. Г. Волжскій ничего не понялъ. Онъ только нашелъ тутъ „противорѣчіе“: „здѣсь Розановъ выдвигаетъ противъ христіанства личность, личное начало, а между тѣмъ его собственное миросозерцаніе и т. д.“ Очень глубокомысленно. Но „здѣсь Розановъ“ выдвигаетъ прежде всего семью и собственность противъ христіанства, коммунистическаго, первоначальнаго антично-пролетарскаго; онъ выдвигаетъ жизнерадостность сытаго человѣка, обладателя „зеленыхъ лошадокъ“, противъ скорби алчущаго и жаждущаго, оплеваннаго, обиженнаго, у котораго одно утѣшеніе развѣ „зеленый змій“, кромѣ надежды на совершенно новую жизнь, на полное обновленіе ея, когда Богъ, наконецъ, выглянетъ изъ-за тучъ и заставитъ все пойти „по божьему, по справедливости“. Этого не

понялъ въ Розановѣ г. Волжскій, а по сему ничего не понялъ.

Розановъ, впрочемъ, не остановился на протестантской жизнерадостно-добропорядочной „передѣлочкѣ Христова ученьица“. Розановъ захотѣлъ оправдать не только мѣщански-добродѣтельное, семейственно-собственническое начало, но и мѣщански-порочное. Мѣщанинъ хочетъ пошалить. Въ немъ силушка по жилушкамъ ходитъ. Особенно послѣ обѣда. Послѣ хорошаго обѣда съ нѣкоторой выпивкой мѣщанинъ положительно не мирится даже на идеальной книгѣ всѣхъ мѣщанскихъ реформъ и движеній на Библіи, на Ветхомъ Завѣтѣ. Нѣтъ! послѣ обѣда онъ положительно язычникъ! Ваалъ и Астарта, чортъ возьми! мистеріи Востока! О, эти восточные человѣки, они умѣли пожить! И начинается у Розанова „соленое, дразнящее и приторно сладкое“, по терминологіи Волжскаго, или „инфернальное“, какъ онъ выражается въ другомъ мѣстѣ.

Розановъ разбалтываетъ „les dessous“ мѣщанства, при томъ всегда, что особенно пикантно, на языкѣ іератическомъ, полуцерковномъ. Онъ не только жизнерадостный семьянинъ, онъ шалунъ, озорникъ и не хочетъ, чтобы христіанство его стѣсняло. А Волжскій—въ трепетѣ, Волжскаго въ потъ бросаетъ, ему даже кажется, что церковь должна бы „обратить вниманіе“ на небывало страшнаго врага Христова. Пустое (сейчасъ же „теоретически и практически лукавый писатель“ напишетъ вамъ и статью о необходимости истреблять атеистовъ и еретиковъ. Потому что... „пуръ ле жансъ“). Недавно одинъ государственный дѣятель заявлялъ, что у мужика нельзя отнимать вѣру, ибо у него земли слишкомъ мало. Да, если землицы дать ему, то Розановъ можетъ стать опаснымъ. Право. Но если ни неба, ни земли, тогда опаснымъ можетъ стать уже самъ мужичекъ.

Ужасъ г. Волжскаго достигаетъ своего апогея, во-пер-

выхъ, вслѣдствіе того, что Розановъ рѣшился помянуть „инфернальное“, т. е. попросту половой развратъ, помянуть также и то, что между бракомъ и развратомъ нѣтъ существенной разницы и попытался сбивчиво и премудро философически оправдать нѣкоторые виды весьма низменнаго разврата. Во-вторыхъ, ужасно г. Волжскому то, что если бы Розановъ рѣшительно уперся на положеніи „все позволено“, то „былъ бы непобѣдимъ“. „Можно ужаснувшись отойти ко Христу, но нельзя оспорить“. Ужасъ, однако, нѣсколько охладѣваетъ при видѣ того, какъ не рѣшается самъ Розановъ долго оставаться на „инфернальной“ позиціи.

Всякому ясно, что въ „полѣ“ имѣются двѣ стороны: во-первыхъ, „полъ“ служитъ къ воспроизведенію жизни въ новыхъ индивидуальностяхъ, во-вторыхъ, „полъ“ является источникомъ наслажденія. Въ процессѣ подбора наслажденіе тѣсно слилось съ половымъ общеніемъ именно потому, что лишь виды, непремѣнно и иногда даже самоотверженно стремящіеся къ половому общенію, могутъ достаточно размножаться. У человѣка первоначальное единство распалось: онъ ищетъ наслажденія независимо отъ дѣторожденія, которое является для него часто помѣхой, чѣмъ-то ненужнымъ, и, наоборотъ, браки часто заключаются ради дѣтей, при чемъ наслажденіе играетъ роль, совершенно подчиненную. Можно спокойнѣйшимъ образомъ занять ту позицію, которую занялъ, напр., Шопенгауеръ, и которую занимаютъ также всѣ „трезвые“ христіане: б р а к ъ д л я д ѣ т е й — вещь святая, половыя наслажденія, неоправдываемыя этой цѣлью—развратъ и грѣхъ. Тутъ граница совершенно ясная и опредѣленная. Г. Волжскій затемняетъ вопросъ, восклицая:

„Только въ христіанствѣ, во Христѣ пришедшемъ, распятомъ и воскресшемъ, грядущемъ судить живыхъ и мертвыхъ, съ страшною силой и огненной раздѣльностью ощущается это противорѣчіе, здѣсь раскрывается Божественное,

а дьявольское сознается, какъ антихристіанство, сознается и предопобѣждается въ обѣтованіяхъ, въ чаяніяхъ, въ данныхъ христіанской эсхатологіи".

Это безусловно невѣрно: существуетъ множество моральныхъ школъ, совершенно ясно разграничивающихъ с в о е добро отъ с в о е г о зла. Несомнѣнно, что, признавъ бракъ и семью вещью священной и найдя, такимъ образомъ, „Бога на днѣ брачнаго завитка", человѣкъ вовсе не подвергается еще опасности неминуемо провалиться въ „инфернальное". Г. Волжскій пишетъ: „На пути Розановскаго устремленія, въ его попыткахъ теитизировать полъ, въ ужасѣ разверзаются зіяющія своей безпросвѣтной темной глубью бездны, раскрываются страшныя, бездонныя пропасти, изъ которыхъ несется страшно-щекочущій сатанинскій хохотъ, бѣгутъ странно дрожащія черныя тѣни, загораются зловѣщіе, дразнящіе красные огни демонизма. Въ глубинѣ глубинъ пантеистической мистики Розанова страшно темная точка ея, черное жерло жизни, въ ея провалахъ и углубленіяхъ къ потусвѣтному, ноуменальному, вдругъ загорается огненно-краснымъ дьявольскимъ свѣтомъ".

Всѣ эти ужасы совершаются по доброй волѣ самого Розанова. Но г. Волжскому очень хочется, чтобы отъ признанія брака былъ только одинъ шагъ до признанія разврата, а чтобы спастись было возможно, лишь уцѣпившись за веревку, брошенную съ неба, за откровеніе.

Въ сущности нарочитое выдѣленіе „пола" изъ остальныхъ жизненныхъ функцій человѣка страшно сужаетъ всѣ вопросы. Не только при помощи дѣторожденія человѣкъ убѣгаетъ смерти,—всякое творчество побѣждаетъ могилу, „часть моя большая" не непремѣнно живетъ въ м о е м ъ именно ребенкѣ, и лучше, когда она живетъ, какъ идея или настроеніе, въ цѣлыхъ поколѣніяхъ. Съ другой стороны, половыя наслажденія далеко не единственныя. Расширимъ же проблему оправданія жизни и проблему грѣха,

неуклюже и однобоко поставленную „антихристомъ“ Розановымъ: „въ пепельно-сѣрое безсмертіе“, т.-е. личное безсмертіе за гробомъ, мы условимся вмѣстѣ съ Розановымъ не вѣрить. Возможность же пережить себя въ дѣтяхъ и въ плодахъ трудовъ своихъ, возможность любовно передать „часть себя большую“ дорогимъ, страстно-любимымъ людямъ, будущему человѣческому—несомнѣнно имѣется. Христіанство осуждаетъ культурное строительство, ибо „прейдетъ и испепелится“ вселенная, и нездѣшнія силы сразу, единымъ взмахомъ, создадутъ новую землю и новыя небеса. Вольно всякому „на Бога надѣяться“, но „самому“ во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ „плошать“, а стремиться къ художественной отдѣлкѣ, къ обновленію нашей старой земли и нашего даровитаго рода человѣческаго. Все, что направлено на поднятіе и обогащеніе жизни людей, все, что увеличиваетъ ихъ мощь и гармонизируетъ ихъ личное и общественное бытіе,—безусловно свято. И, конечно, подобное творчество, подобное широкое воспроизведеніе жизни связано также съ высокимъ и жгучимъ наслажденіемъ. И тутъ такъ же, какъ и въ области пола, тѣ народы выживаютъ въ соціальной борьбѣ, у которыхъ естественнѣе и непосредственнѣе связь творческаго восторга съ общественно благотворнымъ трудомъ.

Но существуютъ, конечно, безконечно разнообразныя и богатыя наслажденія, не связанныя прямо съ творчествомъ. И они святы. Вѣдь само творчество имѣетъ своею конечною цѣлью роскошное обогащеніе жизни. Свято сажать дерево жизни и познанія, но отнюдь не грѣшно срывать сладкіе плоды съ тѣхъ древъ, которыя ихъ уже приносятъ. Существуютъ, однако, и такія наслажденія, которыя разрушительны, которыя въ результатѣ своемъ лишаютъ родъ людской опредѣленныхъ цѣнностей, растущихъ цѣнностей. Все, будь то хоть и наслажденіе, что ведетъ къ уменьшенію и оскудѣнію жизни,—грѣхъ.

Не нужно никакого новаго откровенія, чтобы установить эти широкія рамки святости и чистоты, отнюдь не страшась демонскаго пламени.

Общества, народы, полные силъ и съ будущимъ впереди, съ могучимъ стремленіемъ къ росту своей общины, всегда имѣли выходъ въ океанъ исторіи изъ личныхъ скорбей, страховъ смерти и т. п. Напротивъ, когда общества падали и разлагались, неизмѣнно выдвигались два лозунга: „вся жизнь хороша, наслаждайся! наслаждаясь, ты чтишь мать-природу, создавшую тебя и наслажденіе“; и другой: „вся жизнь проклята, бѣги ея, Богъ и спасеніе не внутри природы, а внѣ ея“. Вырожденіе было неминуемымъ отвѣтомъ природы на то и на другое,—такъ подтверждала она правильность культурнаго критерія.

Правда, не только народы-творцы избѣгали участи Содома, или разложенія путемъ самоистязующагося аскетизма,— есть еще выходъ: умѣренное и аккуратное мѣщанство! Его-то и проповѣдуетъ Розановъ. Но мѣщанину, т.-е. консервативному маленькому человѣку, человѣку, который доволенъ, который хочетъ, чтобы всегда такъ было, на дѣлѣ ужасно скучно. Скучно мѣщанину, который не строитъ, не стремится, который „довлѣетъ себѣ“, и онъ ищетъ маленькихъ развлеченій. Его развратъ не достигаетъ пагубныхъ размѣровъ восточнаго культа чувственности, но это маленькій развратъ, очень гнусный иногда, и который Розановъ старается тоже оправдать неудобо-вразумительнымъ резонерствомъ, очень въ концѣ концовъ комическимъ и жалкимъ. Въ результатѣ получается миросозерцаніе, лишенное всякаго трагизма, совершенство прѣсной плоскости которое г. Волжскій характеризуетъ такъ:

„Все благостно, благодатно, свято или, просто, невинно, внѣ грѣха, грѣхъ въ однихъ случаяхъ прямо отрицается, исключается имъ (Розановымъ), какъ фикція поверхностнаго, неуглубленнаго сознанія, просто, какъ нѣкоторый nonsens,—

что по крайней мѣрѣ послѣдовательно, въ другихъ—хотя и признается, но не имѣетъ достаточнаго основанія, не получаетъ никакого удовлетворительнаго объясненія въ его религіозно-философской концепціи, кажется чѣмъ-то случайнымъ, внѣмірнымъ, не реальнымъ, не умѣщается въ обоготворенной въ существѣ своемъ, гармонической въ глубинахъ своихъ жизни, животной жизни, безгрѣшной плоти"...

Да, это чистое мѣщанство. Жизнь кипитъ страданіемъ, люди на каждомъ шагу насилуютъ другъ друга, ради личнаго мимолетнаго наслажденія втаптываютъ въ грязь сердца и души, которыя могли бы быть источниками радости для себя и другихъ, а Розанову кажется, что грѣха нѣтъ. Мѣщанинъ доволенъ, онъ хочетъ, чтобы всегда такъ было.

И что возражаетъ „христіанинъ" Волжскій?

„Невинность утрачена, святость не пріобрѣтена,—она ищется въ приближеніяхъ, въ безконечныхъ приближеніяхъ, и человѣкъ въ трагической дисгармоніи страстно трепещетъ въ мукахъ религіозной агоніи на сгибѣ этого мірового излома, среди бурнаго огненнаго водораздѣла утраченной невинности и чаемой святости".

Очень напыщенно и цвѣтисто это. Въ какомъ смыслѣ утрачена, однако, нами невинность? Въ какомъ смыслѣ чаемъ святости? Что такое святость? Невинный можетъ поступать дурно, говоря объективно, т.-е. причинять вредъ себѣ или другимъ, но не вѣдать этого; если онъ узнаетъ добро и зло, то, поступая по прежнему, уже почувствуетъ себя грѣшнымъ, а поступая такъ, какъ повелѣваетъ *его* заповѣдь добра, будетъ чувствовать себя святымъ. Но вѣдь дѣло-то именно въ томъ, *какъ* представляютъ себѣ законъ? Грѣхъ ли ѣсть мясо въ среду? Свято ли ѣсть въ среду рыбу? А между тѣмъ страдаютъ! Раціональное очищеніе человѣческаго грѣхосознанія прежде всего, а тогда возможна уже и борьба противъ реальнаго грѣха, противъ дѣйствительно „инфернальнаго", т.-е. противъ положенія, „пусть міръ по-

гибаетъ, а мнѣ чтобы всегда чай пить", противъ мѣщанскаго индивидуализма и эгоизма. Личность должна быть совершенно освобождена отъ морали, отъ всего ирраціональнаго грѣхосознанія, а затѣмъ она должна быть освобождена также и отъ другого наслѣдія прошлаго,—отъ тѣхъ перегородокъ, которыя держатъ каждую личность въ клѣточкѣ одиночнаго заключенія, гдѣ она видитъ только „Ich und sein Eigenthum". Но грѣхъ есть. Есть реальнѣйшій грѣхъ въ мірѣ: отсутствіе единства и свѣтлаго общенія людей между собою и грѣхопаденіе—это частная собственность. Борьба съ узкимъ индивидуализмомъ, борьба съ грѣхомъ—это борьба съ частной собственностью. Поэтому я могу сказать: идея четвертаго сословія—освобожденіе человѣчества отъ грѣха. А. Розановъ какъ разъ собственность-то и противополагаетъ христіанству и ликуя восклицаетъ: „нѣсть грѣхъ!" Мы въ данномъ случаѣ скорѣе съ христіанствомъ недоразвитаго, чисто потребительнаго пролетаріата древности и хирѣющаго отчаяннаго мужичка и противъ „пантеизма" и „жизнерадостности" разъѣзжающаго на „собственныхъ зелененькихъ" антихриста. Но странны и чужды намъ такія рѣчи:

„Нѣтъ святости здѣсь, но есть уже въ мучительно-страстныхъ исканіяхъ, какъ смутное ощущеніе, жажда освященія, забрезжившій разсвѣтъ, приближеніе къ нему, слабое мерцаніе отдаленной зари, божественнаго восхода воистинну святого состоянія. Синтезъ—открывается во Христѣ, въ истинномъ пониманіи и претвореніи въ себя брака, какъ Христова таинства, не въ исторически засоренномъ консисторіями и каноническимъ правомъ видѣ, а въ преображенномъ, просвѣтленномъ свѣтомъ грядущаго религіознаго сознанія, быть можетъ, свѣтомъ новыхъ откровеній".

Ждите новаго откровенія, гг. идеалисты, если стараго вамъ недостаточно! Мы же стоимъ на твердомъ пути.

Больше возиться пришлось Розанову со смертью. Насчетъ грѣха можно сказать, что его нѣтъ, тѣмъ болѣе, что ежели можно написать статьи о законности истребленія „аѳеистовъ“, то можно доказать и законность кары для воровъ и убійцъ, несмотря на отрицаніе грѣха, но какъ отвергнуть смерть. Она все равно тутъ, и сама тебя вычеркиваетъ и отвергаетъ отъ міра. Въ „пепельно-сѣрое“ безсмертіе Розановъ не вѣритъ. Это мечты страдальцевъ, а Розановъ любитъ „вотъ эту“ конкретную жизнь, любитъ кататься на „зелененькихъ“. Но есть для мѣщанина „розовое безсмертіе“, есть еще „вотъ эти конкретныя, м о и черноглазенькія дѣти“, къ которымъ по наслѣдству перейдутъ и конкретные зелененькіе м о и жеребята. „Христіанская вѣчность превращается въ естественную безконечность“. Земля свѣтла, свѣтла потому, что въ концѣ концовъ себѣ довлѣетъ“. Какая скучная, мелкобуржуазная мудрость: они будутъ жить, какъ отцы и дѣды живали, и все тутъ!

Конечно, г. Волжскій боится, потому что мѣщанское самодовольство грозитъ прихлопнуть его напыщенный „трагизмъ“, но не можетъ не одобрить, такъ какъ историзмъ ему чуждъ, тотъ историзмъ, который въ своеобразной формѣ— присущъ все же христіанскому хиліазму.

„Розановъ не чувствуетъ вообще этой мучительной обостренности запросовъ гибнущей индивидуальности, этого индивидуальнаго трагизма, личное въ его концепціи притупляется въ болѣзненно-чувствительномъ остріѣ своемъ, оно обезличивается, растворяясь въ глубинахъ жизни, сливаясь съ ея цѣлымъ, всеобщимъ, безпредѣльно-огромнымъ, безконечно-живымъ, бездоннымъ; личное растворяется въ индивидуальныхъ заостреніяхъ своихъ, расплывается и тонетъ въ волнахъ естественнаго, вѣчно-живого, животно-плотскаго“, говоритъ г. Волжскій. И это н е х о р о ш о, потому что г. Волжскій именно за трагизмъ отгорожен-

ной отъ великаго рода личности и держится, но есть и хорошее въ Розановскомъ безсмертіи, по мнѣнію г. Волжскаго.

„Взглядъ его, Розанова, прикованъ къ неизсякаемымъ тайникамъ жизненной глуби, гдѣ она въ своей глубочайшей, неизсякаемой мистической сущности вѣчно жива, вѣчно равна себѣ, (вотъ оно! А. Л.) и онъ чувствуетъ, осязаетъ эту мистическую неизсякаемость, эту „здѣшнюю вѣчную“ жизнь, чувствуетъ такъ сильно, такъ реально, какъ и ближайшую дѣйствительность, черты конкретнаго человѣческаго лица. Его пантеистическая любовь къ жизни, такимъ образомъ, не абстракція, безкровная, безплотная, внѣконкретная, какъ у многихъ пантеистовъ, она во плоти и крови, живая, животная, сочная и красочная, но она все же въ строгомъ смыслѣ внѣ личности человѣка и Бога, внѣ абсолютной индивидуальности“.

И еще:

„Цѣнна жизни вообще (но не въ абстракціи все же), живой, настоящій этотъ человѣкъ, но не самъ по себѣ, какъ индивидуальный, а какъ настоящій, дышащій, живой жизнью, какъ настоящее отраженіе вѣчно бьющагося нульса міровой жизни, какъ необходимое звено, горящее кольцо въ общемъ пламени самосвѣтящихся глубинъ... Человѣкъ цѣненъ не какъ безсмертное индивидуальное „я“, а какъ зерно въ безконечной цѣпи безсмертія жизни, какъ моментъ земляного цвѣтенія“...

Понимаете, читатель? Конкретная жизнь—это жизнь равная себѣ; Волжскій старается выразить очень простую вещь: Розановъ оправдываетъ всякую жизнь, всякаго человѣка, потому что всякій можетъ рожать дѣтей! Животное вообще цѣнно—это значитъ любить человѣка конкретно, а не абстрактно. Всѣ мы люди, всѣ человѣки, всѣ рожать можемъ, всѣ звенья цѣпи, вѣчно равной себѣ, всѣ моментъ „земляного цвѣтенія“.

И эдакое „земляное цвѣтеніе“ осмѣливается заявить, что оно человѣкобогъ! Не свинобогъ ли?

О! я начинаю понимать любовь Розанова къ „богу-животному“! Да здравствуетъ религія вѣчнаго, вѣчно себѣ равнаго, розоваго, многоплоднаго свинобога! „Свинобогъ Розанова“, пишетъ г. Волжкій,—то бишь, Человѣкобогъ Розанова чуждъ байроновскаго гордаго вызова, дерзновенной гордыни ницшеанскаго сверхчеловѣка, онъ смирнѣе, но поглубже, загадочнѣе, и, прячась въ тѣни христіанства, страшнѣе грозитъ оттуда“...

Г. Волжскій сравниваетъ Розанова съ Ницше и находитъ, что:

„Линіи религіозно-философскихъ узоровъ рисунка Ницше смѣлѣе и рѣшительнѣе, они ярче, опредѣленнѣе, выпуклѣе, но, въ концѣ концовъ, В. В. Розановъ идетъ дальше, его узоры сложнѣе, тоньше, извилистѣе, и тамъ, гдѣ они едва видны, они особенно значительны и угрожающе-страшны“.

Я не буду останавливаться на невѣрной характеристикѣ, даже полномъ непониманіи Ницше, которое явствуетъ изъ послѣдней главы длинной статьи г. Волжскаго, и на его параллеляхъ съ Розановымъ, но ясно одно: принципъ Ницше: „Excelsior“;—принципъ Розанова: „жизнь довлѣетъ себѣ, она свята, пусть все остается такъ, какъ есть“. Ницше признаетъ грѣхъ и трагизмъ бытія, но ждетъ отъ человѣчества побѣды надъ нимъ. Волжскій также признаетъ ихъ, хотя некритически, но побѣды ждетъ отъ помощи Вышняго. Розановъ ихъ не признаетъ. Волжскій страдаетъ и жаждетъ новаго откровенія. Розановъ не страдаетъ и ничего не жаждетъ. Ницше страдалъ и, въ ужасѣ оглядываясь, не видѣлъ той общественной силы, которая спасла бы общество отъ разложенія, на небѣ же искать такой силы не могъ и не хотѣлъ. Марксисты страдаютъ, но видятъ на

землѣ такую силу и борятся рядомъ съ нею, въ борьбѣ находя утѣшеніе и увѣренные въ побѣдѣ. Розановъ любитъ всякаго человѣка, просто, какъ кусокъ живого мяса. Волжскій любитъ всякаго, какъ „вѣчную личность“. Ницше далеко не всякаго любилъ, многихъ ненавидѣлъ и презиралъ: въ человѣкѣ онъ любилъ полетъ, порывъ, любилъ его, какъ мостъ, ведущій въ эдемъ будущаго, какъ стрѣлу, направленную на другой берегъ, онъ любилъ въ немъ еще незаконченнаго бога, который самъ очищаетъ себя, онъ любилъ его просвѣтленнымъ, *какимъ онъ будетъ*. Если бы жизнь была вѣчно равна себѣ, вѣчно такова, какъ теперь, о! какой это былъ бы ужасъ! Но это ложь: мы движемъ ее вверхъ и впередъ. Спасеніе отъ смерти—перенесеніе центра тяжести съ себя, съ своего физическаго „я“, на великое „мы“ творческаго, борющагося, прогрессивнаго человѣчества. Кто не можетъ этого, тотъ будетъ бормотать о томъ, что человѣчество это *абстракція*, и либо провозгласитъ „религію свинобога“, либо пригорюнившись будетъ ждать откровенія, ждать твердя: „не знаю, какъ это будетъ, но будетъ хорошо, только подождите“. Человѣчество—абстракція! Свѣтъ—абстракція и даже просто ничто, пустое слово для слѣпорожденнаго. Очевидно, какъ не всѣмъ доступно „кровное касаніе мірамъ инымъ“, такъ многимъ недоступно *историческое чувство*, чувство связи своей съ жизнью рода, съ прогрессомъ его. И кому оно недоступно тому надо либо признать совершенствомъ этотъ міръ, какъ дѣлаетъ это Розановъ, или цѣпляться за „міры иные“. Что лучше?—право не знаю. Бѣдные люди!

А все-таки характерно, что „свинобожество“ въ одѣяніяхъ церковныхъ и мантіяхъ восточныхъ вызвало въ г. Волжскомъ чувство восторга, смѣшаннаго съ ужасомъ, а человѣкобожество, прекрасное въ своей сіяющей наготѣ, показалось ему несноснымъ. „На поверхности современнаго ра-

ціоналистически трезваго, легкомысленнаго, обидно яснаго позитивизма плаваютъ холодныя, бѣлыя и желтыя лиліи знанія и эмпиріи",—говоритъ г. Волжскій.

Вотъ и все, что разсмотрѣлъ подслѣповатый г. Волжскій; пламя, въ которомъ куется будущее, показалось ему бѣлыми и желтыми лиліями. А „свинобогъ" Розанова, разукрашенный восточными уборами, показался страшнѣе и поглубже Байроновскаго, хотя и безъ порывовъ. Смѣху достойно! Впрочемъ, „свинобогъ"-то явился, „прячась въ тѣни христіанства". Неясно, неясно видитъ г. Волжскій и все время пребываетъ поэтому „въ мірѣ неяснаго, гдѣ хаосъ клубится", и не хочетъ пить изъ „источниковъ мелководья", а между тѣмъ, испивъ той водицы, кое-что изъ неяснаго хаоса можно было бы уже и понять.

О чести.

Офицеры, герои очень хорошей повѣсти г. Куприна „Поединокъ“, напечатанной въ IV томѣ сборника „Знаніе“, ведутъ между собою „любимый разговоръ“, разговоръ о чести. Я думаю, что разговоръ этотъ всегда вообще, а особенно теперь очень важенъ и интересенъ, такъ какъ въ сущности „честь“ есть наиболѣе могучій двигатель, какъ индивидуумовъ, такъ и массъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда проступки и стремленія далеко выходятъ за узколичный кругъ. Психологія великихъ движеній самымъ тѣснымъ образомъ сплетена съ психологіей чести.

Подобное утвержденіе въ устахъ марксиста, да еще причисляющаго себя къ ортодоксальнымъ, можетъ показаться инымъ читателямъ необыкновенно страннымъ: „Какъ! теперь уже у васъ главнымъ двигателемъ оказывается „честь“, а не интересъ? не классовой эгоизмъ?“ Въ томъ и дѣло, что въ свѣжихъ и здоровыхъ классахъ личный интересъ оказывается совпадающимъ съ классовымъ и даже съ общечеловѣческимъ, и это объединеніе личности съ классомъ, во-первыхъ, съ человѣчествомъ, во-вторыхъ—отражается въ сознаніи личности, именно, какъ высокая и яркая форма чести.

Но не будемъ забѣгать впередъ и вернемся къ гг. офицерамъ. Одинъ изъ нихъ задаетъ у г. Куприна слѣдующій

коренной и тревожный вопросъ, весьма характерный для людей примитивной чести:

„Вотъ идешь ты гдѣ-либо на гуляньи, или въ театрѣ, или, положимъ, тебя въ ресторанѣ оскорбилъ какой-нибудь шпакъ... возьмемъ крайность — даетъ тебѣ какой-нибудь штатскій пощечину. Ты что же будешь дѣлать?“

Тутъ главная опасность „остаться съ битой мордой“. Остаться съ битой мордой, не отомстивъ страшно — значитъ допустить у всѣхъ окружающихъ мысль, что тебя вообще можно бить по мордѣ, допустить огромное пониженіе оцѣнки твоей личности, а, стало-быть, и ея соціальнаго вѣса. Однако, мало того, что ты будешь считаться слабымъ, безпомощнымъ, зависящимъ отъ каприза каждаго, кому вздумалось бы надъ тобою надругаться,—ты еще падаешь, мучительно падаешь и въ собственныхъ глазахъ. У всякаго человѣка есть извѣстная самооцѣнка, въ большинствѣ случаевъ удовлетворительная: вы можете не быть самодовольнымъ, но все же находить, что „жить можно“, что играть ту роль въ жизни, какая выпала на вашу долю, по малой мѣрѣ, сносно,—и вдругъ „бацъ!“ и ударъ „въ морду“ разбиваетъ вмѣстѣ съ тѣмъ ваше внутреннее равновѣсіе: вы должны примириться съ новой самооцѣнкой, безконечно пониженной, вы должны примириться съ такимъ положеніемъ: „всякій можетъ ударить меня“. И если вы примиритесь— это служитъ новымъ источникомъ презрѣнія къ вамъ; презираютъ васъ не за слабость только, но за то, что въ васъ такъ страшно мало развито чувство своего достоинства, т. е. желанія держаться на опредѣленной высотѣ. Мало того, если вы не всегда принадлежите къ какой-нибудь почетной корпораціи и носите мундиръ, то къ одной корпораціи—человѣчеству — вы, во всякомъ случаѣ, принадлежите; одинъ мундиръ—лицо человѣческое — во всякомъ случаѣ, носите, и люди, высоко ставящіе честь этого мундира, гордо его носящіе, считаютъ, что вы уронили также человѣческое

достоинство вообще, что ваша полная готовность претерпѣть падаетъ также и на нихъ, такъ какъ насильникъ сдѣлаетъ, конечно, выводъ: „я билъ по мордѣ А, стало-быть, можно вообще бить людскія морды“.

Конечно, у васъ могутъ быть иныя, такъ называемыя возвышенно-христіанскія представленія о чести, и когда вамъ дали „въ морду“ слѣва, вы можете подставить правое ухо и при этомъ торжествовать свою побѣду надъ чувствомъ личнаго достоинства, надъ гордыней и упиваться своимъ смиреніемъ. Это будетъ значить, однако, не то, что у васъ нѣтъ чести, а что у васъ иная честь, согласно требованіямъ которой вы и поступили. Другой вопросъ, насколько раціональнѣе такая пассивная честь. Я не знаю, встрѣчается ли она гдѣ-нибудь въ своей чистой формѣ. Въ большинствѣ случаевъ, всепрощающій ждетъ себѣ за это награды, а месть, которую онъ отвергаетъ для себя, возлагаетъ на высшее міроправленіе. „Окажи благодѣяніе и врагу“, говоритъ апостолъ Павелъ, и этимъ ты собираешь уголья на главу его“.

Я, однако, не отрицаю того, что на почвѣ рабскаго чувства по отношенію къ Провидѣнію могло развиться чистое чувство почетности смиренія. Во всякомъ случаѣ, для любителей „давать въ морду“ и для классовъ „мордобойныхъ“ очень полезно такое настроеніе „замордованныхъ“. Тамъ, когда-то еще придетъ воздаяніе, а пока... въ зубы!

Весьма часто также видимъ мы и людей, которыхъ гг. офицеры называютъ „трусливыми либералишками“, которые также видятъ въ непосредственной реакціи оскорбленнаго личнаго достоинства простое самоуправство, ибо „государству принадлежитъ возмездіе, и оно воздастъ“, а потому самое лучшее позвать городового и составить протоколъ. И если бы „власть“ была божественно непогрѣшима, то, пожалуй, она быстро покончила бы съ примитивнымъ чувствомъ чести, покончивъ одновременно и съ посягатель-

ствами на чужую „морду“. Но человѣческая власть не непогрѣшима, и съ мѣрами, ими же мѣритъ, не всегда и не всякая честь можетъ согласиться.

Современное государство, напримѣръ, христіанское. Въ гимназіяхъ, я знаю, преподается, какъ главный устой морали—прощеніе врагу. Интересно, мѣняются ли предписанія религіи, когда ихъ преподаютъ въ кадетскихъ корпусахъ? Вѣдь, офицера, который „послѣдовалъ за Христомъ“, т. е. простилъ, увольняютъ изъ полка, какъ недостойнаго. Офицеръ — воинъ, рыцарь, защитникъ отечества—долженъ кровью мстить за оскорбленіе. Но, вѣдь, и солдатъ тоже воинъ, рыцарь, защитникъ отечества, между тѣмъ... вотъ что правдиво повѣствуетъ г. Купринъ:

„Часто издали, шаговъ за двѣсти, Ромашовъ наблюдалъ какъ какой-нибудь разсвирѣпѣвшій ротный принимался хлестать по лицамъ всѣхъ своихъ солдатъ поочередно, отъ лѣваго до праваго фланга. Сначала беззвучный взмахъ руки и—только спустя секунду — сухой трескъ удара, и опять, и опять, и опять... Въ этомъ было много жуткаго и омерзительнаго. Унтеръ-офицеры жестоко били своихъ подчиненныхъ за ничтожную ошибку въ словесности, за потерянную ногу при маршировкѣ,—били въ кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанныя перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило въ голову жаловаться“.

А ужъ тѣмъ болѣе протестовать! А, вѣдь, развитіе чувства чести, какъ полагаютъ, настолько необходимо для защитника отечества, что ради этого можно даже самымъ открытымъ образомъ, офиціально идти противъ религіи. Дисциплина! Но, вѣдь, генералъ не смѣетъ бить офицера? Отчего же „унтеръ“ лупитъ безнаказанно солдата? Кто не слыхалъ о такихъ случаяхъ:

„Арчаковскій такъ билъ своего денщика, что я насилу отнялъ его. Потомъ кровь оказалась не только на стѣнахъ, но и на потолкѣ. А чѣмъ это кончилось, хотите ли

знать? Тѣмъ, что денщикъ побѣжалъ жаловаться ротному командиру, а ротный командиръ послалъ его съ запиской къ фельдфебелю, а фельдфебель еще полчаса билъ его по синему, опухшему, кровавому лицу. Этотъ солдатъ дважды заявлялъ жалобу на инспекторскомъ смотру, но безъ всякаго результата".

Въ виду этого мы можемъ лишь пожелать, чтобы чувство чести, какъ можно скорѣе и шире, развилось въ арміи, тѣмъ болѣе, что мы не можемъ стоять на христіанской точкѣ зрѣнія.

Личность глубоко страдаетъ отъ пониженія ея оцѣнки другими и особенно отъ пониженія самооцѣнки. Потерявъ уваженіе къ себѣ, легко потерять всякій интересъ къ жизни; жизнь превращается въ сплошную муку, т.-е. въ нервно-мозговой системѣ воцаряется острая дисгармонія, сказывающаяся какъ вражда, отвращеніе къ самому себѣ. Напротивъ, отстаивая свою честь, свое достоинство, свою цѣнность, человѣкъ испытываетъ тѣмъ большее наслажденіе, чѣмъ труднѣе обстоятельства: принося въ жертву своему самоуваженію всѣ и всяческіе интересы и даже жизнь, личность растетъ въ своихъ глазахъ, чувства силы, самостоятельности, свободы испытываются въ неимовѣрно повышенной степени; „побѣдить или умереть!" — эти слова человѣкъ всегда произноситъ съ глубокою радостью, ибо соотвѣтствующая самооцѣнка чрезвычайно высока. Въ случаяхъ глубокаго оскорбленія личнаго достоинства передъ нами всегда диллема: отважная борьба, которая, хотя бы вела къ смерти, является тѣмъ не менѣе крайнимъ повышеніемъ жизни и ея гармонизаціей, или приниженное и мучительное существованіе. Человѣческій мозгъ состоитъ изъ ряда системъ, каждая изъ которыхъ хочетъ планомѣрной жизни и болитъ и разрушаетъ другія частныя системы, когда ея требованія оказываются грубо нарушенными. Жизнь всей личности при медленномъ и нестерпимо-болѣзненномъ уми-

раніи какой-либо важной частной системы, напримѣръ, соотвѣтствующей чувству личнаго достоинства, оказывается сплошь и рядомъ безконечно менѣе цѣнной, чѣмъ даже полная смерть, особенно если ей предшествуетъ сладостное чувство побѣды, соотвѣтствующее возстановленію могучей жизненности покачнувшейся важной частной системы. Мнѣ кажется, что таковы реальныя и физіологическія основы *) положенія: „лучше смерть, чѣмъ безчестіе“!

Впрочемъ, если вѣрить г. Куприну, то чувство чести нѣкоторыхъ и, вѣроятно, очень типичныхъ гг. офицеровъ не идетъ такъ далеко и дѣйствуетъ съ оглядочкой, такъ-что, бы и волки были сыты и овцы цѣлы, или вѣрнѣе чтобы отомстить и цѣлу быть. Этому способствуетъ уже вооруженность офицера среди безоружнаго „непріятеля“—шпаковъ. Послѣ приведеннаго нами „любимаго вопроса“ слѣдуетъ такой разговоръ: „Ну... что же я сдѣлаю? Бацну въ него изъ револьвера.

— А если револьверъ дома остался?—спросилъ Лбовъ...

— Ну, чортъ... ну, съѣзжу за нимъ... Вотъ глупости. Былъ же случай, что оскорбили одного корнета въ кафешантанѣ. И онъ съѣздилъ домой на извозчикѣ, привезъ револьверъ и ухлопалъ двухъ какихъ-то рябчиковъ. И все!..

Бекъ-Агамаловъ съ досадой покачалъ головой.

— Знаю. Слышалъ. Однако, судъ призналъ, что онъ дѣйствовалъ съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ, и приговорилъ его. Что же тутъ хорошаго? Нѣтъ, ужъ я, если бы меня кто оскорбилъ, или ударилъ...

Онъ не договорилъ, но такъ крѣпко сжалъ въ кулакъ свою маленькую руку, державшую поводья, что она задрожала“.

Да, у гг. офицеровъ есть удобные способы безвредно для

---

*) Ср. Авенаріусъ. Критика чистаго опыта. Изложеніе А. Луначарскаго, стр. 41, 42 и 43.

себя удовлетворять требованія чести. Есть и остроумные способы: „Въ М-скомъ полку былъ случай. Подпрапорщикъ Краузе въ благородномъ собраніи сдѣлалъ скандалъ. Тогда буфетчикъ схватилъ его за погонъ и почти оторвалъ. Тогда Краузе вынулъ револьверъ—р-разъ ему въ голову! На мѣстѣ! Тутъ ему еще какой-то адвокатишко подвернулся, онъ и его—б-бахъ! Ну, понятно, всѣ разбѣжались. А тогда Краузе спокойно пошелъ себѣ въ лагерь, на переднюю линейку, къ знамени. Часовой окрикиваетъ: „Кто идетъ?"—Подпрапорщикъ Краузе, умереть подъ знаменемъ! Легъ и прострѣлилъ себѣ руку. Потомъ судъ его оправдалъ".

У „шпаковъ" нѣтъ ни такихъ легкихъ, ни такихъ остроумныхъ способовъ. А между тѣмъ вѣдь это же, конечно, вздоръ, будто „шпаки" только и думаютъ о томъ, какъ бы оскорбить офицера—опасность въ этомъ смыслѣ для офицерской чести минимальна, между тѣмъ какъ для нѣкоторыхъ категорій шпаковъ... Вотъ, напр., что разсказываетъ у Горькаго Букоемовъ: „Сидѣлъ я въ тюрьмѣ Екатеринославской... былъ въ ту пору рабочій бунтъ... и привели на дворъ одного рабочаго,—арестовали, значитъ... Смотрю я въ окно и вижу: околоточный офицеру—солдаты на дворѣ были и офицеръ съ ними—предлагаетъ: хотите, говоритъ, г. поручикъ, я этому рабочему перепонку въ ухѣ разорву съ одного удара, и на всю жизнь онъ оглохнетъ? А, ну-ка, говоритъ офицеръ-то. Околоточный—р-разъ! И—вѣрно, разорвалъ перепонку... я потомъ узналъ—оглохъ парень-то"...

Вообразите, что у „парня" высоко развитое чувство чести! Г. офицеръ не считаетъ возможнымъ вызвать на дуэль оскорбителя шпака:

„Вы потребуете удовлетворенія, а онъ скажетъ: „Нѣтъ э-э-э... я, знаете ли, вэ-эбще э-э... не признаю дуэли. Я противникъ кровопролитія... И кромѣ того, э-э... у насъ есть мировой судья..." Вотъ, и ходите тогда всю жизнь съ битой мордой.

Дѣйствительно, непріятно. Но воображаю, какъ удивился бы г. околоточный надзиратель, если бъ рабочій вызвалъ его на дуэль: „Дуэ-эль! да я тебя, сукинъ сынъ, родителей твоихъ такъ и такъ, въ бифштексъ прикажу измолотить!“

Такъ удобно, какъ офицеру, рабочему не извернуться,— но если для него оставаться съ битой мордой хуже смерти, если онъ страстно бережетъ честь блузы?

Тогда какъ?!

Герой г. Куприна Назанскій, повидимому, выражающій воззрѣнія самого автора, развиваетъ цѣлую любопытную философію по поводу предстоящей его другу дуэли. Рѣчи Назанскаго на нашъ взглядъ положительно заслуживаютъ внимательнаго разбора, тѣмъ болѣе, что говоритъ Назанскій горячо и красиво, и что ереси, довольно непріятныя ереси его, скрываются за взглядами очень напоминающими тѣ, которые развивалъ я и нѣкоторые изъ товарищей по идеямъ.

Прежде говорили: страхъ Божій—начало премудрости. Мы скажемъ: любовь къ жизни—начало премудрости. Но и изъ любви къ жизни можно сдѣлать такіе выводы, примѣнять ее такимъ жалкимъ образомъ, что просто бѣда! Прежде всего есть двѣ любви къ жизни: одна побѣждаетъ страхъ смерти, а другая съ нимъ сочетается. Но человѣкъ, который цѣпляется за жизнь и для котораго нѣтъ ничего страшнѣе смерти, не достоинъ ни свободы, ни счастья, ни жизни, и какъ разъ у такого судьба или люди легче всего отнимаютъ и то, и другое, и третье.

Любовь къ жизни, художественно проповѣдуемая Назанскимъ, именно сочетается со страхомъ смерти, а потому она, во-первыхъ, не побѣждаетъ смерти, а навсегда оставляетъ передъ человѣкомъ вдали маленькую черную дырочку, которая съ каждымъ днемъ растетъ, пока человѣкъ не свалится въ нее, а, во-вторыхъ, дѣлаетъ человѣка трусомъ. Любовь къ жизни, повторяемъ, должна освобождать отъ смерти, дѣлать безсмертнымъ, и, кромѣ того, у человѣка всегда

должна быть граница: „вотъ такъ я еще могу жить, но хуже—лучше смерть“. Не такъ у Назанскаго, типичнаго въ своемъ родѣ индувидуалиста.

„Всѣ страшатся смерти, но малодушные дураки обманываютъ себя перспективами лучезарныхъ садовъ и сладкаго пѣнія кастратовъ, а сильные—молча перешагиваютъ грань необходимости. Мы—не сильные. Когда мы думаемъ, что будетъ послѣ нашей смерти, то представляемъ себѣ пустой холодный и темный погребъ. Нѣтъ, голубчикъ, все это враки: погребъ былъ бы счастливымъ обманомъ, радостнымъ утѣшеніемъ. Но представьте себѣ весь ужасъ мысли, что совсѣмъ, совсѣмъ ничего не будетъ, ни темноты, ни пустоты, ни холоду... даже мысли объ этомъ не будетъ, даже страха не останется! Хотя бы страхъ! Подумайте!“

Насчетъ „малодушныхъ дураковъ“ хотя и сильно сказано, но... довольно правильно, но чтобы всѣ боялись смерти—это вздоръ, прямо противорѣчащій фактамъ. И подумайте, даже холодный погребъ! нѣтъ, даже одинъ сплошной страхъ, это мучительнѣйшее, подлѣйшее чувство и то лучше для Назанскаго, чѣмъ небытіе! Это уже что-то для насъ совсѣмъ непостижимое. Подлое страданіе и то лучше, чѣмъ отсутствіе всякаго сознанія: такъ цѣпляется за свое „я“, извините меня, г. Назанскій,—индивидуалистъ-мѣщанинъ.

Назанскій развиваетъ свою мысль слѣдующимъ весьма краснорѣчивымъ образомъ:

„А посмотрите, нѣтъ, посмотрите только, какъ прекрасна, какъ обольстительна жизнь!—воскликнулъ Назанскій, широко простирая вокругъ себя руку.—О радость, о божественная красота жизни! Смотрите: голубое небо, вечернее солнце, тихая вода— вѣдь, дрожишь отъ восторга, когда на нихъ смотришь—вонъ тамъ, далеко, вѣтряныя мельницы машутъ крыльями, зеленая кроткая травка, вода у берега—розовая, розовая отъ заката. Ахъ, какъ все чудесно, какъ все нѣжно и счастливо“! Назанскій вдругъ закрылъ глаза руками и

расплакался, но тотчасъ же онъ овладѣлъ собой и заговорилъ, не стыдясь своихъ слезъ, глядя на Ромашова мокрыми сіяющими глазами:

„Нѣтъ, если я попаду подъ поѣздъ, и мнѣ перерѣжутъ животъ, и мои внутренности смѣшаются съ пескомъ и намотаются на колеса, и если въ этотъ послѣдній мигъ меня спросятъ: „Ну, что и теперь жизнь прекрасна?“—я скажу съ благороднымъ восторгомъ;—„Ахъ, какъ она прекрасна!“ Сколько радости даетъ намъ одно только зрѣніе! А есть еще музыка, запахъ цвѣтовъ, сладкая женская любовь! И есть безмѣрнѣйшее наслажденіе—золотое солнце жизни—человѣческая мысль! Родной мой Юрочка!.. Простите, что я васъ такъ назвалъ,—Назанскій, точно извиняясь, протянулъ къ нему издали дрожащую руку.—Положимъ, васъ посадили въ тюрьму, на вѣки вѣчные, и всю жизнь вы будете видѣть изъ щелки только два старыхъ изъѣденныхъ кирпича... нѣтъ, даже, положимъ, что въ вашей тюрьмѣ нѣтъ ни одной искорки свѣта, ни единаго звука—ничего! И все-таки, развѣ это можно сравнить съ чудовищнымъ ужасомъ смерти? У васъ остается мысль, воображеніе, память, творчество—вѣдь, и съ этимъ можно жить. И у васъ даже могутъ быть минуты восторга отъ радости жизни“.

Все это хорошо, но сквозь пламенную любовь къ жизни все время звучитъ какая-то трусливая судорога. Тюрьма физическая, допустимъ, лучше смерти, но чувство порабощенія? Вѣдь, сама жизнь, сама личность отравляется изнутри, когда уже не можетъ себя уважать. Но какъ можетъ уважать себя человѣкъ, для котораго жизнь выше всего и котораго, слѣдовательно, всегда можно купить жизнью? И въ дальнѣйшемъ Назанскій упирается въ весьма некрасивыя, весьма мѣщанскія мысли, хотя внѣшне прикрытыя мнимо-красивой, мнимо-гордой индивидуалистической фразеологіей.

Но прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ самой сути своеоб-

разнаго ученія Назанскаго, мы хотимъ опровергнуть одно его совершенно невѣрное утвержденіе.

„Два человѣка стрѣляютъ другъ въ друга, убиваютъ другъ друга. Ахъ, нѣтъ, ихъ раны, ихъ страданія, ихъ смерть— все это къ чорту! Да развѣ онъ себя убиваетъ, этотъ жалкій движущійся комочекъ, который называется человѣкомъ? Онъ убиваетъ солнце, жаркое, милое солнце, свѣтлое небо, природу,—всю многообразную красоту жизни, убиваетъ величайшее наслажденіе и гордость—человѣческую мысль! Онъ убиваетъ то, что ужъ никогда, никогда не возвратится. Ахъ, дураки, дураки!“

„Никто въ мірѣ не вѣритъ въ загробную жизнь...“ утверждаетъ нашъ ораторъ. Это утвержденіе — узенькое и само по себѣ характеризуетъ то неумѣніе представлять себѣ чужую психику, которая свойственна мѣщанскому индивидуалисту во всѣхъ его формахъ, даже самыхъ „эстетическихъ“. Нѣтъ, есть люди, и ихъ не мало, которые такъ же вѣрятъ въ загробную жизнь, какъ мы съ вами въ существованіе Америки. Но ужъ если во что-нибудь никто въ мірѣ не вѣритъ, такъ это въ то, что, убивая себя, я убиваю „жаркое, милое солнце“. Вздоръ, солнце остается, остается вселенная и человѣчество. Это знаетъ и крестьянинъ, на смертномъ одрѣ раздѣляющій свой скарбъ между сыновьями, и философъ, передъ смертью размышляющій о возможности апоѳеоза разумности въ мірѣ. „Кромѣ меня, ничего нѣтъ, внѣ меня ничто мнѣ неинтересно“, а потому именно „après nous le déluge“ — такъ мыслятъ упадочные, узенькіе, маленькіе индивидуалисты. „Весь міръ есть въ сущности мое я“—безспорно. Какой же выводъ дѣлаетъ узенькій индивидуалистъ: „съ моимъ тѣломъ, моимъ мозгомъ гибнетъ и міръ, который есть часть моего существованія“. Между тѣмъ индивидуалистъ широкій, человѣкъ могучей, интенсивной и экстенсивной жизни дѣлаетъ другой выводъ: „мое личное сознаніе есть лишь часть всего моего я, этого огромнаго и важнаго, что остается и

послѣ смерти, съ чѣмъ я могу связать все лучшее во мнѣ".

Я уже обращалъ вниманіе читателей „Правды" на замѣчательныя мысли объ этомъ Маха и позволю себѣ еще разъ привести ихъ здѣсь, чтобы подчеркнуть указанный контрастъ.

„Я"—образуется элементами (переживаніями). Когда я умру, это будетъ значить,—говоритъ Махъ,—что элементы уже не являются въ своемъ обычномъ сочетаніи. Вотъ и все. Всѣ элементы „я" варьируютъ уже въ теченіе самой жизни, и къ нѣкоторымъ изъ такихъ перемѣнъ мы сами стремимся. Важнѣе всего здѣсь непрерывность, но, вѣдь, непрерывность есть лишь средство для подготовки и сохраненія содержанія. Важно именно это содержаніе, а не „я". Но содержаніе не ограничено даннымъ индивидуумомъ. Оно продолжаетъ существовать въ другихъ, за исключеніемъ лишь ничтожныхъ и маловажныхъ личныхъ воспоминаній. Элементы сознанія, имѣющіе всеобщее значеніе, прорываютъ границы личности и ведутъ неличную, сверхличную жизнь, конечно, въ связи съ другими индивидуумами. Прибавить что-нибудь къ суммѣ такихъ элементовъ, это — высшее счастье художника, изслѣдователя, изобрѣтателя, соціальнаго реформатора".

„Всеобщее значеніе! — говоритъ индивидуалистъ типа Назанскаго:—Плевать мнѣ на всеобщность!" Этимъ онъ выдаетъ свое мѣщанство.

Послушаемъ дальше нашего проповѣдника новой морали, эстетическаго индивидуализма, такъ смахивающаго по формѣ на тотъ эстетическій имморализмъ, о которомъ я писалъ, и такъ далекаго отъ него по существу.

„Старыя вороны и галки вбивали въ насъ съ самой школьной скамьи: „люби ближняго, какъ самого себя, и знай, что кротость, послушаніе и трепетъ есть первыя достоинства человѣка".

Вороны и галки, конечно, глупыя птицы. Любовь ко

всякому ближнему, конечно, не наиболѣе свѣтлая и возвышенная заповѣдь, но надо же все-таки замѣтить, что не всегда проповѣдь любви къ ближнему сочетается съ проповѣдью послушанія и трепета. Это уже маленькое... упрощеніе со стороны Назанскаго.

„Я никогда не понималъ этого. Кто мнѣ докажетъ съ ясной убѣдительностью, чѣмъ связанъ я съ этимъ—чортъ бы его побралъ!—моимъ ближнимъ, съ подлымъ рабомъ, съ готтентотомъ, съ зараженнымъ, съ идіотомъ?“

Дѣйствительно, идіотъ или подлый рабъ врядъ ли стоитъ любви и искусственно развивать ее въ себѣ и по нашему мнѣнію—юродство. Еще менѣе склонны мы относиться съ любовью къ подлымъ господамъ, которые подлѣе подлыхъ рабовъ. Но неужели только такіе ближніе у насъ и есть? Какой вздоръ, какая клевета на жизнь! Этотъ самый Назанскій только что воспѣвалъ солнце, женскую любовь, музыку... „А братъ-человѣкъ?“—напоминаетъ ему.—„Готтентотъ, подлый рабъ, прокаженный, идіотъ!“—выпаливаетъ жизнелюбецъ. Это вдвойнѣ вздоръ. Во-первыхъ, рядомъ съ нами живетъ масса умныхъ, красивыхъ, даровитыхъ, гордыхъ и благородныхъ людей, а во-вторыхъ, еще большая масса такихъ, которые могли бы быть такими и лучше. Большій процентъ людей — прекраснѣйшія, божественныя существа въ потенціи. Кто не любитъ людей, не умѣетъ вскрывать въ нихъ сокровища, о которыхъ иногда и самъ обладатель имъ не подозрѣваетъ, тотъ уже безконечно суживаетъ свою личность.

Дальше:

„Болѣе честные, болѣе сильные, болѣе хищные говорили намъ: „возьмемся объ руку, пойдемъ и погибнемъ, но будущимъ поколѣніямъ приготовимъ свѣтлую и легкую жизнь“.

Но и призывомъ „хищныхъ людей“ Назанскій недоволенъ:

„Какой интересъ заставитъ меня разбивать свою голову

ради счастья людей тридцать второго столѣтія? О, я знаю этотъ куриный бредъ о какой-то міровой душѣ, о священномъ долгѣ. Но даже тогда, когда я ему вѣрилъ умомъ, я ни разу не чувствовалъ его сердцемъ".

Куриный бредъ оставимъ курамъ, а сами будемъ стоять на точкѣ „хищныхъ". Вѣдь, неправда ли, хищные и честные врядъ ли основываются на куриномъ бредѣ?

Какой интересъ?—спрашиваетъ Назанскій.

„Когда меня не станетъ, то и весь міръ погибнетъ? Вѣдь, вы это говорите",—спрашиваетъ Ромашовъ.

„Это самое. Любовь къ человѣчеству выгорѣла и вычадилась изъ человѣческихъ сердецъ". И опять узенькій Назанскій судитъ по своему маленькому сердцу о сердцѣ людей вообще. „На смѣну ей идетъ новая, божественная вѣра: это любовь къ себѣ, къ своему прекрасному (а вдругъ горбатому?) тѣлу, къ своему всесильному (а вдругъ крохотному?) уму, къ безконечному богатству своихъ чувствъ".

Нѣтъ, уже это, г. мудрецъ, извините: какое тамъ безконечное богатство чувствъ, когда на призывъ любить ближняго и на призывъ любить дальняго вы отвѣчаете, пожимая плечами: „Какой интересъ?"

Могучая личность, дѣйствительно, богатая личность, прежде всего, страшно широка и жаждетъ общенія, жаждетъ сочувствія: своимъ сердцемъ она переживаетъ все, что было и что будетъ, она сливается со всѣмъ живымъ, со всѣмъ грядущимъ; она, естественно, не можетъ не реагировать на страданія окружающихъ, на безобразіе, злобу, насиліе,— какой интересъ? А какой интересъ ѣсть и спать? Это потребность, а не интересы. Вы любите музыку, г. Назанскій? Какой интересъ? А широкіе люди любятъ красоту жизни, а потому ненавидятъ ея безобразіе. Будущее такъ же живо для нихъ, какъ настоящее: настоящее диктуетъ имъ идеалы, но идеалъ—это самое личное, самое интимное, самое святое, и онъ не можетъ быть пассивенъ: „Идеалъ,—говоритъ

Гюйо,—эта высшая абстракція, превращается въ конкретнѣйшее, въ практичнѣйшее—въ работу". „Идеалъ, который не превращается въ работу—ложный, гнилой, пустой идеалъ". Жизнь настоящаго, сильнаго индивида преисполнена работы, направленной къ осуществленію идеала, если бы таковое возможно было даже лишь въ XXXII вѣкѣ. Кто этого не понимаетъ, тотъ — бѣднякъ, и не прикрыть ему своей наготы и худобы бумажными цвѣтами краснорѣчія.

И именно лишь широкій индивидъ съ многообъемлющей душой побѣждаетъ смерть окончательно: еще Платонъ училъ, что вѣчнымъ въ насъ можетъ быть лишь то, что объемлетъ вѣчное, сливается съ нимъ — вершины личности; самое личное выходитъ неожиданно за предѣлы личности.

„Надо различать личность и индивидуальность,—говоритъ по этому поводу Жане.—Индивидуальность, это—сочетаніе всѣхъ тѣхъ внѣшнихъ обстоятельствъ, благодаря которымъ одинъ человѣкъ отличается отъ другого. Личность имѣетъ свои корни въ индивидуальности, но она имѣетъ тенденцію освобождаться отъ нея. Индивидъ стремится замкнуться въ себѣ (какъ индивидуалистъ индивидуальности—Назанскій); личность, напротивъ, стремится выйти изъ береговъ (какъ индивидуалисты личности). Идеалъ индивидуальности — эгоизмъ, все сводится къ одному „я"; идеалъ личности— преданность цѣлому. Личность въ концѣ концовъ есть „сознаніе безличнаго".

Конечно, словоупотребленіе у Жане произвольно, но мысль чиста и глубока.

Какой интересъ?! Послушаемъ еще Гюйо: „Ты хозяинъ сегодняшняго дня, человѣкъ,—говоритъ этотъ симпатичный и сильный философъ,—позаботься, чтобы завтрашній день принадлежалъ твоему идеалу, чтобы завтра всегда было выше сегодня, чтобы горизонты, разстилающіеся передъ человѣчествомъ, были все возвышеннѣе и свѣтозарнѣе".— „Наша мысль разбиваетъ „я", въ которомъ она родилась,

наша грудь слишкомъ тѣсна для нашего сердца. О, какъ научаешься мало цѣнить себя самого въ работѣ мысли или художественномъ творчествѣ!“

Такъ говорятъ настоящіе индивидуалисты, г. Назанскій. Но Назанскій любитъ будущее, въ немъ, естественно, видитъ онъ осуществленіе своего идеала, потому что вѣдь и у него есть свой идеалъ. По мнѣнію Назанскаго, настанетъ время, когда всѣ люди будутъ богами и т. д. и т. д. Мечты о томъ же, о чемъ мечтаютъ и „хищные, честные“, призывавшіе приготовить для будущаго „свѣтлую, легкую жизнь“.

„Такъ же, какъ вѣрю въ это вечернее небо надо мной,— воскликнулъ Назанскій, торжественно поднявъ руку вверхъ,— такъ же твердо вѣрю я въ эту грядущую богоподобную жизнь!“

Какая же разница между „хищными“ и г. Назанскимъ? А та, что, восторженно призывая свѣтлое будущее, хищные хотятъ приготовлять его, хотя бы для этого надо было погибнуть имъ самимъ, а Назанскій, пропѣвъ будущему дивирамбъ, на призывъ: „итакъ, на борьбу!“ отвѣчаетъ: „какой интересъ?“ и предпочитаетъ наслаждаться своимъ „я“. Впрочемъ, и онъ идетъ на борьбу,—только потому, однако, что „наслаждаться“ сейчасъ не совсѣмъ удобно.

„Да, — промолвилъ онъ съ улыбкой въ голосѣ: — какой-нибудь профессоръ догматическаго богословія или классической филологіи разставитъ врозь ноги, разведетъ руками и скажетъ, склонивъ на одинъ бокъ голову: „Но, вѣдь, это проявленіе крайняго индивидуализма!“

И Назанскій спѣшитъ увѣрить, что онъ признаетъ и союзъ между людьми, и общее дѣло, общую борьбу.

„...Вотъ на улицѣ стоитъ чудовище, веселое двухголовое чудовище. Кто ни пройдетъ мимо него, оно его сейчасъ въ морду, сейчасъ въ морду. Оно меня еще не ударило, но одна мысль о томъ, что оно можетъ меня ударить,

оскорбить мою любимую женщину, лишить меня, по произволу, свободы,—эта мысль вздергиваетъ на дыбы всю мою гордость. Одинъ я его осилить не могу. Но рядомъ со мною стоитъ такой же смѣлый и такой же гордый человѣкъ, какъ я, и я говорю ему: „пойдемъ и сдѣлаемъ вдвоемъ такъ, чтобы оно ни тебя, ни меня не ударило“. И мы идемъ. О, конечно, это грубый примѣръ, это—схема, но въ лицѣ этого двухголоваго чудовища я вижу все, что связываетъ мой духъ, насилуетъ мою волю, унижаетъ мое уваженіе къ своей личности. И тогда-то не телячья жалость къ ближнему, а божественная любовь къ самому себѣ соединяетъ мои усилія съ усиліями другихъ, равныхъ мнѣ по духу людей“.

Такъ вотъ, значитъ, какъ. Теперь есть интересъ; чудовище можетъ ударить меня и мою любимую женщину. Отъ этого гордость вздергивается. Ну, а если чудовище не можетъ ударить васъ, потому что вы офицеръ, но лущитъ по зубамъ солдатиковъ? Если оно не задѣнетъ вашу любимую женщину, но будетъ оскорблять женщинъ „не вашего круга“? Тогда какъ? Какой интересъ тогда „соединять свои усилія“ съ людьми, быть можетъ, болѣе сильными, чѣмъ вы, по духу, но не равными вамъ по своему соціальному положенію? А если „веселое двухголовое чудовище“, оскорбляя и унижая „ближнихъ“, охраняетъ вмѣстѣ съ тѣмъ вашъ годовой доходъ? Что вамъ за дѣло до готтентотовъ,—неправда ли, г. Назанскій?

Но еще одинъ вопросъ. „Мы идемъ“. Но вотъ оказалось, что кому-нибудь изъ людей, идущихъ покончить съ мордобойнымъ чудовищемъ, пришлось идти въ первыхъ рядахъ и что при этомъ есть 99 шансовъ, а можетъ быть и 100 шансовъ, умереть? Такъ какъ „съ моею смертью гибнетъ и міръ“, то, очевидно, „никакаго интереса“ дѣйствовать такимъ образомъ ни у одного изъ равныхъ г. Назанскому по духу союзниковъ не будетъ: всѣ будутъ прятаться въ

заднихъ рядахъ. Могу лишь отъ души пожелать побѣды храброму воинству.

Но можетъ быть, такъ какъ „вся гордость“ Назанскаго „вздернута на дыбы“, онъ перестанетъ разсуждать о своемъ неоцѣненномъ „я“ и его „интересахъ“ и проявитъ нѣкоторое мужество? О, веселое двухголовое чудовище! скорѣе давай въ морду гг. Назанскимъ, скорѣе оскорбляй ихъ любимыхъ женщинъ, тогда, наконецъ, эти г-да полубоги станутъ на дыбы и присоединятся къ „хищнымъ и честнымъ“.

Вся внѣшне красивая, мнимо-ницшеанская теорія Назанскаго есть типичнѣйшее мѣщанство. Мы увѣрены, однако, что Назанскихъ много, и есть и Ромашовы, съ разинутымъ ртомъ ихъ слушающіе.

Но если премудрость мудрѣйшаго изъ офицеровъ плоха, то повѣсть г. Куприна все же очень хороша. Тамъ, гдѣ авторъ забирается въ глубины психологіи, изображаетъ внутреннюю жизнь героя, онъ слабъ, онъ слишкомъ непросто представляетъ себѣ эту внутреннюю жизнь, слишкомъ хочетъ быть тонкимъ, а на дѣлѣ останавливается на пустяшныхъ курьезахъ психологіи. Впрочемъ, страницы, посвященныя мечтамъ Ромашова, хороши.

Но гдѣ г. Купринъ является бытописателемъ, тамъ онъ прелестенъ, очень наблюдателенъ, правдивъ, превосходный разсказчикъ. Удалось ему вывести и любопытный, совершенно живой и безспорно интересный женскій типъ. Не могу также не обратить вниманія читателя на прекрасныя страницы г. Куприна,—настоящее обращеніе къ арміи. Хочется думать, что не одинъ офицеръ, прочтя эти краснорѣчивыя страницы (268 — 273), услышитъ въ себѣ голосъ настоящей чести.

Я сказалъ, что именно честь объединяетъ интересы личности съ интересомъ класса и, наконецъ, человѣчества. Это вѣрно всюду, гдѣ налицо имѣется вполнѣ развитая личность, знающая себѣ цѣну. Мы можемъ представить се-

бѣ самоотверженную дѣятельность, вытекающую и изъ другихъ мотивовъ. Материнскій, вообще семейный, или общественный инстинктъ можетъ быть непосредственно силенъ, проявляться стихійно, порождать тѣ или иные поступки безъ всякой внутренней борьбы, почти безсознательно. Это возможно всюду, гдѣ индивидуальность еще не развита, еще не выдѣлила себя изъ общины, или вообще не отгородила себя отъ тѣхъ или иныхъ близкихъ существъ. Стадія господства, соціальнаго, такъ сказать стаднаго инстинкта, если бы таковая существовала когда-нибудь въ чистомъ видѣ, была бы стадіей безгрѣшности, но общество, совершенно не выдѣляющее творческихъ, самобытныхъ индивидуальностей, совершенно не дифференцированное или дифференцированное очень мало, несравненно менѣе устойчиво въ борьбѣ съ природой и врагами, несравненно болѣе слабое, чѣмъ общество, покоящееся на свободной индивидуальности. Однако, развитіе индивидуальности сопровождается неизбѣжнымъ развитіемъ индивидуализма. Личность противопоставляетъ себя общинѣ, сосѣду, другому, не-мнѣ, и начинаетъ считать раціональнымъ лишь выгодное, пріятное для себя; непосредственно разумнымъ становится лишь эгоизмъ. Общество вступаетъ въ борьбу съ просыпающейся индивидуальностью и создаетъ для нея цѣпи. Помимо внѣшней кары за нарушеніе общественныхъ интересовъ въ угоду личнымъ, общество, инстинктивно вырабатывая предохранительныя формы противъ грозящаго ему соціальнаго атомизма, пытается воспитать въ гражданахъ внутренняго стража общинныхъ интересовъ, развивъ въ мозгахъ отдѣльныхъ людей своеобразныя и устойчивыя системы, нарушеніе равновѣсія которыхъ испытывалось бы индивидомъ, какъ страданіе. Всевѣдующій Богъ, хранитель обѣтовъ и обычаевъ—одно изъ такихъ представленій; идея долга, совѣсть съ ея угрызеніями—другое. Борьба индивидуальныхъ похотей и инстинктовъ съ совѣстью есть борьба отдѣльныхъ

системъ мозга за преобладаніе и направленіе воли (физіологическая борьба, т. е. разумѣется, лишь въ переносномъ смыслѣ, такъ какъ это явленіе чисто механическое). Но главное тутъ для насъ то, что какъ всевѣдущее божество, такъ и долгъ и совѣсть сознаются, какъ нѣчто внѣшнее, непонятное, совершенно отличное отъ обычныхъ чувствъ, стремленій человѣческихъ. Кантъ хорошо это понялъ: онъ не считаетъ нравственнымъ поведеніе, вытекающее изъ чувства любви, напримѣръ, недостатки морали: отчужденность личности и общества, навязанность совѣсти и ея законовъ, внутреннее насиліе надъ собою, которое совершаетъ человѣкъ, повинуясь долгу,—Кантъ сдѣлалъ основной чертой, базисомъ, критеріемъ морали.

Въ каждомъ человѣкѣ, стоящемъ на этой стадіи развитія, въ мозгу его, въ сенатѣ его идей, чувствъ и желаній имѣется представитель общинныхъ интересовъ, обладающій очень повелительными жестами, холоднымъ строгимъ голосомъ, властью мучить человѣка своими протестами, если исконные, туземные сенаторы его не послушаютъ. Этого легата общества, общественности Кантъ хотѣлъ выдать за посланца неба. Посланецъ неба требовалъ, однако, того, чего не могъ не признать полезнымъ всякій мѣщанинъ, безличный мѣщанинъ; безличный мѣщанинъ былъ провозглашенъ сверхличностью, а эмпирическій мѣщанинъ—низшимъ феноменальнымъ „я“.

Сильная личность стремится освободиться отъ суроваго легата, и, послѣ нѣсколькихъ бурныхъ дебатовъ, туземные сенаторы выталкиваютъ его преблагополучно за дверь. Иногда послѣ этого свободная индивидуальность превращается въ разнузданную, разбойничью личность. Этого какъ разъ и боятся моралисты. По изгнаніи небеснаго легата, во внутреннемъ сенатѣ наступаетъ неминуемо, по мнѣнію ихъ, суматоха невообразимая. Туземные сенаторы начинаютъ играть въ чехарду и давать другъ другу пощечины, какъ

клоуны; не допуская къ себѣ никакихъ представителей интересовъ другихъ личностей, они толкаютъ освобожденнаго Смердякова на преступленіе. Но не всегда туземные сенаторы бываютъ столь безразсудны. Иногда засѣданіе ихъ, по изгнаніи легата, оказывается изумительно разсудительнымъ. Инстинкты сидятъ смирнехонько, а министерскія кресла занимаетъ расчетъ съ огромными бухгалтерскими книгами вокругъ. „Почтенные джентльмены, т.-е. инстинкты“, говоритъ разсчетъ: „вѣроятно, я буду недалекъ отъ истины, если предположу, что вы желали бы быть удовлетворены?“ Инстинкты отвѣчаютъ радостнымъ гуломъ: „Правительство изыщетъ мѣры къ вашему удовлетворенію. Надо, однако, пояснить, джентльмены, что исполненіе петицій нѣкоторыхъ изъ васъ во всемъ объемѣ повело бы наше отечество—индивидуумъ—къ бѣдамъ, либо разрушая здоровье нѣкоторыхъ его органовъ, либо вызывая непріятныя столкновенія съ другими индивидуальностями. Правительство надѣется на вашу умѣренность, джентльмены: при соблюденіи съ вашей стороны умѣренности и спокойствія оно гарантируетъ за индивидуумомъ долгую и счастливую жизнь. Балансъ пользы и вреда будетъ вестись съ величайшею тщательностью. Но представители холоднаго расчета просятъ горячихъ джентльменовъ, по возможности, остыть. Это относится одинаково, какъ къ вполнѣ понятнымъ намъ грубоватымъ инстинктамъ, разнороднымъ похотямъ и аппетитамъ, такъ и къ не вполнѣ понятнымъ намъ, нѣсколько подозрительнымъ элементамъ, склоннымъ къ поэзіи и фантастикѣ, готовымъ противопоставить разсчету романтическія увлеченія. Мы очень просимъ представителей любви, энтузіазма, воли къ мощи, вообще всю крайнюю лѣвую, памятовать, что благо индивидуума, патріотическими элементами котораго мы являемся, должно быть для насъ превыше всего“.

Но не всѣмъ же удается устроить свое счастье на почвѣ

разсудительности. Индивидуумы, принадлежащіе къ классамъ эксплоатируемымъ, никакъ не могутъ почувствовать себя удовлетворенными: какъ ни старается разсудокъ, но онъ же вынужденъ констатировать, что существуютъ соціальныя условія, непреоборимыя для личныхъ силъ, осуждающія цѣлую категорію личностей, цѣлый классъ на скудное существованіе, на постоянную неудовлетворенность: союзъ такихъ личностей для общей борьбы за устраненіе такихъ условій, за созданіе новыхъ формъ общественной жизни, болѣе удовлетворительныхъ, становится единственнымъ выходомъ. Такой союзъ предполагаетъ чрезвычайное расширеніе личности. Въ сенатѣ появляются новые элементы, представители интересовъ союза. Въ сенатѣ происходятъ такія сцены. Представители союза заявляютъ, что отъ недѣльнаго заработка необходимо отчислять 10% въ пользу союза. Грубоватые сквайры—инстинкты поднимаютъ шумъ, фантазеры крайней лѣвой улыбаются, хотя сдержанно. Среди криковъ, поднятыхъ сквайрами, раздается звонокъ предсѣдателя, и министръ Разсчетъ печально начинаетъ: „Уважаемые джентльмены-инстинкты, душою я на вашей сторонѣ. Если я иногда сдерживалъ васъ, то для вашей же пользы. Отчисленіе 10% нашего дохода, конечно, вещь тяжелая, но не трудно видѣть, что польза здѣсь превышаетъ вредъ“. Министръ читаетъ соотвѣтствующія цифры: „Призываю васъ къ той дисциплинѣ, джентльмены, образчики которой вы такъ часто давали“.

Между тѣмъ борьба за радикальное переустройство общества людей разгорается все болѣе; для представителей трудового класса все яснѣе становится, что нужно именно к о р е н н о е пересозданіе всего общества, работа эта огромна, сопротивленіе колоссальное.

Мы снова во внутренней палатѣ. Одинъ изъ сквайровъ, самый почтенный, сдержанный изъ всѣхъ и притомъ самый уважаемый, въ величайшей ажитаціи проситъ слова,

„Джентльмены“, говоритъ онъ: „я взволнованъ. Простите мнѣ, если я буду кратокъ. Вы меня знаете, я Инстинктъ Самосохраненія. Мои добропорядочныя, консервативныя убѣжденія и мой испытанный патріотизмъ, составляющій, такъ сказать, мою душу, не подлежатъ, надѣюсь, сомнѣнію. Извѣстна также присутствующимъ та почти личная дружба, которая связываетъ меня съ нашимъ геніальнымъ премьеромъ сэромъ Разсчетомъ. И вотъ я, лидеръ правой, бросаю высокопочтенному премьеру упрекъ въ томъ, что онъ запутался, и что въ его книгахъ теперь, выражаясь по-деревенски, самъ чортъ ногу сломитъ! Да, я это утверждаю. Разсчетъ предполагаетъ участіе нашего индивидуума въ такъ называемой мирной демонстраціи. Какъ одинъ изъ прозорливѣйшихъ инстинктовъ, я предугадываю, что во время оной индивидуумъ будетъ подвергаться побоямъ и даже опасности гибели. Я спрашиваю васъ, какимъ образомъ можетъ сэръ Разсчетъ оправдать подобную политику?“

Инстинкты-аппетиты бѣшено аплодируютъ своему лидеру. Блѣдный министръ поднимается на трибуну съ огромной бухгалтерской книгой въ рукахъ. „Джентльмены... дайте мнѣ говорить, джентльмены... Въ предполагаемомъ мирномъ шествіи, способномъ поднять престижъ союза, къ которому принадлежитъ нашъ индивидуумъ, будетъ участвовать столько-то человѣкъ, ударовъ нагайкой и пр. столько-то, дѣлю на число участниковъ; достигнутая реформа даетъ намъ пользы столько-то, вычитаю вредъ изъ пользы, остатокъ—послѣ учета чистой прибыли“... Багровый отъ гнѣва, вскакиваетъ почтенный Инстинктъ Самосохраненія: „Гнусная передержка, подлый обманъ!—кричитъ онъ.—А если нашъ индивидъ какъ разъ получитъ пулю въ лобъ, какое намъ дѣло, что другіе получатъ за это полгроша, да хотя бы и цѣлое небо! Погибъ индивидъ, погибъ весь міръ“. Представитель союза кричитъ: „Этого

требуютъ интересы союза"—„Обращаю вниманіе на Zwischenruf представителя союза: что такое интересы союза внѣ интересовъ индивида?—иллюзія! Обращаю вниманіе почтенныхъ инстинктовъ: для того ли мы изгоняли легата съ его заповѣдями и его Кантомъ, чтобы подписать диктатуру этого едва родившагося мальчишки! Разсчетъ спасовалъ передъ нимъ: балансъ благополучія индивидуума сливается у него теперь съ балансомъ благополучія союза".—„Но что же дѣлать?" въ ужасѣ кричитъ Разсчетъ, видя какъ залъ засѣданія кипитъ: „Внѣ блага союза—благополучіе индивида невозможно". Но, наконецъ, крайняя лѣвая заговорила: Энтузіазмъ вскочилъ на трибуну: „Братья, я испытываю великую радость! Я все время былъ въ сторонѣ, и хирѣлъ подъ властью Разсчета, но теперь пришло мое время! Нѣтъ большаго счастья для индивида, нѣтъ высшей гармоніи его жизни, какъ страстная, всезабывающая, всезахватывающая борьба: не въ долголѣтіи дѣло, не въ прозябаніи, а въ дняхъ, въ часахъ упоенія своею безусловною цѣлостностью, своею преданностью одному, основному могучему чувству: оно удесятеряется оттого, что кругомъ имъ же охвачены тысячи, милліоны другихъ индивидуумовъ. Прочь Разсчетъ, да здравствуетъ Восторгъ, воспрянь Воля къ мощи, Боевой инстинктъ; вы, поблѣднѣвшіе, превратившіеся почти въ тѣни инстинкты Симпатіи и Солидарности,—пусть новая кровь прильетъ къ вашимъ щекамъ. Бейте въ набатъ, трубите въ трубы—энтузіазмъ побѣдилъ разсчетъ".

Гора выступаетъ диктаторомъ, все приспособляется къ ней. Жирондистка сладко говорила о томъ, что надо любить всѣхъ безъ различія и не быть жестокимъ. Еще немного и ей отрубили бы голову: удивительнѣе всего, что обвинителемъ противъ нея выступилъ, между прочимъ, Инстинктъ Самосохраненія. Но, Боже! какіе горизонты вдругъ раскрылись! какія лица появились, родившись и развившись подъ властью Энтузіазма: Любовь къ дальнему съ

зеркаломъ въ рукахъ; кто взглянетъ въ то зеркало, влюбляется безумной любовью въ прелестное лицо нашего потомка человѣкобога; гордая Вѣра и Разумъ, Чувство Красоты... Все это дурные патріоты, индивидуумъ для нихъ почти ничто... „Мы sans patrie!“—воскликнуло въ одной своей рѣчи Творчество:—„мы можемъ жить и въ другихъ личностяхъ... мы не умираемъ“. Но Жажда личнаго счастья объединила вокругъ себя всѣ инстинкты-аппетиты. „Думаете ли вы инстинкты sans patrie, что я не имѣю права существовать, и существовать по своему?“—„Отнюдь не думаемъ, но развѣ мы не необходимы для полноты вашего удовлетворенія болѣе другихъ“.—„Это правда, но вы ежеминутно можете нарушить равновѣсіе. Я согласна признать за вами почетное мѣсто въ этой палатѣ, но я хочу владѣть вами, а сумасбродъ Энтузіазмъ готовъ сдѣлать такъ, что вы будете владѣть мною. Когда ваши требованія противорѣчатъ моимъ—вы должны смолкнуть. Поскольку вы нужны мнѣ—оставайтесь здѣсь, но здѣсь мое царство, и если вы вредите мнѣ“...—„То значитъ, ты плоха“,—говоритъ чей-то голосъ—„значитъ тобою слишкомъ еще верховодятъ старики Инстинктъ Самосохраненія и Разсчетъ. Какъ это дурно“.—„Кто это говоритъ?“—„Это говорю я—Честь!“—„Почему же это дурно?“— „Смотри!“ — и Честь показала ей Идеалъ:—„такимъ долженъ быть индивидъ, вотъ къ чему приближаться! вотъ что родилось въ немъ теперь за время бурной жизни, широкой, самоотверженной борьбы. И знай, Жажда личнаго счастья, когда ты будешь удаляться отъ идеала, я буду надѣвать траурныя одежды и плакать, пока все въ индивидѣ не заплачетъ, и я буду ликовать, когда ты будешь приближаться къ нему такъ что все въ индивидѣ будетъ сіять и смѣться. Если я или Идеалъ будемъ поруганы и оскорблены, гарпіи будутъ поганить твою пищу. Я сильнѣе Совѣсти: одни мертвые предразсудки были ея союзниками, даже слабохарак-

терную и прекраснодушную жирондистку—Любовь она отвергла, я же плоть отъ плоти, кость кости всего, что порождено въ тебѣ расширенной общественной жизнью". И Жажда личнаго счастья склонилась передъ Идеаломъ и передъ Честью и поднялась обновленная, и сказала: „Всегда впередъ, лучше смерть, чѣмъ безчестіе, чѣмъ деградація, чѣмъ паденіе!"

А Инстинктъ Самосохраненія послали въ переднюю: тамъ онъ и теперь полезенъ.

Простите, читатель, меня за беллетристику. Вѣдь, она все же уясняетъ происхожденіе новѣйшей формы чести и то, какъ объединяетъ она интересы личности съ общечеловѣческими, возвышая ихъ. Честь и то широкое, большое, сверхъиндивидуальное, что она охраняетъ отъ инстинктовъ-аппетитовъ, является результатомъ благопріятнаго подбора въ атмосферѣ широкой борьбы: нужда и разсчетъ рождаютъ при благопріятныхъ условіяхъ солидарность, энтузіазмъ и душевное величіе и красоту. Не только борьба, конечно, но, главнымъ образомъ, она. Исключительныя личности, у которыхъ эстетическіе инстинкты отъ природы, или въ силу особо благопріятныхъ жизненныхъ условій, сразу сильнѣе узко личныхъ аппетитовъ, остаются одинокими, пока не набѣжитъ валъ, не подыметъ людей такъ, что ноги ихъ становятся выше того уровня, гдѣ были уши; тогда только прыгаютъ люди выше своихъ ушей, переростаютъ „человѣческое, слишкомъ человѣческое".

Очень хорошо и картинно изображено подобное явленіе у г. Телешова въ его умномъ разсказѣ „Черною ночью". Жаждущій „шума", усталый отъ вялой неподвижной тишины жизни Вася, полуидіотъ, поджегъ пустой домъ, чтобы пришпорить немножко сонныхъ согражданъ, а вышелъ большой пожаръ, большое бѣдствіе, большая борьба, и люди преобразились.

„Кругомъ колокольни пылалъ городъ. Все горѣло, ру-

шилось и дымилось. Вася глядѣлъ безумными немигающими глазами на бѣду и видѣлъ, какъ пламя жрало все на пути своемъ, не щадя ни бѣднаго, ни невиннаго.

Пылали дома и заборы, горѣли сады и досчатые тротуары и тумбы, горѣло имущество, вытасканное на улицы. Среди общаго гула и рева онъ слышалъ вопли и стоны; онъ видѣлъ бѣгущихъ изъ деревень крестьянъ съ топорами и ведрами, съ коромыслами и ломами.

Онъ, видѣлъ, какъ внизу, подъ колокольней, распахнулись желѣзныя церковныя двери, и сѣдовласый батюшка въ эпитрахили легкой походкой сухого стараго подвижника, презирающаго жизнь, вышелъ на порогъ церкви, навстрѣчу пламени, высоко держа надъ головою крестъ. Вася видѣлъ, какъ шевелилась, точно прыгала, его узкая сѣдая бородка и открывался и закрывался его беззубый ротъ; молился старикъ или утѣшалъ несчастныхъ—не было слышно, но онъ осѣнялъ крестомъ бушевавшее огненное море и воздѣвалъ руку, устремляя къ багровому страшному небу и крестъ, и глаза. Онъ стоялъ на порогѣ церкви, а напротивъ, черезъ дорогу, на его глазахъ—загорался его маленькій сѣрый домикъ, надъ которымъ въ страхѣ метались его любимцы—бѣлые чистые голуби.

Вонъ, подбѣжалъ къ священнику купецъ Иголкинъ, упалъ на колѣна передъ нимъ и бьетъ себя кулакомъ по груди и что-то кричитъ. Должно быть, сгорѣло все.

А вотъ и Прокофьевъ стоитъ, опустивъ голову; онъ завернутъ сверху въ что-то черное, а ноги у него въ одномъ бѣльѣ: значитъ, тоже—сгорѣлъ.

Вонъ, расталкивая народъ, бѣжитъ дьяконъ въ длинномъ подрясникѣ; въ рукѣ у него подушка, а на плечѣ сидитъ и держится за его лохматую голову дѣвочка.

Чья она?.. Онъ бездѣтный.

Давно ли этотъ дьяконъ важной поступью выходилъ на амвонъ, умѣлъ гордо закидывать голову и разсыпать по

плечамъ своимъ холеные локоны, а теперь онъ бѣжитъ съ чужимъ ребенкомъ и съ чьей-то подушкой, спасая то и другое отъ огня и гибели, прокладывая себѣ локтями дорогу; подрясникъ его распахивается на вѣтру и изъподъ полъ виднѣются крѣпкія согнутыя колѣна и высокіе сапоги; народъ разступается передъ нимъ, и онъ бѣжитъ, куда хочетъ, косматый и страшный, какъ левъ.

И мясникъ Охряповъ, первый въ городѣ кулакъ и пьяница, тоже бѣжитъ за дьякономъ и тащитъ на спинѣ дѣтей и узлы. Своихъ дѣтей и у него нѣтъ. Значитъ спасаетъ чужихъ...

Старики, и мальчишки, и женщины—всѣ работаютъ и спасаютъ, всѣ рубятъ, гасятъ, выбрасываютъ на улицы вещи, таскаютъ ихъ въ безопасное мѣсто,—одинъ только Вася глядитъ съ высоты на весь этотъ адъ, не принимая участія въ общей борьбѣ.

Въ это время, когда по всему городу метались въ страхѣ люди, овцы и лошади, онъ стоялъ, облокотившись на рѣшетку, и глядѣлъ на все строго и холодно, а въ душѣ его трепетала скрытая дикая радость.

Давно ли всѣ эти мужики, которые сейчасъ, спасая чужое добро, лѣзутъ въ самый огонь, разворачивая топорами стѣны и расшвыривая бревна, давно ли они, пріѣзжая на клячахъ изъ селъ, стояли терпѣливо на базарѣ цѣлые дни безъ почина. Давно ли тѣснилъ ихъ мясникъ Охряповъ, покупая у нихъ поросятъ и гусей за безцѣнокъ,—а теперь и мясникъ этотъ ломится тоже въ огонь и опасность, вытаскивая чужихъ дѣтей и чужія пожитки.

Вася глядѣлъ на все, не вѣря глазамъ своимъ, не довѣряя слуху...

Впервые почувствовалъ онъ въ самомъ себѣ жизнь. Точно туманъ, наполнявшій его голову и сердце, вдругъ всколыхнулся, и сквозь волокна его проглянуло солнце—настоящее солнце: яркая, огромная жизнь со всѣми ея

радостями, страстями, съ горемъ и борьбою. Онъ впервые прозрѣлъ,—онъ увидѣлъ людей, тѣхъ людей, сонныхъ, вздорныхъ и вялыхъ. Но какъ они всѣ преобразились!“

Еще не такъ давно наши обыватели жаловались на Чеховскія сумерки, на тишину, на власть „нестрашнаго“; ну, господа, теперь волною катитъ страшное, сумерки позади,—красный день загорается. И я уже слышу, какъ многіе боятся, что волною окончательно захлестнетъ ихъ; у нихъ такіе короткіе и дряблые ножки,—я уже слышу, какъ они канючатъ о томъ, что лучше бы, пожалуй, вернуться назадъ къ мяснымъ котламъ Египта. Но люди чести смотрятъ на надвигающуюся, уже разразившуюся даже грозу и въ душѣ ихъ трепещетъ радость.

Тема о чести слишкомъ обширна; мы вовсе не намѣревались хотя приблизительно исчерпать ее. Много мыслей по этому поводу накопилось, но для длинныхъ трактатовъ о чести нѣтъ времени,—ограничимся же сдѣланной нами попыткой дать абрисъ того душевнаго склада, который теперь усиленно формируется и которому принадлежитъ будущее.

Есть ли душа у Японца?

Въ IV вѣкѣ соборъ высшихъ представителей христіанской церкви разсматривалъ вопросъ „есть ли душа у женщины?“ Вопросъ былъ рѣшенъ утвердительно, но... большинствомъ одного только голоса! Если бы одинъ единственный монахъ поколебался въ тѣхъ доводахъ отъ писанія, которые говорятъ за существованіе души у женщины, то мы имѣли бы въ исторіи соборное рѣшеніе самаго поразительнаго рода.

О Декартѣ разсказываютъ анекдотъ, будто бы онъ, отрицавшій, какъ извѣстно, существованіе души у животныхъ и считавшій ихъ лишь необычайно остроумными механизмами, нещадно хлесталъ своихъ собакъ и любовался тою тонкостью, съ какою эти „механизмы“ выражали свою якобы боль, на самомъ дѣлѣ, по мнѣнію философа, несуществовавшую. Весьма возможно, что половина собора и половина стоявшаго за нимъ христіанскаго міра производили похожіе эксперименты—и надъ женщинами.

Впрочемъ, христіанскіе народы, признавъ душу за животными и за женщиной, отлично памятуютъ, что у скота—скотья душа, у бабы—бабья, у жида—жидовская, у японца—макачья!

Утонченнѣйшія доктрины возникали тамъ, гдѣ хотѣли оправдать презрѣніе и жестокость въ конкурирующей ра-

сѣ. Доктрины эти находили пищу въ тѣхъ видоизмѣненіяхъ общечеловѣческаго психическаго склада, которыя проистекаютъ отъ различія соціальной судьбы тѣхъ или другихъ національностей. Доказать, что у негра или даже у еврея „душа“ въ настоящее время нѣсколько „иная“—нетрудно, и изслѣдованіе этихъ различій въ ихъ происхожденіи можетъ быть очень интереснымъ. Но всѣ теоріи расъ совершенно открыто или чуть-чуть прикровенно стремятся установить не отличіе, а несовершенство души всѣхъ, кромѣ своей, и притомъ неисцѣлимое, неизгладимое, оправдывающее призывъ защищать „культуру“ или „вѣру“ отъ черной, желтой опасности, отъ „жидовкой опасности“.

Существуетъ, конечно, градація отъ изступленнаго джинго, стремящагося, по выраженію остроумнаго писателя, „закрушеванить“ чуть не весь родъ человѣческій, и до идеалъ-націоналистовъ, пребывающихъ горѣ, созерцающихъ лицо Божіе и приносящихъ ежемѣсячно къ намъ на землю „неизреченные глаголы“. И особенно интересно указать на черты фарисейства въ сладостно-смиренныхъ физіономіяхъ рыцарей и дамъ „новаго пути“.

Въ январской книжкѣ „Вопросовъ Жизни“ подобному вопросу посвящена небольшая, но прелюбопытная статья г-жи Булгаковой, озаглавленная „Нравственный обликъ японцевъ“. Ее можно было бы озаглавить и такъ: „Нравственный обликъ сверхъ-націоналистовъ“.

Автора раздражаетъ „упорное желаніе доказать, что, въ сущности, японцы ни въ чемъ не уступаютъ европейцамъ“, присущее „японскимъ авторамъ“. Г. Булгакова взялась побѣдоносно доказать имъ, что „уступаютъ“. И уступаютъ они тѣмъ, что они „басурмане“. Христіанство имъ чуждо, и никогда свѣтъ истины не проникнетъ въ „желтое“ сердце.

Извѣстно, что на той же идеѣ „Московскія Вѣдомости“

построили красивую историко-философокую теорію слѣдующаго рода: побѣда русскаго оружія сопровождалась бы непремѣнно успѣхами въ Японіи православной миссіи: макаки убѣдились бы, что „нашъ Богъ сильнѣе“; но такъ какъ японцы грѣшники и пакостники, то Господь не восхотѣлъ просвѣтить ихъ истиной, но сдѣлалъ видъ будто „ихній богъ сильнѣе“; такимъ образомъ цѣлыя поколѣнія японцевъ попадутъ въ адъ, гдѣ будетъ скрежетъ зубовный! О, какова премудрость Божія!

Г-жа Булгакова говоритъ:

„Нововведенія и успѣхи японцевъ въ области техники, наукъ, искусства и государственнаго управленія многихъ ввели въ заблужденіе. Казалось, что за этой внѣшней эволюціей неукоснительно послѣдуетъ и обновленіе ихъ внутренняго существа.

Не можетъ быть, такимъ образомъ, сомнѣнія въ желаніи г-жи Булгаковой доказать относительную низость японской души по сравненію съ европейской.

Увы! доказательства г-жи Булгаковой могутъ убѣдить въ этомъ лишь самыхъ смиренномудрыхъ націоналистическихъ фарисеевъ. Вся статья г-жи Булгаковой доказываетъ скорѣе обратное, т.-е. что японская душа скорѣе выше европейской. О, далеко не все хорошо въ Японіи, конечно, но недостатки соціальнаго строя страны Восходящаго Солнца отнюдь не въ меньшей степени свойственны и Европѣ, и все почти отличное является или прямо и безусловно цѣннымъ, или радостнымъ залогомъ грядущихъ успѣховъ.

И это неудивительно; съ этимъ считаются представители передовой Европы, представители того, что дѣйствительно есть хорошаго въ ней и что, слава Богу, прививается и японцамъ. К. Каутскій говоритъ объ особенностяхъ „японской души“.

„Отличительная черта Японіи и корень ея силы заклю-

чается въ томъ, что для нея оказалось возможнымъ перепрыгнуть черезъ важную стадію развитія, именно декадансъ феодализма. Пусть ея феодальный строй уже клонился къ упадку, когда началось интенсивное капиталистическое равитіе,—онъ все же былъ еще очень далекъ отъ того гніенія, какое имѣло мѣсто въ Европѣ, въ 17—18 вѣкахъ. Японія имѣетъ человѣческій матеріалъ, не ослабленный и не развращенный столѣтіями разложенія феодализма и первоначальнаго накопленія капиталовъ; этотъ матеріалъ стоитъ приблизительно на высотѣ людей ренессанса и сумѣлъ сразу использовать всѣ данныя нашей техники и науки и самую развитую форму капиталистическаго производства.

Къ рыцарскому боевому духу и стремленію къ дѣятельности, къ спартанской простотѣ жизни, присоединилась вся мощь современной промышленной и военной техники и вмѣстѣ съ тѣмъ вся жажда власти и революціонное безпокойство, свойственныя капитализму".

Посмотримъ теперь на приводимыя г-жею Булгаковой доказательства относительной низости той души, которая скрывается отъ нашихъ глазъ за „внѣшней европейской полировкой".

Вотъ образчикъ, проникнутый насквозь фарисействомъ, вѣрю, безсознательнымъ:

„Намъ всѣмъ извѣстно, что въ Японіи существуетъ женское освободительное движеніе, во главѣ котораго стоитъ передовая японка, Тсуда, закончившая свое образованіе въ Америкѣ. Эта достойная личность положила основаніе обществу самопомощи, которое ставитъ своею цѣлью „не отставать отъ времени". Но можно ли изъ этого факта выводить заключеніе, что японская женщина ничѣмъ не уступаетъ европейской. Я думаю, что нѣтъ, и вотъ почему. Тамъ, вверху, ничтожная кучка интеллигентныхъ японскихъ женщинъ завоевываетъ себѣ новое положеніе въ

обществѣ, а внизу, среди бѣднаго люда, происходитъ все то же попраніе правъ женской личности. Императорскій указъ 1872 года запретилъ продавать дѣвушекъ въ дома терпимости. Но указъ остался на бумагѣ, а жизнь шла своимъ чередомъ. Содержатели домовъ терпимости ссужали бѣднымъ родителямъ деньги, а дочь закабаленныхъ родителей поступала къ такому благодѣтелю въ услуженіе. Чтобы уничтожить эту замаскированную торговлю, былъ изданъ второй указъ, въ 1900 году, обезпечивавшій свободу дѣвушкѣ въ томъ случаѣ, если долгъ выплаченъ. Слѣдовательно, въ теченіе цѣлыхъ двадцати восьми лѣтъ благодѣтельный и либеральный указъ 1872 года ничего не могъ сдѣлать съ обычаемъ, глубоко пустившимъ корни въ народной массѣ".

Итакъ, японская женщина уступаетъ европейской потому, что „внизу происходитъ попраніе женской личности".— „Благодарю Тебя, Боже, что мы не таковы, какъ эти желтолицые макаки, у которыхъ „среди бѣднаго люда" свирѣпствуетъ проституція и попираются права женщины!"

Г-жа Булгакова невинна и наивна и по истинѣ прелестна въ своей наивной невинности! Ей совершенно неизвѣстно, что „достойныя личности", подобныя ей, принадлежатъ и у насъ къ ничтожной кучкѣ; она никогда не оглядывалась по сторонамъ, она даже не заглядывала въ книги... Стоитъ оглянуться только, и вѣдь ужасъ возьметъ и будетъ не до того, чтобы „кумушекъ считать трудиться". Вдумайтесь только въ фразу, въ ужасающее обобщеніе Букоемова Карпа Ивановича, вынесенное изъ несомнѣнныхъ, подлинныхъ наблюденій жизни:

— „Бьютъ въ деревняхъ лошадей, бьютъ собакъ...— мѣрно и упрямо продолжаетъ старый Букоемовъ,—ну, однако, бабъ сильнѣе бьютъ... За бабу деньги не плочены, а жизнь— трудная, народъ—злой... А часто и такъ себѣ... для забавы людей мучаютъ"...

Или, можетъ быть, это неправда? Изъ эмпиреевъ вѣдь, пожалуй, не видно? Вотъ картины христіанскаго отношенія къ женщинѣ, т. е. отношенія къ женщинѣ христіанъ:

„Первое, это я съ дѣтства помню, лежимъ, стало быть, мы съ матерью на печи, говоритъ она мнѣ сказку, и приходитъ отецъ... сгребъ онъ мать за волосы и сдернулъ на полъ, вродѣ, какъ тулупъ сбросилъ... Билъ, билъ ее — усталъ... Ставь, говоритъ, ужинать, шкура, а она вся кровью залита и на ногахъ стоять не можетъ".

„У меня братъ жену свою, бывало, билъ... ухъ!... только косточки хрустятъ! Онъ — гусаръ, пришелъ со службы, а у нея... дитё... Какъ онъ ее хряснетъ по рожѣ!"

О! у насъ въ Европѣ, у насъ, на святой Руси, положеніе женщинъ совсѣмъ иное, чѣмъ у макакъ. Особенно „внизу, среди бѣднаго люда!"

28 лѣтъ благодѣтельный законъ Микадо не могъ пройти въ жизнь. А ну-ка, смекните-ка, г-жа Булгакова, сколько вѣковъ не можетъ пройти въ жизнь умѣренно-гуманная заповѣдь ап. Павла объ обращеніи съ женами? Очевидно „обычай избіенія бабъ" пустилъ-таки довольно глубоко корни у русскаго народа. Не поискать ли причины въ религіи Перуна и Дажьбога?

А проституція? Возьмемъ просвѣщеннѣйшія страны Европы...

Вотъ что говоритъ Бебель въ своей знаменитой книгѣ „Женщина и соціализмъ": „Существующая религія и мораль осуждаютъ проституцію, законы наказываютъ поощреніе ея, а все же государство терпитъ и охраняетъ ее. Другими словами, наше общество, гордящееся своей нравственностью, религіозностью и культурой, терпѣливо смотритъ, какъ развратъ, подобно тайному яду, разъѣдаетъ ихъ".

Г-жа Гильомъ Шакъ, „достойная личность", спрашиваетъ господъ и госпожъ моралистовъ и моралистокъ: „Къ чему

учимъ мы нашихъ сыновей уважать добродѣтель и нравственность, разъ государство объявляетъ безнравственность необходимымъ зломъ? Когда оно предлагаетъ юношѣ, какъ игрушку его страстей, женщину въ видѣ товара, штемпелеваннаго начальствомъ?"

И такихъ „игрушекъ" въ 1889 году еще (а съ тѣхъ поръ Европа прогрессировала) въ одномъ Парижѣ насчитывалось 120.000! Въ Германіи числится не менѣе 200.000 проститутокъ.

Въ Японіи проституція родъ рабства, а въ Европѣ „хозяинъ имѣетъ право не отпускать дѣвушку, пока она не заплатитъ долга; полиція всегда становится на сторону хозяевъ. Однимъ словомъ, мы имѣемъ въ центрѣ христіанской цивилизаціи рабство самаго скернаго рода".

Изъ многочисленныхъ леденящихъ кровь „случаевъ" примѣненія „рабства" врѣзался въ мою память одинъ, происшедшій, если не ошибаюсь, въ Калугѣ и, кажется, нигдѣ не опубликованный. Въ домъ терпимости попала дѣвушка. Какъ? — я не знаю, знаю лишь, что она рвалась, рыдала, звала на помощь, что ее связывали веревками. Она пустилась на хитрость: притворилась примирившейся и, выбравъ моментъ, убѣжала. Она бросилась прямо къ полицеймейстеру. Выслушавъ ее внимательно, этотъ „христіанинъ" распорядился отвесть ее съ городовымъ обратно въ домъ терпимости. Ее засадили, предварительно варварски избивъ, въ чуланъ. Тамъ дѣвушка разбила стекло на мелкіе куски и стала глотать ихъ. Отъ внутреннихъ пораненій она умерла черезъ два дня въ больницѣ.

Такихъ случаевъ цѣлое море. Отовсюду раздается вопль раздавленныхъ, истязуемыхъ женщинъ. Въ это время, рѣя въ эѳирѣ, г-жа Булгакова, подъ звуки арфъ бѣлокурыхъ серафимовъ, заявляетъ, что она „не думаетъ", чтобы жребій

нашей сестры—японки былъ столь же хорошъ, какъ жребій нашей бѣдной русской сестры!

„Мало ли что писано,—съ горькой усмѣшкой говоритъ Карпъ Ивановичъ,—а ты посмотри, что сдѣлано!“ Вы хотите видѣть, что на дѣлѣ сдѣлано въ нравственномъ отношеніи въ Японіи? Но оглянитесь же вокругъ!

Но за японцами числятся еще другія странности, которыя ясно показываютъ, какъ лгутъ „японскіе авторы“, утверждая, что они ничѣмъ не уступаютъ европейцамъ. Какъ вамъ нравится, напр., такой „гнусный обычай“:

„Нерѣдки были случаи, когда самоотверженная дочь, желая освободить родителей отъ бѣдности, позволяла продать себя въ домъ терпимости. Примѣръ такой дочери вызывалъ не порицаніе, но высшую похвалу. Она жертвовала собою ради любимыхъ родителей, и душа ея оставалась чистою, какъ хрусталь, несмотря на то, что тѣло предавалось поруганію“.

Г-жѣ Булгаковой, конечно, это совершенно непонятно. А я думалъ, что въ редакціи „Вопросовъ Жизни“ всѣ понимаютъ Достоевскаго. Вѣдь Соня-то сдѣлала буквально то же самое. Или Соня была плохая христіанка?

Мнѣ припоминается утонченный европеецъ Лоти, который пришелъ поглядѣть на взятыхъ въ плѣнъ китайскихъ дѣвушекъ, которыя шли геройски впереди послѣдователей патріотической секты Большого Лотоса. Онъ предложилъ имъ денегъ, онѣ швырнули ихъ прочь: „кто разгадаетъ эти странныя души“—задумчиво прошепталъ академикъ.

Г-жа Булгакова считаетъ несомнѣннымъ признакомъ дикости японцевъ ихъ культъ предковъ. Она что-то заикается даже о консерватизмѣ, будто бы вытекающемъ отсюда и связывающемъ японцевъ. Но, конечно, это слишкомъ уже смѣшно, такъ какъ міръ не видѣлъ болѣе стремительнаго

движенія впередъ, чѣмъ проявленное Японіей въ послѣдніе полвѣка.

Приведя очаровательную легенду о гейшѣ-отшельницѣ, свидѣтельствующую о поразительной задушевности, о силѣ чувства, нашъ авторъ умѣетъ лишь сказать, что она „устарѣла по формѣ“, и вычитать изъ нея лишь свидѣтельство о культѣ усопшихъ!

Но культъ предковъ — это благороднѣйшій культъ, связующій человѣчество воедино, и нельзя не согласиться съ Гюйо, который пишетъ въ книгѣ, посвященной ирреліигіозности будущаго, слѣдующія строки:

„Греки, самый нерелигіозный народъ древности, наилучше почитали своихъ мертвыхъ. Самая нерелигіозная столица настоящаго — Парижъ наиболѣе торжественно празднуетъ праздникъ мертвыхъ, весь народъ поднимается, чтобы почтить ихъ. Уваженіе къ умершимъ, которое соединяетъ поколѣнія, смежаетъ разбитые ряды, которое обезпечиваетъ за нами самое несомнѣнное безсмертіе, безсмертіе памяти и примѣра, отнюдь не должно уничтожиться съ паденіемъ другихъ культовъ. Праздникъ Бога будетъ, можетъ быть, забытъ; праздникъ мертвыхъ будетъ жить, пока живетъ человѣчество“.

И тутъ японская старина подаетъ руку самому новому и свѣтлому въ Европѣ черезъ голову того отсталаго, чѣмъ смиренно похваляется наша достойная защитница достоинства бѣлаго человѣка.

Не можетъ г-жа Булгакова также простить японцамъ ихъ высоко развитого чувства чести. Японская честь по формѣ своей, по крайней мѣрѣ, совпадаетъ съ тѣмъ понятіемъ чести, которое мы старались установить въ предыдущей статьѣ.

Для японца многое важнѣе жизни, не только его личное достоинство, но и благо его страны, его народа. Если бы онъ пожалѣлъ своей жизни, когда ею можно купить благо

того великаго цѣлаго, частью котораго онъ себя считаетъ, онъ бы не могъ уважать себя. Быть можетъ легкость, съ которою японецъ жертвуетъ своею жизнью, объясняется „восточнымъ равнодушіемъ къ ней?“ Сама г-жа Булгакова опровергаетъ это такими словами:

„Проповѣдь буддійскаго аскетизма съ его равнодушіемъ ко всѣмъ суетнымъ радостямъ жизни не нашла отклика въ душѣ японца, который страстно привязанъ къ своей родинѣ и обожаетъ жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ.

И все же „земная жизнь для японца ничто, если на карту поставлена его честь, исполненіе намѣченной цѣли, доказательство своей правоты“.

„Въ 1891 году одинъ лейтенантъ, желая доказать правдивость своихъ словъ относительно угрожающаго поведенія русскихъ, совершилъ надъ собой хара-кири въ одномъ изъ храмовъ Токіо, какъ разъ противъ могилъ своихъ предковъ.

Такимъ образомъ, религія японцевъ освящаетъ актъ самоубійства, если онъ совершенъ не изъ трусости, но съ цѣлью выполненія долга. Память о такихъ герояхъ долго живетъ въ народѣ и малѣйшія подробности этой церемоніи съ восхищеніемъ и благоговѣніемъ передаются изъ устъ въ уста“.

„Кто пойметъ эти чуждыя намъ души?“ — восклицаетъ академикъ Лоти. „Намъ непонятно это, — говоритъ съ снисходительной усмѣшкой наша христіанская дама, потому что наши понятія о чести и наше отношеніе къ жизни рѣзко отличаются отъ японскихъ“. — Гмъ! Японцы считаютъ смерть ради исполненія долга заслуживающей почтенія, а мы... „рѣзко отличаемся отъ нихъ въ этомъ отношеніи“.

Гюйо, на котораго я уже ссылался неоднократно, въ этомъ отношеніи судитъ нѣсколько по-японски... Вѣроятно, потому, что Гюйо былъ плохой христіанинъ. Онъ пишетъ:

„Можно оцѣнить самого себя, поставивъ передъ собою вопросъ: ради какой идеи, ради какой личности готовъ я пожертвовать жизнью? Кто не можетъ отвѣтить на этотъ вопросъ, тотъ обладаетъ пустымъ и вульгарнымъ сердцемъ; онъ не способенъ ни почувствовать, ни совершить великаго, потому что онъ не можетъ подняться выше своей личности, онъ безсиленъ, безплоденъ и волочитъ за собою свое „я“, какъ черепаха свой твердый покровъ“.

Еще одна чудовищная черта японскихъ представленій: простонародье вѣритъ тамъ въ адъ, населенный дьяволами, „которые мучатъ не только провинившихся людей, но и души невинныхъ людей“. Извините меня, г-жа Булгакова, но это вполнѣ христіанское вѣрованіе: все русское простонародье твердо вѣритъ, что душа некрещенаго младенца отправляется въ адъ, не менѣе, конечно, ужасный чѣмъ японскій.

Но оставимъ и суевѣрія,—будущее ихъ внушаетъ намъ живѣйшее опасеніе.

„Христіанская мораль со своими великими заповѣдями всепрощенія, милосердія, смиренія чужда японцу. Не можетъ быть смиренія тамъ, гдѣ на первомъ мѣстѣ стоитъ мысль о сохраненіи своей чести, объ отмщеніи своему врагу“.

Заодно съ японцами осуждено, такимъ образомъ, и все русское христолюбивое воинство, въ которомъ за „всепрощеніе“ офицеровъ гоняютъ изъ полка.

„Поколебленный въ убѣжденіи относительно божественнаго происхожденія своей несравненной Ямато, японецъ легче можетъ сдѣлаться атеистомъ, чѣмъ христіаниномъ“.

Какъ тяжело это слышать, не правда ли, читатель?

Но курьезнѣе всего, что въ Европѣ имѣются весьма и весьма просвѣщенные публицисты, которые подвергаютъ сомнѣнію достоинство нашей русской души. Напримѣръ, въ одной передовицѣ радикальной газеты „Secolo“ развива-

лась пресмѣшная мысль такого свойства: „Русско-японская война есть борьба Европы и Азіи, но изумительно въ ней именно то, что встрѣтились единственные европейцы Азіи съ азіатами Европы: сраженіе при Цусимѣ есть побѣда европейскихъ началъ надъ азіатскими".

Ну, подумайте! Вѣдь, этакая чушь! Развѣ мы не христіане? японцы—не буддисты?

Подобныя нелѣпыя представленія болѣе всего питаются утвержденіями высокопоставленныхъ лицъ. Такъ, нашъ уполномоченный Сергѣй Юльевичъ Витте, во время своего проѣзда черезъ Европу, убѣдительно просилъ журналистовъ не забывать, что Россія совсѣмъ не похожа на остальныя государства Европы, что судить о будущемъ ея по прошлому Европы—значитъ осуждать себя на горестныя заблужденія.

Сколько у насъ писали о томъ, что храбрость японцевъ объясняется ихъ религіей, ихъ вѣрой въ безсмертіе души и фатализмомъ. А теперь потрудитесь прочесть, что за дикія вещи пишетъ такой талантливый и тонкій наблюдатель войны, какъ корреспондентъ „Corriere della Sera"—Барзини:

„Подъ страшнымъ градомъ шрапнели русскіе отступали. Каждую минуту ждали, что колонна бросится вразсыпную. Нѣтъ. Русскіе позволяли убивать себя. Японцы не сдѣлали бы такъ; они — герои, но безъ толку они жизни не бросаютъ: они сохраняютъ ее для важнаго момента. Но у русскихъ я уже много разъ наблюдалъ какое-то великолѣпное и фатальное равнодушіе: они не бѣгутъ ни отъ смерти, ни отъ пораженія. Ничего! если пролетѣла шрапнель—значитъ, такова воля Божія. Можно ли спорить съ волей Божьею—это даже грѣхъ. Неужто жизнь не стоитъ рая? Развѣ міръ не краткое и мучительное испытаніе? Блаженъ тотъ, кого небо призываетъ; онъ освобождается отъ зла; его больше не будутъ гнести униженія, несправедли-

вости, нищета, голодъ и утомленіе. Зачѣмъ жить, работать, воевать, убивать, повиноваться? Кто распорядился такъ? Кто знаетъ! Начальство знаетъ. Все темно въ жизни. Таковы русскіе, такими ихъ сдѣлали. Все запрещено имъ. Дѣйствовать, желать, мыслить—запрещено! И что дано въ награду? Небо! Напрасно же будете вы призывать этого человѣка на полѣ битвы къ иниціативѣ, рѣшимости, активной сообразительности. Они умрутъ—и только. Хотѣли, чтобы народъ былъ невѣжественъ и инертенъ—онъ сталъ такимъ. Война нынѣшняя не пораженіе Россіи, а пораженіе системы, пораженіе самодержавія, искалѣчившаго даровитый русскій народъ.

Теперь еще прислушаемся къ тому, что говорятъ о нашей душѣ представители передового класса Европы.

Послѣ недавняго, много нашумѣвшаго событія на югѣ Россіи „Вѣнская Рабочая Газета“ писала:

„Сегодня дерзкая отвага, рѣшающаяся на отчаянный почти поступокъ, завтра—трусливая печальная сдача. Вотъ она широкая русская душа! вотъ славянская неустойчивость, то встающая на дыбы, то засыпающая въ жалкой слабости; вотъ то колебаніе настроеній, съ которыми знакомятъ насъ глубокіе русскіе романы и которые такъ чужды намъ, западнымъ европейцамъ, при встрѣчѣ въ жизни“. Эта тирада нашла достойный отпоръ въ „Neue Zeit“ со стороны Каутскаго:

„Всѣ эти замѣчанія о русской и славянской душѣ, — говоритъ Каутскій,—пустяки, почерпнутые изъ мнимо-глубокой беллетристики, будто бы открывающей намъ сущность русской народной психики. Кто изучалъ русскій народъ въ его исторіи, того поражаетъ не славянская неустойчивость, а выносливость и упорство. Эти черты констатировали въ русскомъ солдатѣ и Фридрихъ Великій и Наполеонъ. Но и эти черты не составляютъ мистической особенности русской души, а являются результатомъ экономическаго

состоянія народа. Земледѣліе, царящее повсюду въ Россіи, порождаетъ тяжеловатыхъ, но упрямыхъ и стойкихъ людей.

„Вѣчныя колебанія и смѣна настроеній свойственны не мужику, а людямъ нервныхъ профессій. Ихъ чаще можно найти въ редакціяхъ иныхъ европейскихъ газетъ, чѣмъ въ „широкой русской душѣ".

„Конечно, и у русскихъ есть классъ интеллигенціи, и у нея эти черты усилены ея историческою ситуаціей. Передъ ними, какъ передъ Гамлетомъ, долго стояла задача, превосходящая ихъ силы... Европейцы составляютъ себѣ представленіе о русскихъ по живущимъ за границей интеллигентамъ. Такіе же интеллигенты писали и тѣ романы, въ которыхъ русскій народъ то возвеличивается до небесъ, то третируется, какъ тупое, безнадежное животное. Но событія послѣдняго времени свидѣтельствуютъ объ огромной энергіи и настойчивости русскаго народа".

Да, несомнѣнно, только поменьше самодовольства,—того самодовольства, которымъ проникнуты и наши „передовые идеалисты", вродѣ супруговъ Булгаковыхъ и плеяды ихъ сотрудниковъ,—самодовольства, которое такъ прекрасно изобразилъ, устами царевича Алексѣя, Мережковскій.

„Мудры вы, — говоритъ Алексѣй, — сильны, честны и славны. Все у васъ есть. А Христа нѣтъ. Да и на что вамъ?.. Сами себя спасаете... Мы уже глупы, нищи, наги, пьяны, смрадны, хуже варваровъ, хуже скотовъ и всегда погибаемъ. А Христосъ, батюшка, съ нами есть и будетъ во вѣки вѣковъ... Имъ, Свѣтомъ, спасаемся".

Впрочемъ, что же я! Фарисейство Алексѣя все же выше фарисейства г-жи Булгаковой. Если Алексѣй и предполагаетъ, что можно спастись Христомъ, безобразно проводя свою жизнь, то онъ, по крайней мѣрѣ, безобразіе это видитъ, а г-жа Булгакова безобразіе замалчиваетъ и просто благодаритъ Бога за то, что не такова, какъ желтый мытарь.

Діалогъ объ искусствѣ.

ВВЕДЕНІЕ.

На дняхъ Каутскій, полемизируя съ центральнымъ органомъ германской соціалдемократіи, Vorwärts'омъ, посвятилъ нѣсколько интереснѣйшихъ страницъ характеристикѣ научнаго марксизма и марксизма этико-эстетическаго. Считаемъ полезнымъ болѣе или менѣе полно ознакомить читателей съ мыслями высокоталантливаго нѣмецкаго публициста по этому вопросу. Приводимъ поэтому цѣликомъ наиболѣе важныя страницы.

„Въ первые годы по отмѣнѣ закона противъ соціалистовъ въ Vorwärts'ѣ господствовало научно-экономическое направленіе. Его политику направляли люди, чувствовавшіе себя, какъ дома, въ области національной экономіи и исторіи хозяйства, питавшіе великій интересъ къ связи политики съ экономикой и умѣвшіе освѣтить эту связь съ глубокимъ пониманіемъ. Главной задачей казалось имъ схватить и изобразить эту взаимозависимость, объяснить ее читателямъ Мышленіе ихъ было по преимуществу научнымъ, потому что мыслить научно для соціалдемократа, да и вообще для современнаго политика, значитъ мыслить историко-экономически.

„Теперь въ Vorwärts'ѣ преобладаетъ мышленіе этико-эстетическое. Дѣло идетъ теперь не столько о томъ, чтобы понять, какъ о томъ, чтобы оцѣнить. Задачею является вызвать возможно болѣе сильную этическую или эстетическую эмоцію, внушить читателю отвращеніе къ господствующимъ порядкамъ; это соціализмъ чувства не въ томъ смыслѣ, чтобы представители его были лишены научнаго образованія, или чтобы научные интересы были имъ чужды, а въ томъ смыслѣ, что центръ тяжести перенесенъ у нихъ съ научнаго объясненія фактовъ на возбужденіе чувства.

„Я не хочу пускаться въ философскую экскурсію о научномъ и этико-эстетическомъ мышленіи *), я хочу лишь указать на практическія разногласія, порождаемыя ими. Тамъ, гдѣ научное мышленіе не доминируетъ и не указываетъ этико-эстетическимъ факторамъ ихъ задачи и направленіе,—неизбѣжно возникаютъ конфликты.

„Уже въ оцѣнкѣ значенія повседневныхъ фактовъ проявляется разница обоихъ направленій. Что въ высшей мѣрѣ привлекаетъ и интересуетъ однихъ, другимъ кажется лишеннымъ значенія или, по крайней мѣрѣ, маловажнымъ.

„Вѣдь не всегда то, что производитъ наиболѣе сильное мгновенное дѣйствіе на чувство, является вмѣстѣ съ тѣмъ обстоятельствомъ, имѣющимъ глубокое и дѣятельное вліяніе на общественную и государственную жизнь.

„События и вопросы, которые оказываютъ наиболѣе могучее и прочное воздѣйствіе на ходъ развитія общества, часто обладаютъ невзрачной внѣшностью, ихъ иногда трудно замѣтить, а понять можно лишь путемъ сложной умственной работы, имѣющей мало общаго съ моральными порывами. Тирады противъ жестокаго ростовщика, сосущаго соки изъ должниковъ, дѣйствуютъ непосредственно сильнѣе, чѣмъ

*) Каутскій сдѣлалъ это отчасти въ настоящее время въ своемъ сочиненіи „Этика и экономическій матеріализмъ“.

теорія капитала. Самые эффектные въ смыслѣ чувства явленія и вопросы лежатъ какъ разъ на поверхности. Поэтому этически настроенный читатель всегда склоненъ къ поверхностности, къ сенсаціонному, которое онъ считаетъ политически наиважнѣйшимъ; такой читатель будетъ всегда отрицательно относиться къ научному углубленію въ сущность явленій.

„Помимо того, перевѣсъ этико-эстетическаго интереса приводитъ политическаго читателя не только къ поверхностной погонѣ за сенсаціей и нелюбви къ изслѣдованію глубоколежащихъ корней явленій (что не препятствуетъ такимъ читателямъ съ величайшимъ уваженіемъ говорить о наукѣ и просвѣщеніи), онъ приводитъ его къ отношенію, прямо враждебному къ глубокимъ изслѣдованіямъ.

„Нѣтъ ничего легче, какъ этически объединить людей, вызвать въ нихъ моральное негодованіе по отношенію къ тому или другому особо возмутительному факту. Обыкновенно, такіе факты очень просты и не трудно такъ или иначе согласить всѣхъ на одномъ сужденіи. Нетрудно было, напримѣръ, вызвать негодованіе всего цивилизованнаго міра противъ зачинщиковъ Кишиневскаго погрома. И Vorwärts мечтаетъ, что ему удастся создать, такимъ путемъ, столь значительное единство общественнаго мнѣнія, что лишь „незначительный процентъ“ населенія будетъ противъ, а изолированность этой горсти „осудитъ ее на безсиліе“.

„Но если мы не остановимся на простой оцѣнкѣ, если мы захотимъ понять явленіе, если мы будемъ разсматривать отвратительные факты современности не изолированно, а въ связи съ цѣлымъ, если мы захотимъ познать ихъ причины и возможность и способы борьбы съ ними, мы натолкнемся на крайне сложные вопросы, на которые получимъ самые различные отвѣты въ зависимости отъ воспитанія и классового положенія отвѣчающихъ.

„Возьмемъ для примѣра тотъ же Кишиневскій погромъ.

Само собою понятно, что всякій возмущается имъ. Но какъ только вы поставите вопросъ: какова причина его? каковъ методъ борьбы съ подобными явленіями?—начинаются разногласія. Въ какой связи стоитъ это ужасное событіе съ соціально-политическими условіями Россіи и міра? Должны ли мы стремиться къ ассимиляціи евреевъ или къ свободной организаціи ихъ въ обособленную національность? И если послѣднее: должны ли мы стремиться къ свободѣ еврейской національности въ Россіи или къ образованію ею особаго государства?

„Итакъ, этико-эстетическая оцѣнка приводитъ легко къ единству, научно-экономическая къ разногласіямъ и борьбѣ даже среди близкихъ другъ къ другу элементовъ. Очевидно, что первый методъ находитъ во второмъ препятствіе и помѣху, бросаетъ ему упрекъ въ возбужденіи напрасныхъ разногласій и желаетъ послать къ чорту все, что нарушаетъ моральное единеніе, котораго онъ достигъ, или воображаетъ, будто достигъ.

„Но подобные упреки неосновательны. Наши противники могутъ быть доведены до безсилія лишь единствомъ дѣйствія, а отнюдь не единствомъ моральнаго негодованія и общественнаго мнѣнія. Вернемся къ нашему примѣру. По отношенію къ Кишиневскому погрому моральное негодованіе раздѣлялось всѣми. Что же? Обезсилѣли ли отъ этого тѣ злыя силы, которыя были причиной катастрофы? Ничего подобнаго! Волосъ не дрогнулъ на головѣ виновниковъ; финансовое іудейство попрежнему съ готовностью открывало имъ свой кредитъ!

„Но и тамъ, гдѣ нравственное негодованіе приводитъ къ дѣйствію, оно отнюдь не гарантируетъ еще его единства. Негодованіе говоритъ лишь о томъ, что чего-то не хотятъ, что что-то осуждаютъ, но оно не говоритъ ничего, какъ устранить это осужденное и чѣмъ замѣнить его. И на этой почвѣ возникаетъ тѣмъ больше разногласій, чѣмъ меньше

теоретическихъ дискуссій предшествовало, чѣмъ менѣе свѣту пролито ими на вопросъ.

„Преобладаніе чувства въ партійномъ журналѣ приводитъ, однако, еще къ одному явленію. Всѣ люди въ среднемъ одинаково нравственны, одинаково склонны осуждать ужасы, изъ которыхъ не извлекаютъ никакой выгоды. Vorwärts правъ поэтому, надѣясь объединить по подобнымъ вопросамъ большинство общества. Но доказываетъ ли это возможность завоевать это большинство для соціалдемократіи? Нѣтъ, это доказываетъ лишь, что нравственное негодованіе не есть отличительный признакъ соціалиста; что въ этомъ отношеніи онъ отличается отъ остальной массы населенія, развѣ лишь интенсивностью своихъ чувствъ. Но что отличаетъ его отъ адептовъ другихъ партій и отъ людей индифферентныхъ, такъ это его экономическая точка зрѣнія на связь отдѣльныхъ ужасовъ съ самою сущностью современнаго строя, его пониманіе, что устранить ихъ можно, лишь устранивъ устои современнаго общества.

„Этико-эстетики, не ослабляя своего соціалистическаго способа чувствовать и мыслить, не ища никакихъ компромиссовъ,—говорю это въ избѣжаніе недоразумѣній,—слишкомъ часто, однако, упускаютъ изъ виду специфически-соціалистическое“.

Приведенныя мысли Каутскаго мы считаемъ глубоко-вѣрными. Мы считаемъ недопустимымъ преобладаніе этико-эстетическаго мышленія въ литературѣ, защищающей интересы трудящагося класса. Слѣдуетъ ли изъ этого, что марксисты отрицаютъ этику и эстетику?

Оговорюсь тутъ, что пишущій эти строки лично считаетъ этическую оцѣнку лишь разновидностью эстетической, но это ничуть не мѣняетъ дѣла.

Послушаемъ, что говоритъ объ этомъ Каутскій въ той же статьѣ:

„Я отнюдь не думаю утверждать, что этико-эстетика

должна быть чужда нашей борьбѣ. Въ политической экономіи этикѣ, конечно, нѣтъ мѣста, нѣтъ ей мѣста и въ основанномъ на политической экономіи научномъ соціализмѣ. Онъ изслѣдуетъ взаимную связь явленій. Если онъ дѣлаетъ выводы относительно будущаго, то они такъ же мало общаго имѣютъ съ этикой, какъ выводы, дѣлаемые гигіеной изъ научныхъ данныхъ. Но научный соціализмъ—это лишь одна сторона соціалдемократіи: она представляетъ изъ себя единство теоріи и дѣятельности, науки и борьбы. Насколько мало мѣста для этики и эстетики въ научномъ изслѣдованіи, настолько же важны они въ борьбѣ пролетаріата. Можетъ ли классъ обходиться безъ преданности и энтузіазма своихъ борцовъ? Особенно же такой классъ, какъ пролетаріатъ, который противопоставляетъ экономической и политической мощи противниковъ лишь свое единство? Но и чисто-эстетическій элементъ можетъ играть огромную роль въ классовой борьбѣ. Политика и искусство, въ особенности поэзія, имѣютъ множество точекъ соприкосновенія; и политика и искусство стараются какъ можно сильнѣе потрясти и поднять человѣка, и политика и искусство должны стремиться къ тому, чтобы какъ можно глубже постичь и исчерпать человѣческую душу. Чистѣйшая неправда, будто „политическая пѣсня всегда плохая пѣсня“,—политика и искусство могутъ многообразно оплодотворять другъ друга, политика можетъ давать художнику возвышеннѣйшій матеріалъ, самые страстные импульсы, искусство же можетъ въ огромной мѣрѣ укрѣплять силы политическаго борца“.

Такъ говоритъ глубокій и серьезный нѣмецкій публицистъ. Не нужно другихъ оправданій для наличности литературно и художественно-критическаго, какъ и для беллетристическаго направленія въ литературѣ, отстаивающей интересы рабочаго класса.

Но если преобладаніе эстетической точки зрѣнія недопустимо въ чисто-политическихъ и научно-философскихъ трактатахъ, то въ отдѣлѣ художественно-критическомъ научный, историко-экономическій методъ не только не долженъ быть, въ свою очередь, ограниченъ, но долженъ занимать мѣсто, по меньшей мѣрѣ, на ряду съ оцѣнкой непосредственно эстетической (или такъ называемой этической).

Здѣсь, однако, и тотъ второй способъ мыслить и чувствовать допустимъ и необходимъ.

Мнѣ уже неоднократно приходилось дѣлать опыты изложенія моихъ воззрѣній на искусство. Но уже давно во мнѣ созрѣла увѣренность, что самою подходящею для этого формою является діалогъ. Діалогъ даетъ возможность объективно изложить рядъ мнѣній, взаимно подымающихъ и дополняющихъ одно другое, построить лѣстницу воззрѣній и подвести къ законченной идеѣ. Взявъ на себя смѣлость идти по стопамъ мастеровъ діалога, я послѣдовалъ ихъ примѣру и въ томъ, что по мѣрѣ силъ постарался сдѣлать собесѣдниковъ живыми людьми, окружить ихъ живою атмосферой. Выбирая для этого подробности и эпизоды, я отнюдь не преслѣдовалъ цѣли „оживить“ разговоръ, а хотѣлъ ближе охарактеризовать лица и мнѣнія; къ этому направлена въ діалогѣ всякая мелочь.

Форма діалога непривычна для читателя; не безъ тревоги, поэтому, облекъ я въ нее свои идеи объ искусствѣ. Но если бы форма эта снискала одобреніе моихъ читателей, я охотно пользовался бы ею для развитія нѣкоторыхъ сложныхъ идей, принимающихъ въ своемъ ростѣ рядъ формъ, встрѣчающихъ рядъ разнообразныхъ препятствій.

ДІАЛОГЪ.

Большая комната была полна табачнымъ дымомъ и громкимъ говоромъ; вокругъ нѣсколькихъ столовъ, уставленныхъ болѣе или менѣе демократической закуской, толпилось и сидѣло десятка два молодыхъ людей; публика довольно разношерстая, но въ большинствѣ имѣвшая прямое или косвенное отношеніе къ искусству. Самъ хозяинъ комнаты имѣлъ къ нему прямое отношеніе, ибо былъ живописцемъ, его жена Елена Дмитріевна—косвенное, какъ жена живописца и страстная эстетка.

Въ ту минуту, которую я выбираю, чтобы ввести васъ въ разговоръ, шумъ въ комнатѣ достигъ высшей степени, прямо стонъ стоялъ, и хозяйкѣ пришлось пустить въ ходъ всю силу своего свѣжаго, звонкаго голоса, чтобы ее услышали.

— Господа,—кричала она,—это невозможно! Сошлись все спорщики отчаянные, съ убѣжденіями и взглядами самыми разнообразными и орутъ! ни другъ друга не слышатъ, ни себя самихъ, кажется.—Спорящіе разсмѣялись.—А между тѣмъ я вижу тутъ такую компанію, которая могла бы устроить интереснѣйшій турниръ, и другъ съ другомъ познакомиться, и маленькихъ людей, вродѣ меня грѣшной, поучить. Будемъ сегодня, господа-товарищи, европейцами: давайте говорить попорядку, и я предлагаю себя въ предсѣдательницы.

Добрая половина присутствующихъ зааплодировала, другіе, какъ разъ спорщики-то, улыбались сдержанно.

— Par acclamation, par acclamation,—кричалъ безусый молодой человѣкъ, влюбленными глазами глядя на красивое, раскраснѣвшееся лицо кандидата въ предсѣдатели.

— И, такъ какъ,—продолжала Елена,—Акиноъ Ѳомичъ волнуется больше всѣхъ, то ему я даю голосъ первому.

Молодой человѣкъ въ тужуркѣ верблюжьяго цвѣта, съ копной пыльныхъ волосъ на головѣ и нервнымъ желтымъ лицомъ, недружелюбно глянулъ на хозяйку и, комкая и туша папиросу въ пепельницѣ, произнесъ:

— Волнуюсь? съ чего вы взяли... Что мнѣ Гекуба!

— Не злитесь, не злитесь, маленькій холерикъ... Вы имѣете слово...

— Какое тамъ слово?.. Я никакихъ рѣчей произносить не намѣренъ...—кривя ротъ, отрѣзалъ Акиноъ Ѳомичъ,— я выскажусь очень кратко... Въ искусствѣ я не бельмеса не смыслю и не желаю смыслить...

— А это стыдно!—пылко произнесъ безусый юноша.

Акиноъ Ѳомичъ глянулъ на него презрительно.

— У меня есть одинъ знакомый... такъ поросенокъ... маменькинъ сынокъ. Встрѣтилъ я его на Невскомъ, а онъ дышетъ на меня дымомъ и пристаетъ: „чувствуешь, что я курю, чувствуешь?“ Я говорю: „табакъ“.—„Да впрочемъ,— говоритъ,—развѣ ты смыслишь что-нибудь въ сигарахъ? А это, братъ, стыдно“. Я говорю:—„Дуракъ“, говорю. И Акиноъ Ѳомичъ сталъ побѣдоносно закуривать сдѣланную во время разсказа папироску.

Пылкій юноша хотѣлъ воспламениться, но строгій взглядъ предсѣдателя усадилъ его на стулъ.

— Въ искусствѣ я не смыслю,—продолжалъ Акиноъ, держа въ зубахъ задорно поднятую папироску,—и смыслить не желаю... Разъ у людей избытокъ времени, потому что имъ нѣтъ нужды работать, то они скучаютъ. Скука—мать развлеченій, а искусство—развлеченіе. Какъ все, такъ и развлеченіе спеціализируется, и появляются спеціалисты-развлекатели: буффоны и шуты всѣхъ разновидностей. Они пріобрѣтаютъ разные навыки и забавляютъ праздныхъ и скучающихъ. И въ украшенномъ лентами и орденами профессорѣ академіи я узнаю пестраго шута. Человѣкъ, сдѣлавшій своею спеціальностью забаву другихъ, въ моихъ

глазахъ низменный человѣкъ. Мнѣ кажется, что не только я, плебей, но и господа всадники и сенаторы, не только въ древнемъ мірѣ, но и теперь всегда немножко презираютъ мимовъ, флейтистовъ и другихъ „мастеровъ потѣшнаго дѣла“. Мастеровой дорвется до праздника, вылакаетъ штофъ, идетъ растерзанный и оретъ пѣсню—развлекается. Купецъ вылакаетъ дюжину шампанскаго, перебьетъ въ первокласснонъ ресторанѣ зеркала и морды половымъ—развлекается. Другіе не такъ шумно, болѣе тонко, но все то же, отъ скуки тягостнаго труда или тягостнаго бездѣлья. То, что общество тратитъ чортову уймищу денегъ на театры, музеи и пр. и пр., показываетъ, что въ немъ пропасть богатыхъ тунеядцевъ. Это одинъ изъ позорныхъ симптомомъ позорнаго распредѣленія благъ въ обществѣ.

Акинѳъ остановился и, сопя отъ негодованія, сталъ крутить новую папиросу.

— Вы кончили?—спросила Елена.

— Нѣтъ не кончилъ,—сказалъ Акинѳъ сердито.—Ну, добро... — продолжалъ онъ закуривая папиросу. — Развлекайтесь и тратьте то, что вамъ дано чужимъ трудомъ. А вы, „потѣшныхъ дѣлъ мастера“, развлекайте. Такъ нѣтъ! Каждому грибу хочется въ своихъ глазахъ быть пальмой. Сидѣлъ вотъ я въ тюрьмѣ и въ окно постоянно слышалъ разговоръ моихъ уголовныхъ сосѣдей. Проповѣдывалъ тамъ все время старикъ, какой-то сектантъ, чудакъ: „вы,—говоритъ,—воры, грѣхъ это!“ Одинъ отвѣчаетъ:—„А ты думаешь, воръ не нуженъ? И воръ, братъ, нуженъ, тоже безъ вора-то не очень“.—„А на что жъ вора надо?“—Стало быть надо... виданное ли дѣло, чтобы безъ воровъ?.. Надо кому-нибудь и воровать.—Настоящей теоріи тутъ не было, но чувствовалась жажда теоріи, которая бы оправдала и возвеличила вора. И безъ теоріи онъ тономъ глубочайшаго убѣжденія утверждалъ, что надо кому-нибудь воровать. Ну, а у „потѣшныхъ“ теорій черезъ край. Наибольше невинная—

теорія служенія искусству. Жонглируетъ тарелками и говоритъ: „жонглерство есть искусство священное, и я ему всей душой служу". Помню разъ при мнѣ квартальный съ клоуномъ поссорился насчетъ билліарда: „Шутъ, говоритъ, полосатый!" А клоунъ ему: „Господинъ квартальный, клоунъ тоже артистъ". А я скажу: артистъ тоже клоунъ...

Въ комнатѣ раздался шумъ и возгласы негодованія.

— Вы его не злите,—густымъ и медленнымъ басомъ сказалъ высокій рыжій господинъ въ сюртукѣ,—а то онъ вамъ еще и не такого напарадокситъ.

— Ежели Еленѣ Дмитріевнѣ угодно предсѣдательствовать, то пусть хранитъ порядокъ и молчаніе,—желчно заговорилъ Акиноъ:—хотя я того мнѣнія, что охрана порядка не... не женское дѣло!

— Не бабье, Акиноъ?—спросилъ басъ.

Елена Дмитріевна расхохоталась своимъ серебряннымъ смѣхомъ и сказала:

— Ну, дальше, дальше, маленькій холерикъ, вы!

— Маленькая холера!—добродушно пустилъ басъ при общемъ смѣхѣ.

— Я могу продолжать, или не могу?—вызывающе спросилъ ораторъ.

— Да, я же десять разъ васъ просила продолжать.

— А если художественная сія публика не желаетъ слушать, съ превеликимъ удовольствіемъ могу кончить... Пусть тянутъ эстетическую канитель... — И помолчавъ минуту, Акиноъ продолжалъ:—Это наиболѣе невинно, ежели танцовщица, оперный горлодеръ или изобразитель солнечныхъ бликовъ на зеленой крышѣ, служа искусству разнообразно развлекать, считаетъ это искусство самодовлѣющимъ и въ себѣ цѣлью. Почему же бѣдному клоуну не думать, что онъ артистъ, а разъ артистъ, то и нѣчто важное, ибо надо кому-нибудь, непремѣнно надо кому-нибудь и артистомъ быть. Но мало имъ! Мы, говорятъ, милость къ падшимъ

призываемъ! мы раскрываемъ неправду жизни, пролизаемъ свѣтъ, учимъ любви! А, чортъ раздери! врете-съ... Положительно врете-съ, хотя иные изъ васъ и безсознательно. Толстому брюху и тоненькимъ нервамъ надо разнообразія! Раздушенная дама хочетъ видѣть воочію, какъ бунтуютъ съ голоду ткачи съ ввалившимися глазами, имъ хочется ультранатурализма, міазмовъ со „дна“! И они поговорятъ, даже иной разъ поплачутъ. О бѣдныя братья наши ткачи! уронимъ „на дно“ слезу и гривенникъ милостыни. Это милости призываютъ! Дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ говоритъ: „поэтъ доказалъ намъ, что и въ рубищѣ почтенна добродѣтель“. А дама просто пріятная отвѣчаетъ: „въ сущности мы всѣ братья“. Я вотъ репетировалъ идіотика у одной дамы, впрочемъ, во всѣхъ отношеніяхъ непріятной, такъ она приходитъ ко мнѣ отдать 10 рублей за 15 часовъ каторги съ ея болванчикомъ, и говоритъ: „ахъ, молодой человѣкъ... читаю Горькаго... Ахъ, эти босяки! это— новый міръ... Что значитъ искусство: вѣдь вотъ не заговорила же бы я съ босякомъ, потому что страшно, и, благодаря Горькому, для меня открыта эта глубоко интересная душа. Онъ меня поразилъ... Мнѣ даже снилось, будто я Мальва, и будто бы все вокругъ босяки, босяки, влюбленные, свирѣпые, цѣльные, натуры богатыя такія...“ Я ей-ей не преувеличиваю. Тогда разозлился я, а теперь смѣшно. Потомъ вотъ еще, бичуютъ они современное общество. Онъ то, Зола-то какой-нибудь, можетъ быть и отъ души хлещетъ, но какъ же онъ не поймете, что значитъ эта порка богатымъ—пріятна!—иначе какъ бы это онъ за нее, за многотомную и многообразную порку буржуазіи, милліоны гонорара получилъ? Не углекопы же вѣдь въ самомъ дѣлѣ на сотни тысячъ желтенькихъ книжечекъ по 3 съ полтиной франка раскупаютъ? И какъ я вспомню этихъ художественныхъ бичевальщиковъ мамоны, такъ вспомню и того генерала, который крестьянскимъ дѣвкамъ по имперіалу пла-

тилъ за то, чтобы они его выдрали.—Акинѳъ побѣдоносно сдѣлалъ паузу и продолжалъ: — Вся граждански-художественная канитель—вздоръ, читаютъ ее тѣ, кого она все равно ни на что не подвигнетъ, а тѣ, кто можетъ горю помочь, сами отъ него страждующіе и не читаютъ, да и не нуждается Ванька-пустоѣдъ, чтобы баринъ-писатель ему объяснилъ, что онъ дюже голоденъ. А отчего голоденъ? Это объяснять надо простецки. И какъ оглянешься вокругъ, то и видишь, что не время бряцать, а надо въ набатъ бить, а чтобы бить въ набатъ, не надо быть художникомъ! Пожалуй, что я и кончилъ.

Начавшійся было шумъ былъ сразу же прекращенъ энергичными мѣрами Елены Дмитріевны.

— Нѣтъ, нѣтъ, господа, не надо возобновлять хаосъ. Сдѣлайте милость, имѣйте терпѣніе. Я думаю Борисъ Борисовичъ имѣетъ многое возразить нашему вандалу.

— Предсѣдатель не достаточно безпристрастенъ,—сказала съ улыбкой высокая пожилая женщина со стриженными волосами и худымъ лицомъ, немного восточнаго типа.

Между тѣмъ Борисъ Борисовичъ, медленно и задумчиво потирая руки, подошелъ къ освѣщенному лампой столу. Это былъ человѣкъ очень небольшого роста, съ красивымъ, но нѣсколько мелкимъ лицомъ, обрамленнымъ прекрасными черными кудрями и бородкой, какъ у Спасителя на иконахъ. Впрочемъ, очки и острые, быстрые глаза лишали его всякаго сходства со Спасителемъ. Говорилъ онъ нѣсколько торопливо и чуть-чуть заикаясь, но эти недостатки были замѣтны лишь въ началѣ, по мѣрѣ того, какъ быстрая рѣчь его разгорячалась, онъ овладѣвалъ общимъ вниманіемъ и началъ волновать, какъ настоящій опытный ораторъ.

— Акинѳъ былъ одностороненъ. Намъ какъ-то раньше не приходилось съ тобою, Акинѳъ, объ этомъ говорить,—началъ Борисъ Борисовичъ, глядя на нахохлившагося юношу: —мы съ Акинѳомъ почти во всемъ сходимся, но по этому

вопросу, кажется, мы почти антиподы. Боюсь отнять у васъ, господа, слишкомъ много времени, иначе я...

— Времени у насъ много, потому что еще только половина десятаго,—перебила его Елена:—говорите со всяческой подробностью, всѣ будутъ только рады.

— Я думаю, что искусство и въ происхожденіи своемъ и въ развитіи двояко, хотя два искусства, о которыхъ я говорю, переплетались... Первый корень искусства—игра. Если бы даже игра, развлеченіе, потѣха, какъ говорилъ Акинѳъ, была только препровожденіемъ времени и лѣкарствомъ отъ скуки, то и тогда это была бы почтенная вещь. Лѣкарство вещь почтенная, хотя болѣзнь вещь непріятная. Разъ есть недугъ—необходимо и врачеваніе. Скука тоже недугъ и на врачей отъ скуки такъ же мало законно распространять непріятный оттѣнокъ, свойственный ей, какъ и на врачей въ собственномъ смыслѣ слова. Акинѳъ хочетъ сказать мнѣ, что „болѣзнь вещь фатальная, а скука болѣзнь праздныхъ".. Акинѳъ утвердительно качнулъ головой,—„но это, очевидно, не вѣрно: пѣсню и пляску, расписанную посуду и вышитую или ярко окрашенную одежду найдешь и среди самаго трудового люда. Да и самъ Акинѳъ помнится сказалъ, что развлеченіе нужно также и отъ тяжкаго труда. Такъ что, если бы исусство имѣло цѣлью лишь развлекать отъ скуки, или отъ тягости труда, то и тогда оно было бы вещью почтенной. Но искусство-игра имѣетъ не одно это значеніе. Щенокъ играетъ въ охоту не потому, что скучаетъ или много трудился: онъ раститъ свои члены, онъ расходуетъ ихъ энергію, чтобы упражненіемъ ихъ, свободнымъ упражненіемъ, способствовать ихъ росту и гибкости. И что дѣлаетъ щенокъ, то дѣлало юное человѣчество. И теперь дѣлаетъ: упражняетъ тѣло и душу. Искусство и всякая благородная игра—все это спортъ-гимнастика, въ высшемъ смыслѣ слова. Жизнь, дѣйствительность, съ ея раздѣленіемъ труда и разными необходи-

мостями сдѣлала бы человѣка весьма одностороннимъ и въ немъ замерло бы многое, что въ томъ или другомъ случаѣ ему очень можетъ понадобиться. Дикія племена буквально играютъ въ войну въ мирное время и такимъ образомъ упражняются. Искусство заставляетъ въ насъ жить и функціонировать такіе колесики психики и тѣла, которые заржавѣли бы отъ бездѣлья иначе, такъ какъ дѣйствительность будней къ нимъ не прикасается, до нихъ не доходитъ. Пожалуй, что нынѣшнее искусство, не ясно понимая эту задачу, не вполнѣ ее и выполняетъ. Но идея искусства-игры, какъ мнѣ кажется, именно такова, и идея эта важная и высокая. Дѣвочка баюкаетъ куклу, завернутую въ тряпку, раститъ нѣжность своего сердечка,—это воображаемое дитя ея. Юноша прослезился надъ судьбою никогда не существовавшей, вѣроятно, Сони Мармеладовой,—онъ навыкнетъ страдать за униженныхъ и заступаться за нихъ, когда придетъ его часъ. Но тутъ я уже вторгся въ другую область... Мнѣ лучше было выбрать иной примѣръ, такъ какъ искусство Достоевскаго уже не есть искусство-игра, а искусство-дѣло, и очень серьезное. Искуство-игра происходитъ изъ игры ребенка и дикаря, всегда полуребенка, изъ полноты силъ, просящихся наружу: творецъ тутъ даетъ волю тѣмъ элементамъ своего тѣла и мозга, работа которыхъ не вызывается внѣшнею необходимостью, но внутреннею потребностью въ упражненіи, вслѣдствіе накопившейся, ищущей исхода энергіи. Воспринимающій радуется рефлективно, потому что и у него начинаютъ играть, я бы сказалъ, онѣмѣвшія было струнки. Искусство-дѣло имѣетъ своимъ началомъ, какъ мнѣ кажется, стремленіе убѣдить боговъ или людей. Рѣчь человѣческая, чтобы быть убѣдительной, должна быть образной и страстной, или, по крайней мѣрѣ, желаніе убѣдить невольно порождаетъ у художника слова, у какого-нибудь, допустимъ, умнаго старца на совѣтѣ племени, повышенія голоса, рит-

мичность рѣчи и движеній; въ поискахъ за аргументами онъ приводитъ примѣры, разсказываетъ миѳы, или прошлое, стараясь изображать ихъ такъ, какъ если бы сейчасъ воочію видѣлъ ихъ. И проповѣдь можетъ производиться не словомъ только, устно или письменно, но скульптурой и живописью и музыкой, когда она сопровождаетъ слово. Религія, мораль, политика пользовались искусствомъ, находили въ искусствѣ свое выраженіе. И это просто потому, что сильное чувство захватываетъ весь организмъ, все приводитъ въ движеніе, черезъ всѣ пути бурно ищетъ выхода, и равнымъ образомъ черезъ всѣ пути ищетъ войти въ душу убѣждаемаго. Великій проповѣдникъ—всегда художникъ. И истинно великій художникъ—всегда проповѣдникъ. Въ этомъ правъ Левъ Николаевичъ Толстой, хоть онъ со свойственной ему аскетической узостью вовсе осудилъ искусство-игру, и напрасно. Я, однако, согласенъ, что искусство-проповѣдь гораздо выше искусства-игры. Что проповѣдуетъ человѣкъ? Самое важное, дорогое, до чего онъ додумался. И то, что проповѣдь поднялась до художественной, т.-е. одѣлась чувствомъ и образами, свидѣтельствуетъ объ особой важности и святости проповѣдуемаго въ глазахъ проповѣдника. Искусство-игра есть очень пріятная и полезная гимнастика, искусство-проповѣдь—проявленіе жизни въ ея наивысшей напряженности. И въ этомъ смыслѣ христіанинъ на аренѣ цирка, эстетическимъ жестомъ дающій понять толпѣ, что онъ вѣренъ своему Богу и не колеблясь пріемлетъ смерть и страданіе ради Него,—въ моихъ глазахъ великій актеръ. И если онъ хочетъ повліять на толпу, онъ невольно въ жестѣ своемъ приметъ во вниманіе условіе разстоянія и сдѣлаетъ его... сценичнымъ. И я скажу, что истинно великъ тотъ артистъ, который художественнымъ пріемомъ проповѣдуетъ своего бога и умѣетъ соотвѣтственно своему художеству и въ дѣйствительности бороться и страдать за него съ художественною цѣльностью, съ красо-

тою силы сосредоточенной и сознательной.—Борисъ Борисовичъ выпилъ стоявшій на столѣ стаканъ пива и продолжалъ среди общаго вниманія:

— Такимъ образомъ, высшій родъ искусства есть искусство-проповѣдь. Но тутъ существуютъ градаціи. Я уже не говорю о проповѣди не искренней, тѣмъ паче продажной. Будемъ говорить лишь о художественной исповѣди завѣтной вѣры творца. Проповѣдывать можно разныя вещи. Скажемъ, воздержаніе отъ куренія, послушаніе родителямъ и всякій мелкій вздоръ... Можно проповѣдывать великое... Но гдѣ критерій для установленія градаціи? Для меня онъ очевиденъ: нѣтъ идеи выше идеи единства рода человѣческаго, нѣтъ проповѣди выше проповѣди объединенія человѣчества на началахъ братскаго сутрудничества для счастья и развитія всего цѣлаго и каждаго индивидуума. Такимъ образомъ, я обѣими руками подписался бы подъ мнѣніемъ Льва Николаевича, что хорошо искусство, которое объединяетъ людей, а дурно то, которое разъединяетъ; если же я не подписываюсь подъ этимъ мнѣніемъ, если я, наоборотъ, горячо противъ него протестую, то это въ силу слѣдующаго соображенія. Искусство, разъединяющее людей, дурно, учрежденія, ихъ разъединяющія, еще хуже. Но учрежденія поддерживаются людьми. Есть люди, группы и классы людей-разъединителей, лица и союзы, заинтересованные въ разъединеніи людей. Кто хочетъ людей объединить—столкнется съ ними, долженъ будетъ бороться съ ними. Художникъ тоже. Какъ же бороться? На манеръ карася-идеалиста, произнося необыкновенно благородныя слова: „знаешь ли ты, молъ, щука, что такое любовь? справедливость?“ Наивность подобнаго метода—вещь настолько очевидная, что смѣшно серьезно оспаривать его. И самъ Левъ Николаевичъ въ искусствѣ такому методу отнюдь не слѣдуетъ. Неужели онъ думаетъ служить чувству братскаго единенія моего съ тѣмъ спиритомъ-жандармомъ, кото-

рый радуется, что заключенные становятся постепенно тихими, и видитъ въ этомъ доказательство того, что имъ хорошо? И вся вельможная клика въ Воскресеніи? Развѣ послѣ прочтенія этихъ прекрасныхъ страницъ у васъ готовы раскрыться объятія для этихъ расшитыхъ золотомъ „братьевъ?“ Великая любовь не отдѣлима отъ великой ненависти. Это старая аксіома. Перестанетъ она быть аксіомой лишь съ исчезновеніемъ послѣдняго эксплоататора на землѣ. Кто хочетъ служить любви на дѣлѣ, а не на словахъ, тотъ придетъ къ ненависти. Христосъ, символъ любви, громилъ фарисеевъ словами гнѣва и гналъ торгашей бичемъ. Поэтому высшее искусство имѣетъ двѣ формы: раскрытіе единства въ людяхъ, исканіе человѣка во всѣхъ разновидностяхъ людскихъ, проповѣдь братства, сотрудничества, состраданія... И, съ другой стороны, проповѣдь гнѣва, для чего художникъ долженъ разоблачать и клеймить. Я все старыя вещи говорю. Но если старая мысль— вѣрная мысль, и если въ то же время о ея предметѣ все еще спорятъ,—что же вамъ остается, какъ не повторить старую мысль? И глубоко неправъ ты и поверхностенъ, Акинѳъ, когда смѣешься надъ художникомъ, призывающимъ милость и бичующимъ. Ты видишь одну только публику— буржуазію. Ты забылъ интеллигенцію, Акинѳъ, особенно же интеллигентную молодежь. Воспитывать ее, вышла ли она изъ нѣдръ народа, какъ я, напримѣръ, пономаревъ сынъ, или изъ барства, какъ ты, „сынъ генерала“. Насъ надо было воспитать, и это дѣлали не публицисты только, не историки и экономисты, но и великіе писатели, беллетристы-проповѣдники. Подумавъ и вспомнивъ, ты не станешь этого отрицать“...

— Стану,—угрюмо промолвилъ Акинфъ:—меня жизнь учила, денщикъ Гришка училъ, отцова нагайка и ругань, истерики матери, раскровавленныя рожи солдатъ.

— Перестань, ты это говоришь изъ упрямства. Развѣ не освѣтили тебѣ все это Щедринъ, Успенскій?

— Но не Гете и не Шекспиръ и не Гомеръ... А Щедринъ и Успенскій — публицисты. И если бы прямо говорили— лучше бы было.

— Голубчикъ, Акинеъ, это упрямство... О Гомерѣ я тебѣ и не говорю. У насъ теперь другіе идеалы, другое время и теперъ и Гомеръ, и Шекспиръ, и Гете скорѣе всего должны быть отнесены къ почтенному, но низшему роду искусства-игры. Но утверждать, что проповѣдь Щедрина, Успенскаго, Достоевскаго...

— Терпѣть не могу этого истеро-эпилептическаго ханжу... Весь онъ неискренній...

Елена вмѣшалась:

— Господа, это уже разговоръ, этого нельзя допустить. Продолжайте, Борисъ Борисовичъ.

— Я собственно кончилъ. По старой легендѣ аѳиняне послали поэта въ помощь спартанскимъ войскамъ, и я скажу—это славный былъ союзникъ. Арміи любви и святого гнѣва нужны трубачи и барабанщики, которые вдохнули бы отвагу въ душу бойцовъ, укрѣпили бы въ нихъ ихъ любовь и гнѣвъ ихъ, которые призывали бы и вербовали бы молодежь. Я согласенъ съ Акинѳомъ, что по нынѣшнему времени надо въ набатъ бить... Но Акинеъ говоритъ, что для этого не надо быть художникомъ, а я говорю—непремѣнно надо. Всякій агитаторъ долженъ быть художникомъ, какъ и всякій художникъ въ сущности долженъ бы быть агитаторомъ. Вѣдь мы бьемъ въ набатъ не въ колоколъ, въ сердце человѣческое, а это тонкій музыкальный инструментъ.

Борисъ Борисовичъ кончилъ при аплодисментахъ части слушателей.

— Ну теперь, я буду говорить... Нѣтъ, Лена, дай мнѣ говорить... Должна же ты оказать протекцію мужу... У

меня языкъ чешется! — Такъ говорилъ хозяинъ комнаты Левъ Петровичъ Скобелевъ, живописецъ. Это былъ красивый малый, съ веселымъ лицомъ, освѣщеннымъ парой чудесныхъ синихъ глазъ. Одѣтъ онъ былъ не по-русски: въ плисовый толстый полосатый костюмъ, какой носятъ иные молодые художники въ Парижѣ. Воротъ его рубахи былъ растегнутъ и видна была его красивая, сильная грудь. Онъ сѣлъ на край стола и не дожидаясь разрѣшенія жены, сталъ говорить:—Спасибо вамъ, Борисъ Борисовичъ, за мѣсто трубача въ вашей арміи... Позволю себѣ дерзость, однако, отказаться. Скажу вамъ, любезный другъ, что вы о душѣ художника понятія не имѣете. Грѣха не утаишь, есть среди насъ такіе, которые заставляютъ искусство служить идеѣ, а не наоборотъ. Но это испорченные гражданскимъ призывомъ художники. Если они создаютъ что-либо красивое, такъ вопреки идеѣ. Гейне говорилъ о Рубенсѣ, что онъ поднялся въ небо, несмотря на то, что къ ногамъ его привѣшено сто кило голландскаго сыра. Такъ и иные передвижники поднялись высоко, хотя они и взяли на себя грѣхъ вашего міра... Но грѣхъ этотъ, излюбленная Борисомъ Борисовичемъ „проповѣдь“, какъ ядро каторжника тянетъ ихъ ногу, и какъ бы вздохнулъ всякій, если бы больная гражданскою болѣзнью совѣсть позволила ему отшвырнуть кандалы. Крамской, бѣдняга, мечталъ объ этомъ. Полотно должно быть красиво,—говоритъ онъ въ письмѣ къ пріятелю,—идеи, треволненія минуютъ, красота останется. Правнукъ пройдетъ равнодушно мимо историческихъ документовъ и восхищенный остановится передъ красивымъ полотномъ. — „Впрочемъ, къ чорту правнука!“

— Стойте!—возопилъ вдругъ молодой человѣкъ въ изящномъ черномъ костюмѣ и пенснэ въ широкой черной рамѣ на широкой черной ленточкѣ:—Я не могу больше... пиво, дымъ... эти идеи... Бога ради отворите окно...—И онъ схватился за лобъ.

— Окно выходитъ въ садъ... Ужасно глупо, что раньше не догадались,—промолвила Елена Дмитріевна, открывая окно.—Продолжай, Лева.

— Я говорю: къ чорту правнука! Искусство и передъ правнуками головы не клонитъ. Вы, можетъ быть, воображаете, что я вамъ какую-нибудь метафизическую чертовщину разовью... Не бойтесь!..

— Нѣтъ, развейте имъ метафизическую чертовщину,—съ волненіемъ вскочилъ траурный молодой человѣкъ,—вы, авторъ „душистой вѣтки сирени", это можете... дайте этимъ людямъ мгновенія—метафизическую чертовщину... Луна освѣщаетъ садъ, въ немъ сирень... Дымъ уплылъ въ окно... Уже чувствуется ароматъ... Дайте, дайте имъ метафизическую чертовщину... вы художникъ!

Наступала минута неловкаго молчанія.

— Это я уже предоставляю вамъ...—сказалъ Скобелевъ.

— Хорошо,—сорвался съ мѣста траурный:—Господа... Я здѣсь въ значительной степени не свой"...

— Нѣтъ, нѣтъ, погодите!—съ неудовольствіемъ прервала Елена траурнаго:—дойдетъ чередъ и до васъ... Лева еще не кончилъ.

— Всепокорнѣйше прошу извиненія,—сказалъ тотъ, потомъ схватившись за лобъ, постоялъ съ полминуты и медленно опустился на стулъ, а Левъ Петровичъ продолжалъ такъ:

— Я совсѣмъ не метафизикъ. Говорятъ, теорія искусства для искусства. Я не сторонникъ этой теоріи, потому что вообще не интересуюсь никакими теоріями. Но... вотъ,—слышите?.. птица поетъ!.. Вотъ вамъ художникъ. Сердцу любится, грудь дышетъ высоко... Идешь, смѣющимися глазами глядишь вокругъ себя... Смотришь—сирень раскинулась въ одномъ мѣстѣ, да какъ же пышно! Листьевъ почти нѣтъ, а облака эдакія, тучи яркоцвѣтныя... Ухъ! какъ музыка какая, вся гамма этихъ пятенъ въ глаза уда-

рила, въ сердцѣ откликнулась, запѣла... А солнце золотитъ, золотитъ, золотитъ! Въ обалдѣніи сладкомъ и зѣваешь на красавицу свою сирень, на милую... А потомъ думаешь, молишься, могу сказать: „дайся, расчудесная, дайся мнѣ, бѣднягѣ“. И начнутся муки, начнешь рожать эскизы... Но вотъ не то все, а вотъ что-то ужъ есть! Мучишься и торжествуешь... Кончилъ этюдъ, и горько тебѣ и хорошо“...

— А за заборомъ сада раздается звонъ почещины, то городовой лупитъ пьянаго мастерового,—выпалилъ Акинѳъ..

— Ежели увижу, что лупитъ, самого палкой съѣзжу... Бывало подобное... Но ежемгновенно помнить, что гдѣ-нибудь кто-нибудь кого-нибудь лупитъ и не могу, и не хочу. Жить хочу, писать хочу. Жизнь хороша, должна быть хороша. Вѣрьте Богу, да и товарищи знаютъ, кликните—прибѣгу... Пойду на улицу, когда нужно будетъ, и не послѣднимъ... не трусъ! Но пока живу: охъ, солнышко милое, вода-матушка многоцвѣтная... Вѣдь, самъ художникъ всегда свободенъ... Посадите соловья въ клѣтку—самъ онъ тѣломъ плѣненъ, допустимъ, а пѣснь его свободная—летитъ!

— Конечно, чижики и канарейки и въ клѣткѣ свободны, а каково-то въ ней орлу,—сказалъ Акинѳъ, осклабившись.

— Никакими уязвленіями меня не уязвите, и мнѣ не раздокажете, что худо любить свѣтъ и краски и писать ихъ... Такъ я созданъ... Ни умирать не хочу, ни мѣняться, а хочу жить художникомъ. И знаю—не только свѣтъ краски, но и душа человѣческая—объектъ художника. Иной разъ и мнѣ удается. Вотъ дѣвочка съ собакой съ громадной играла... Присядетъ, личенко свое сморщитъ хитропрехитро и между ноженками мячъ прячетъ... А песъ головой къ земли приникнетъ и глядитъ, и его песьи глаза, и тѣ смѣются... Вдругъ крикнетъ дѣвчурка торжественно и подброситъ мячъ, и хохочетъ, и хохочетъ, а песъ гавкнетъ и пустится за мячомъ... И въ тотъ моментъ, какъ бросить

ей мячъ, чего нѣтъ у нея на личикѣ!—и страхъ какой-то и ожиданіе, и рѣшимость, и радость... Я этюдовъ надѣлалъ съ этой игры.

— А потомъ дѣвочка-то эта мячомъ въ окно попала къ полковницѣ Глѣбовой, и мамаша дѣвочки ей уши оборвала.. Ты почему этюдовъ не сдѣлалъ?—прервалъ Акинѳъ:—чего-чего не было на лицѣ старой полковницы, когда она орала въ окно, на лицѣ матери, злой, болѣзненной и низко поклонной, когда она, въ самозабвеніи злобы желчной бабы, рвала уши дѣвочкѣ.

— Я не видалъ...

— А былъ, братъ, сюжетъ.

— Ты все каркаешь мнѣ подъ руку. Но свѣтитъ солнце и живетъ искусство. И трубимъ мы, какъ соловей поетъ, и что изъ этого выходитъ—не наше дѣло. Могу быть гражданиномъ, и долженъ имъ быть, но то другое отдѣленіе и съ отдѣльнымъ входомъ.

— Большую квартиру занимаешь. А у нашего брата въ сердцѣ—одна комнатенка! тутъ спимъ, тутъ ѣдимъ, тутъ работаемъ.

— Вы можете осуждать меня!— отвѣтилъ Скобелевъ:— но я вамъ скажу: невзгоды пройдутъ и въ вашемъ искусствѣ, въ воинственномъ или жалостливомъ не будетъ уже надобности и въ людяхъ, полныхъ состраданія и съ головою ушедшихъ въ борьбу,—тоже не будетъ надобности. Но жизнь будетъ роскошная, и „красивое полотно“ станетъ важнымъ и великимъ дѣломъ... И прекрасныя картины понесутъ въ тріумфѣ, какъ въ старой Флоренціи... Событіемъ дня будетъ то, что великій художникъ такой-то нарисовалъ вѣчную зарю на вѣчномъ морѣ и вѣчнаго юношу, вѣчно любующагося ими.

— Вы кончили хорошо!—воскликнулъ юноша въ черномъ костюмѣ.

— Прежде, чѣмъ продолжать намъ диспутъ, надо знать,

сколько еще осталось мнѣній и ораторовъ,—заявилъ басъ,—и потомъ не давать Акинѳу ежесекундно показывать зубы.

— А вы заранѣе хотите оградить себя отъ него!—засмѣялся Скобелевъ.—Ахъ, господа, какъ они въ первый разъ вцѣпились другъ въ друга, когда встрѣтились.

— Еще бы! — буркнулъ Акинѳъ: — Бориса называютъ доктринеромъ, но Наумъ Викторовичъ—это холодная доктрина. Я не знаю болѣе холодныхъ фанатиковъ, чѣмъ марксисты.

— Ну знаете, если ужъ этотъ господинъ,—воскликнулъ въ искреннемъ порывѣ траурный,—называетъ кого-нибудь фанатикомъ, то что же это должно быть! Вы самъ фанатикъ ужасный! Торжество такихъ людей, какъ вы, повело бы за собою крушеніе культуры.

— И къ чорту, ваша культура другое названіе для паразитизма и тунеядства. Когда арестантъ моетъ мыломъ голову—вши вопіютъ, что онъ разрушаетъ культуру.

— Фи! фи!—воскликнула Елена.

— Вотъ вамъ и фи! Человѣческую вошь надо называть по имени... и она гораздо хуже, чѣмъ насѣкомая вошь...

— Что наша культура—отрицательная величина,—торопясь и нервничая, возразилъ траурный:—это такъ, но совсѣмъ не съ той стороны—во-первыхъ, а во-вторыхъ, есть и положительное въ ней, ибо зародышъ-то истинный въ ней есть, и, въ общемъ культурный человѣкъ скорѣе можетъ постичь и успокоиться на лонѣ всепечальности, нежели некультурный. Культура въ общемъ и цѣломъ все-таки подтачиваетъ жизнь, что бы вы ни утверждали.

Акинѳъ не понималъ.—Такъ вы за что культуру хвалите? За то, что она жизнь подтачиваетъ, такъ что ли?

— Именно... Я попрошу позволенія объясниться.

— Пожалуйста,—сказала Елена.

— Я не о культурѣ хочу... я объ искусствѣ...—заторопился новый ораторъ:—но и обо всемъ... И вѣдь все—одно, въ этомъ я съ вами согласенъ... Вы, навѣрное, монистъ?...

Я также монистъ... То-есть я—дуалистъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ монистъ... Какъ Фихте, но съ другой стороны... Вотъ я сейчасъ объясню... Я все вамъ, господа, объясню... Но безъ того, что вы называете „чертовщиной“ я не могу... И вы не можете... „Чертовщина“ глядитъ въ окно, или, если вы выглянете въ любое окно жизни, изъ нея наружу—увидите всякую „чертовщину“... Но допустимъ, вы не выглядываете, а прикурнули дома въ обстановкѣ знакомыхъ и взвѣшенныхъ вещей, гдѣ разлитъ свѣтъ позитивистской лампы... Вы сидите, и вотъ подъ столомъ тѣнь; это „чертовщина“. И всюду, всюду... Одна сторона освѣщена лампой и понятна, но другая остается въ тѣни „чертовщины“... Она всюду, стоокая, глядитъ... Я говорю о метафизическомъ.

— Надо двѣ лампы, съ обоихъ сторонъ! — возгласилъ неугомонный Акинѳъ.

— Именно... Вы говорите—двѣ. Я скажу первоначально—пусть двѣ, лампа познанія научнаго и лампа касанія духовнаго. Но уже если горитъ вторая лампа, то разступились стѣны моей берложки, и уже безконечная „чертовщина“ разлилась вокругъ, и я уже лечу въ океанъ „чертовщины“ съ аладиновой лампой въ рукахъ, и ту другую, керосиновую, кухонную, позитивную, можно хоть и погасить.

— Здорово,—сказалъ Акинѳъ.—Это я понимаю.. Мракобѣсіе значитъ.

— Нѣтъ... Я не мракобѣсъ!—взволновался юноша: — я, господа, здѣсь не свой... Это правда. Я художникъ и гадатель; говорю—г а д а т е л ь, а не м ы с л и т е л ь,—сознательно... Я сочувствую попыткамъ Николая Бердяева и Сергѣя Булгакова слить вѣчное съ земнымъ черезъ прогрессивный конецъ земного... Но и сліяніе съ вѣчностью черезъ задній конецъ, черезъ Китай, черезъ Византію, мнѣ не противно. Но я болѣе прогрессистъ, чѣмъ вы всѣ, ибо вы всѣ хотите

двигаться въ предѣлахъ жизни, а я зову вонъ изъ нея. А какою дверью,—это мнѣ безразлично. И китайское Дао, и нѣкоторые монахи Аѳона, и гиперкультурные Гюисмансы подходятъ къ дверямъ... Дверей, я думаю, много... А подойдя къ дверямъ, уже слышишь, какъ молчитъ настоящее! Потому что настоящее, господа, молчитъ.

— Это бредъ какой-то!—воскликнулъ пылкій юноша.

— Я постараюсь быть систематичнѣе,—произнесъ траурный юноша и нѣкоторое время стоялъ молча, держась за лобъ.—Да!—воскликнулъ онъ, наконецъ:—я начну хотя бы съ Фихте... Начать можно съ чего угодно. Я, кажется уже сказалъ, что я монодуалистъ на манеръ Фихте, но какъ разъ, однако, наоборотъ... Господа... вы смѣетесь: это не смѣшно... Фихте въ сущности—монистъ, ибо ничего, кромѣ духа, кромѣ трассцедентнаго „я“ онъ не признаетъ. Въ сущности одинъ духъ есть бытіе, духъ же есть по Фихте начало дѣйственное, насквозь активное... Однако Фихте неожиданно ограничиваетъ его небытіемъ, признавая такимъ образомъ бытіе небытія, и абсолютно пассивное небытіе онъ дѣлаетъ активнымъ постольку, поскольку у него стукается объ него, о „не я“, единосущее „я“. Я тоже признаю, что сущее едино и неизмѣнно, и тоже признаю, что оно ограничено отрицаніемъ себя, абсолютнымъ „нѣтъ“. Но тутъ я приближаюсь къ Пармениду. Сущее неизмѣнно, оно молчитъ. Это молчаніе—нѣчто, всегда себѣ равное. Великое молчаніе. Шопенгауэръ признавалъ его, вслѣдъ за Буддой, цѣлью, идеаломъ. Я, вмѣстѣ съ Парменидомъ, признаю молчаніе сутью вещей, единственнымъ, что дѣйствительно существуетъ. Что же его ограничиваетъ?—Движеніе, господа, суета! Суета, движеніе не есть бытіе или воля, какъ думалъ Шопенгауэръ. Они—ничто! Не улыбайтесь, господа! Движеніе, перемѣна не есть бытіе, ибо быть значитъ пребывать, а это—становленіе, ein Werden; но то, что становится, was wird, никогда не равно себѣ са-

мому, ни въ одно мгновеніе не пребываетъ, т.-е. ничто въ немъ не пребываетъ, значитъ ничего въ немъ нѣтъ, все въ немъ течетъ, стало быть, все вѣчно умираетъ... Но и умирать можетъ лишь то, что существовало раньше, а въ движеніи, въ суетѣ, въ мірѣ князя міра сего—все умираетъ, не успѣвъ родиться. Гераклитъ правъ: бытіе вещь кажущаяся. Мы—пламя, ежемгновенно мы—другое, прежніе мы уже отлетѣли въ ничто, мы все время уходимъ въ ничто, только иллюзія формы обманываетъ насъ, и мы думаемъ, что все существуетъ. На дѣлѣ ничто не существуетъ, кромѣ молчанія. Но я взялъ слово молчаніе лишь временно. Я долго ломалъ голову, чтобы назвать вѣчное. Присмотрѣвшись, я назвалъ его въ одинъ тихій вечеръ, я ему сказалъ: ты—печальность. Да, это—печальность. Въ мірѣ идетъ борьба между резиньяціей, контемпляціей и наслажденіемъ. Наслажденіе есть иллюзія воли, плоды и вода Тантала, мы бѣжимъ за ними и сами толкаемъ ихъ впередъ, какъ человѣкъ, несущій фонарь на палкѣ передъ собою, бѣжитъ и потому не существуетъ. Если же единство формы существуетъ, то это потому, что печальность, созерцаніе, самоотрицаніе уже охладило тоненькую корочку лавы. Вы меня понимаете? Существуетъ вполнѣ только то, что вполнѣ погружено въ печальность. Существуетъ временно то, что формально и по возможности только формально, т.-е. неподвижно и хотя съ виду равно себѣ. Двужущееся же, горячее, страстное, жаждущее, царство сего міра—вовсе не бытіе, а пламя и тѣни Сансары. Вы меня понимаете? Если искусство служитъ голоду, какому бы то ни было, удовлетворяетъ (мнимо удовлетворяетъ) или разжигаетъ желаніе—оно дурно. Согласны въ этомъ и Кантъ и Шопенгауэръ и.. многіе другіе. Высшее искусство оледенѣвающее, въ бѣлый неподвижный мраморъ обращающее. Искусство прикоснулось—движеніе замерло. И долго глядя на Юпитера, можно уже ощутить немного печальности... Но наивысшее искусство,

искусство печальности, искусство, которое разными средствами приводитъ насъ къ забвенію себя, усыпляетъ...

— То-есть какъ же это? Скучное что ли? — спросилъ Акинѳъ.

— Нѣтъ же, нѣтъ... Скучное искусство раздражаетъ... И если усыпляетъ, то чисто физіологически. Физіологическій сонъ—это моментъ въ Сансарѣ: это храпъ, потъ, раскрытый ротъ—гадость. Я же говорю о метафизическомъ усыпленіи. Когда чувства времени нѣтъ. Неужели не испытали, господа?.. О, какъ бы это было жалко!—съ искреннимъ порывомъ сказалъ декадентъ:—Это чудно... Это не небытіе... напротивъ вершина его, чистое бытіе, внѣвременное... Художникъ долженъ давать намъ такіе моменты. Художникъ, который въ насъ, въ каждомъ изъ насъ, тоже помогаетъ намъ. Море плещется и шумитъ, это движеніе молекулъ водъ, которыя сами суть, такъ сказать, мерцательное движеніе, скопища электроновъ, словомъ, то нѣчто, которое называютъ матеріей... Хотѣли поймать атомъ, но онъ расплылся... Матеріалистъ, который сидѣлъ на атомѣ, какъ на „rocher de bronze“,—полетѣлъ въ безконечность. Но я сейчасъ не о томъ... Я говорю море ли, заря ли—все это части лжебытія. Но сидите вы передъ ними, какъ вотъ красиво сказалъ господинъ Скобелевъ... Я ужъ не помню... И море ушло, и заря ушла... Художникъ въ вашемъ сердцѣ претворилъ ихъ въ печальность. Она одна встала передъ вами съ большими, византійскими глазами, глянула и ушла...

— Беритесь за часы: батюшки, вы 7 часовъ просидѣли на мѣстѣ... Монахъ Олафъ изъ монастыря возлѣ Карлскроны не вѣрилъ, что въ раю вѣчно наслаждаются безъ утомленія. И въ одно утро, когда онъ гулялъ по рощѣ, слетѣла къ нему птичка изъ рая и стала пѣть... И слушалъ монахъ... А сѣдая борода росла, волосы падали, морщины бороздили лицо, тѣло высыхало... Птичка вспорхнула и улетѣла. Задумчиво добрелъ онъ до монастыря: но никто не зналъ его

тамъ,—много лѣтъ пронеслось надъ землею. Этому-то и долженъ служить художникъ. Я—піанистъ, господа, но когда музыка пляшетъ и машетъ—она дурна, когда она сверкаетъ холодной чистой формой—хороша, когда беретъ васъ на опаловыя крылья и несетъ прочь отъ земли и отъ звѣздъ... божественна. Неправъ Шопенгауэръ, говоря, что тутъ чистая воля нашла выраженіе. Воля есть все же зло. Нѣтъ! Тутъ нашла выраженіе первопечальность міра. Конечно музыка какъ будто модулируетъ, играетъ, мѣняется, но ужъ это дополняетъ художникъ въ нашемъ сердцѣ: онъ химически претворяетъ звуки, и въ сердцѣ уже не звуки вьются и напѣваютъ, а одну вѣчную ноту тянетъ торжественная печальность. Не печаль. Печаль это человѣческое чувство. Печальность. Я хочу этимъ сказать, что это нѣчто объективное. Вы станете спорить. Но какъ можно, какъ же можно спорить?.. Вонъ луна посеребрила листья,—вѣтерокъ вздыхаетъ... И она растетъ ужъ во мнѣ, и я могъ бы пойти туда, къ окну, и сѣсть, опустивъ голову на локоть... Выросли бы аккорды, стали бы баюкать, волна взяла бы меня вдругъ, взяла бы, и не стало бы больше того меня, который не есть, а все становится и умираетъ, а на мѣсто мое воцарилась бы самосозерцающая печаль. И она побѣдитъ, она побѣдитъ и культурно-исторически, ибо, утончая нервы человѣка, прогрессъ толкаетъ его тихонько къ дверямъ. Она побѣдитъ и всемірно-исторически путемъ равномѣрнаго распредѣленія теплоты. Тогда будетъ молчаніе. Лучшая изъ пѣсенъ, высшая изъ гармоній. А жадное, грязное, полнокровное, подвижное, все это, что кричитъ, хочетъ—согласитесь же—вѣдь это гадость! Все это сплошь гримасы, гримасы... конвульсіи. Есть музыка, подъ которую хочется танцовать — это скрипка дьявола. Когда же ангелы касаются своей лютни—все замираетъ. Камни построились въ зданія подъ пѣснь Орфея. Думаю будетъ иначе. По мѣрѣ того какъ поетъ Орфей, зданія тихо распадаются на камни, камни на

молекулы, все расплывается, солнце, луна, земля и небо, все распадается, таетъ въ единое вѣчное. Даже и ледяные художественные мраморы, въ которыхъ духъ спасался отъ движенія, растаютъ, но не для того, чтобы течь, а для того, чтобы замлѣть въ незримыхъ парахъ, въ музыкѣ беззвучія...—Декадентъ говорилъ тихо и торжественно, какъ чающій и вѣрующій, и странно раздался среди наступившей на мгновеніе тишины рѣзкій голосъ Акинѳа:

— Если что гримаса... конвульсія—такъ это взятая вами на себя роль... Можно ли внушить себѣ такой вздоръ!

Декадентъ вздрогнулъ и живо возразилъ:

— Не роль... не поза. Декадентство — модное, все еще модное словечко... Многіе татуируются подъ декадента, я же говорю, что чувствую.

— Конечно, какъ не быть и нутрянымъ... — пробасилъ рыжій господинъ въ сюртукѣ.

— Господа! не сдѣлать ли маленькій перерывъ?—спросила Елена.—Кто еще будетъ говорить объ искусствѣ?

Рыжій, Наумъ Викторовичъ Португэзъ, подошелъ къ пожилой женщинѣ съ короткими волосами и они пошептались о чемъ-то.

— Я еще, и вотъ Полина Александровна...

— О, ужасъ! — воскликнулъ Акинѳъ. — Два марксиста! Не знаю Полину Александровну, но если она похожа на Наума Викторовича, то мы увянемъ, какъ розы подъ градомъ статистики...

— Какой статистики?—спросилъ Португэзъ.

— Развѣ можетъ марксистъ безъ статистики?

— Вздоръ!—спокойнымъ басомъ сказалъ Португэзъ.

— Нѣтъ, мы сегодня безъ статистики,—подтвердила Полина.

— Стало-быть, два оратора,—сказала Елена Дмитріевна,—да, навѣрное, будутъ общіе дебаты. Предлагаю перерывъ. И можетъ быть Эрлихъ намъ что-нибудь сыграетъ.

Всѣ охотно согласились. Послѣ пары отказовъ и ссылокъ на головную боль, Эрлихъ—декадентъ, который только что воспѣвалъ печальность, сѣлъ за рояль.

Онъ игралъ очень хорошо. Это была странная фантазія. Буря торопливыхъ звуковъ неслась по комнатѣ. Звуки обгоняли одинъ другого, ноты вскрикивали, падали, поднимались, торжествующе хохотали, грозно гремѣли и дико стенали...

— Музыка облагораживаетъ море житейское... Но приблизительно, — тихо сказалъ Эрлихъ сидѣвшей возлѣ него Еленѣ.—А вотъ, тихій романсъ, — прибавилъ онъ.

И грохотъ и кипѣніе борьбы смѣнились простымъ, простымъ романсомъ. Но такой онъ былъ мягкій, задумчивый...

— Сижу я у себя въ комнатѣ и наигрываю, — шепталъ Эрлихъ, — и вдругъ, раскрывается стѣна, и кто-то бѣлый, огромный идетъ по землѣ... огромный!.. и поднимаетъ бѣлую руку, закутанную... и гаситъ, гаситъ звѣзды. Люди спятъ и не видятъ, думаю я... Но нѣтъ... Гдѣ протянулся бѣлый шлейфъ, тамъ все умерло... За фигурой уже ничего нѣтъ... все тамъ молчитъ... И мнѣ страшно!.. Мрачный, грозящій раздавить, растущій маршъ прерывается короткими вскриками ужаса... Исполинская фигура все ближе... Погасила звѣздочку моей жизни надъ кровлей моего дома... Наступила. Все покрылось мглой, молочной, туманной. И вдругъ... такъ хорошо, хорошо... Я замираю... замираю сладко, въ нѣгѣ, въ теплѣ... Какъ хорошо...

— Лампа гаснетъ,—сказалъ Акинѳъ.

Въ лампу налили керосину, она снова ярко загорѣлась, и слово получилъ Наумъ Викторовичъ Португэзъ.

Большой, съ добрымъ лицомъ, обросшимъ рыжей бородой, въ очкахъ, онъ сталъ посреди комнаты и началъ говорить своимъ спокойнымъ басомъ. Бросался въ глаза контрастъ между нимъ, увѣреннымъ и здоровымъ, и остальной нервной, надорванной публикой.

— Предметъ, господа мои, обширнѣйшій. Эскизовъ я не люблю. Но вынужденъ дать эскизъ. Взглядъ и нѣчто. Впрочемъ всѣ предшественники давали взглядъ и нѣчто. Я потому и беру слово, что предшествующіе ораторы даютъ довольно любопытный матеріалъ. Искусство, господа мои, какъ это очевидно, есть продуцированіе благъ опредѣленнаго рода, видъ промышленности вообще, или вѣрнѣе еще часть общаго человѣческаго хозяйства... Не имѣю времени остановиться на сходствахъ и различіяхъ художественныхъ произведеній съ ремесленными. Но кто-же станетъ спорить, будто искусство не развивалось въ самой тѣсной связи съ ремесломъ! Для развитія музыки, живописи, культуры и архитектуры необходимо развитіе техники, такъ какъ по формѣ своей все это роды техники: тутъ изобрѣтаются и развиваются орудія, соотвѣтственно общимъ законамъ. Болѣе или менѣе высокое развитіе ремесленной техники совершенно необходимо для процвѣтанія искусства. Выдѣленіе художника-спеціалиста предполагаетъ вообще высокую степень раздѣленія труда. Первоначально существовали лишь художники—диллетанты: человѣкъ мастерилъ копья или горшокъ и украшалъ ихъ, не отдавая себѣ точнаго отчета въ томъ, что тутъ необходимость, и что фантазія, ибо и то и другое въ творчествѣ индивидуума, весьма слабо выдѣляющагося на тѣлѣ общины, можетъ лишь чуть-чуть варьировать традиціонную форму. Пѣніе и танецъ первоначально цѣликомъ дѣло общиннаго творчества. Эти искусства весьма почитались и являлись первыми праздниками и обрядами рядомъ съ жертвоприношеніями, воспитывая и укрѣпляя то единство общинной психологіи, которое было ей такъ необходимо въ постоянной борьбѣ за жизнь. Но довольно рано стала выдѣляться и индивидуальная пѣсня. Разсказъ о старинѣ, или выраженіе чувства по поводу какого-либо торжества въ личной жизни, особенно свадьбы или похоронъ. И тутъ спеціалистъ могъ выдѣлиться лишь тогда, когда

хозяйство стало давить избытки. Но что то были за спеціалисты? И Гомеръ, и Кобзарь Малороссіи, и пѣвцы всѣхъ народовъ въ сѣдую старину были старцы, слѣпцы, народъ нерабочій. Они то и спеціализировались на выдумываніи и запоминаніи пѣсенъ, которыя передавали ученикамъ, такимъ же — безчастнымъ калѣкамъ. Печально было начало индивидуальной поэзіи. Насколько поздно спеціализировались изобрѣтательныя искусства, видно изъ того, что лишь въ концѣ XIII вѣка во Флоренціи, напримѣръ, цехъ скульпторовъ отдѣлился отъ строительныхъ рабочихъ—каменщиковъ, а живописцы раскланялись съ малярами и красильщиками. Но и вобще никакой пропасти между ремесленникомъ и художникомъ не существовало во все время Ренессанса. Очень трудно сказать ремесленникъ или художникъ золотыхъ дѣлъ мастеръ, ковровщикъ, оружейникъ? Мыслимъ ли во всемъ Возрожденіи оружейникъ не-художникъ? А всѣ художники знали по нѣскольку ремеслъ. Я склоненъ думать на основаніи многихъ данныхъ, что такое явленіе имѣло мѣсто въ цвѣтущую эпоху греческаго искусства. О римскомъ періодѣ и среднихъ вѣкахъ — нечего и говорить. Художникъ тогда былъ просто мастеровымъ человѣкомъ, болѣе или менѣе квалифицированнымъ хозяиномъ ремесленнаго заведенія,—въ римскую эпоху сплошь и рядомъ рабомъ. Уже изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что искусство растетъ и падаетъ естественно съ ростомъ и паденіемъ ремесла вообще. Всякое великое искусство — дитя не менѣе великаго ремесла. Эллинскій классицизмъ, готика, ренессансъ были эпохами великаго ремесла. Ихъ надо полюбить не только въ фидіяхъ, но и въ вазахъ, какія употребляли за столомъ въ средней руки семействѣ аѳинскомъ, не только въ кельнскомъ соборѣ, но и въ переплетѣ монастырскаго манускрипта, не только въ Рафаэлѣ Преображенія, но и въ Рафаэлѣ, расписавшемъ гротесками и арабесками лоджіи Ватикана. Для существованія великаго искусства техниче-

ски необходимъ, такимъ образомъ, широко развитой ручной трудъ. Понятно, что для Моррисовъ и Рэскиновъ вопросъ о возрожденіи вкуса и искусства тѣсно связанъ съ вопросомъ о вытѣсненіи фабрикъ, машины—ремесленниками. Но здравомыслящій экономистъ не можетъ допустить возможности такого явленія. Болѣе, чѣмъ возможно то, что фабрично-заводскій трудъ мало-по-малу, въ особенности въ рамкахъ грядущаго коллективизма, совсѣмъ потеряетъ характеръ физическаго труда, и превратится въ операцію чисто умственную, ограничится лишь внимательнымъ наблюденіемъ за функціями механизмовъ. Въ этомъ случаѣ гармоничное развитіе человѣка предъявить требованія, которыя, вѣроятно, будутъ удовлетворяться разнаго рода изящнымъ и укрѣпляющимъ спортомъ, а также практикой художественнаго ремесла. Въ кругъ образовательныхъ предметовъ войдетъ то или другое художество, смотря по наклонностямъ ребенка. Тогда мы можемъ ждать опять великаго, и еще неслыханно великаго искусства, которое вновь со всѣхъ сторонъ обниметъ человѣка: на площади и дома... Фабрика въ массахъ и дешево доставитъ полуфабрикаты, и все населеніе, вольные ремесленники, будетъ отдѣлывать ихъ свободно, капризно-прихотливо... Я склоненъ буду съ изысканнымъ вкусомъ...

— Гм! что? — громко сказалъ Акинѳъ.

— Съ изысканнымъ вкусомъ, — продолжалъ, улыбаясь Португэзъ, — переплетать книги и доставлять эти художественныя вещи въ муниципальный музей, откуда ихъ сможетъ брать любой товарищъ, которому они понравятся, а самъ я изъ того же музея возьму художественныя вещи, мнѣ по вкусу, для моего обихода.

— Какая утопія!—грустно качнувъ головою, промолвилъ Эрлихъ.

— Гобсонъ приблизительно такъ примиряетъ коллективизмъ и художественное ремесло. Къ нему присоединяется

бельгійскій соціалистъ Дестре, и я, вообще, не вижу причинъ, почему бы этому не осуществиться... Но оставимъ то, что вы называете утопіями. Скажу лишь, что современный художникъ оторвался отъ ремесла; мы живемъ всѣ,—богатые еще больше, чѣмъ бѣдные,—въ грубой и отвратительной обстановкѣ; поэтому-то наша художественная культура не цѣльная, не стильная, а пестрая и въ концѣ концовъ варварская... Такъ, по крайней мѣрѣ, утверждаютъ единогласно всѣ крупнѣйшія эстетическія дарованія нашихъ дней: Рескинъ, Уайльдъ, Мопассанъ, Ницше, Моррисъ и цѣлый рядъ меньшихъ величинъ. Современная художественная техника крикливая, неуравновѣшенная, ищущая... и, чтобы тамъ ни говорили, ищущая не столько красоты, сколько новизны и эффекта... И все это не потому только, что подъ изобразительнымъ искусствомъ нѣтъ прочной опоры въ видѣ проникшаго во всѣ поры жизни художественнаго ремесла, но и потому, что художникъ производитъ теперь не только не по закону живой и энергичной, по духу своему, родной ему общины, но даже не по заказу мецената, а просто на безымянный базаръ. И базарное искусство задаетъ тонъ.

— Это, конечно... отчасти такъ... — согласился Скобелевъ.

— Вообще, художникъ работаетъ всею душою, когда чувствуетъ связь между собою и своимъ творчествомъ и такой великой, глубоко имъ любимой и почитаемой единицей, какъ, напримѣръ, родной его городъ. И я скажу вамъ потому: до сихъ поръ великое искусство было всегда... такъ сказать муниципальнымъ, общегородскимъ. Великій городъ, крупная, полная силъ и, непремѣнно, болѣе или менѣе демократическая городская община—вотъ кто былъ великимъ художникомъ. Города Іоніи, Аѳины, германскія свободныя общины, Миланъ, Флоренція, Сіэна, Пиза... И все, замѣтьте, въ эпоху относительной свободы, вѣрнѣе, борьбы. Пока аристократія, тираны и демосъ бьются между собою, уравновѣшивая другъ

друга, и каждый элементъ все еще, однако, ставитъ выше всего благо родного города,—до тѣхъ поръ живетъ великое вдохновенное искусство. Потомъ слѣдуетъ время меценатовъ, отдѣльныхъ богачей-заказчиковъ. Художники-эпигоны берутъ прекрасныя формы, живо выражавшія идеалы свободной общины, и путемъ эклектизма или экстравагантностей и преувеличеній придавая имъ пикантность, ведутъ ихъ къ неизбѣжному декадансу. Только въ атмосферѣ свободы и борьбы, съ одной стороны, болѣе или менѣе демократическаго единства—съ другой, можетъ народъ выдвигать изъ среды своей столько славныхъ увѣренно выражающихъ суть данной культуры, ея устои и цѣль, создающихъ такимъ образомъ стиль. Сейчасъ мы не имѣемъ ничего подобнаго. Храмъ и базилика, соборъ и ратуша — вотъ живыя средоточія живого искусства старины. А теперь? Музей—славное кладбище прошлаго и... выставки... пестрый, оскорбительнѣйшій базаръ, отъ котораго голова кругомъ идетъ. Только тогда, когда свободный народъ начнетъ воздвигать вновь колоссальныя общественныя зданія: ратуши, кооперативы, клубы, театры, которые бы вмѣщали десятки тысячъ головъ и являлись бы культурными центрами,—только тогда выродится величественное искусство и выработается стиль. Искусство демократично, господа мои. Конечно, аристократія, меньшинство, строило или приказало строить Santa Maria del Fiore и Парѳенонъ, но это меньшинство строило ихъ, чтобы угодить массамъ, чтобы доказать имъ силу и славу города, и оправдать свое господство. Когда же аристократія перестаетъ выражать тенденціи прогресса, а уже противится имъ, когда вообще началось разложеніе, она начинаетъ украшать свое жилье сладострастными или экстравагантными образами, окружаетъ свою персону варварской пышностью, а ежели и захочетъ построить что-нибудь колоссальное,—то это выходитъ у нея чудовищно и безумно. Это нѣсколько штриховъ относительно техники,

общаго высшаго размаха художественности. Теперь также эскизно, относительно внутренней стороны, относительно идей и чувствъ, выражаемыхъ искусствомъ. Искусство отражаетъ всегда идеи и чувства той или иной общественной группы, выражаетъ міросозерцаніе того или иного класса. Я совсѣмъ опускаю изобразительное искусство восточныхъ монархій. Тамъ оно служило лишь для ослѣпляющаго или ужасающаго украшенія дворцовъ и храмовъ, долженствовавшихъ громадой своей раздавить свободную мысль и погрузить народы въ трепетъ и благоговѣніе. Жизнь сковывалась традиціей, искусство—тоже. Узость идей и чувствъ поразительная: величіе царя, его строгій судъ, его богатство, и побѣды, и все въ этомъ же родѣ, и все въ видѣ преувеличеннаго диѳирамба. Боги—такіе же пугающіе повелители. Собирая въ однѣ руки чудовищныя богатства, монархіи древности могли, конечно, громоздить огромное и придать своей пышности умопомрачительный характеръ, но свободнаго творчества и глубины чувства и мысли, изящества формы нечего искать среди варварскаго великолѣпія. Господствующій классъ, когда онъ здоровъ и молодъ, исторически-законно ведетъ свой народъ по пути прогресса; онъ увѣренъ въ себѣ и въ своемъ правленіи, и, преслѣдуя прежде всего свои интересы, именно, въ этихъ интересахъ, до извѣстной степени, блюдетъ и интересы народа. Демократія, конечно, борется или ропщетъ, но ея идеалы въ такія эпохи не имѣютъ ярко выраженнаго с в о е г о собственнаго характера; наоборотъ, она принимаетъ идеалы аристократіи. При такомъ положеніи дѣлъ трудно сказать, что искусство выражаетъ идеалы аристократіи; выражая ихъ, оно въ общемъ отражаетъ и общенародный идеалъ. И тогда это идеалъ гармоничнаго развитія. Мнѣ не зачѣмъ распространяться о греческомъ идеалѣ. Пришлось бы повторять общеизвѣстное. Но по мѣрѣ того, какъ аристократія выполняетъ свою историческую миссію, по мѣрѣ того, какъ старыя политическія формы

становятся въ разрѣзъ съ экономической необходимостью и съ тенденціями, выдвинутыми измѣненіемъ экономическаго содержанія общественной жизни, наступаетъ кризисъ.

Аристократія теряетъ всю симпатію въ народѣ, а также перестаетъ видѣть цѣль передъ собою, теряетъ увѣренность въ себя, планъ жизни, пониманіе ея... Индивидуализмъ смѣняетъ собою возвышенный корпоративный или патріотическій духъ. Не видя дополненія и продолженія личной жизни въ жизни великой общины, аристократъ либо ищетъ такого дополненія въ мистическихъ вѣрованіяхъ, либо стремится поярче прожечь свою жизнь. При этомъ аристократія стремится укрѣпить пошатнувшееся зданіе старыми подпорками, хлопочетъ о воскресеніи древняго блогочестія,—хватается за архаическія формы. А рядомъ другіе развратничаютъ напропалую. И искусство пріобрѣтаетъ новый характеръ: это либо архаизація, либо чувственныя преувеличенія, либо изображенія страданія или распухшіе до колоссальныхъ размѣровъ бездушные мраморы и полотна. Все разсчитано или на щекотаніе индивидуальной души вельможи, или на то, чтобы ошеломить чуждую и враждебную толпу. Если общее хозяйственное развитіе подготовило новыя формы жизни, выдвинуло революціонный классъ, способный низвергнуть дряхлыхъ господъ,—тогда рождается новое искусство, выражающее новыя концепціи идеала, большею частью, при томъ же контрастирующее съ искусствомъ ненавистныхъ бывшихъ господъ. Если же новыя силы не могутъ вдохнуть въ данное общество новую жизнь,—начинается болѣзненное умираніе, пока внѣшній врагъ не нанесетъ обществу coup de grâce. Демократія, эксплоатируемые всегда, конечно, жаждутъ революціи, полной перемѣны существующихъ порядковъ, гибели господъ и мести имъ. Когда демократія слишкомъ слаба и не можетъ въ побѣдоносной борьбѣ опрокинуть эксплоататоровъ, искусство ея пріобрѣтаетъ мистическій характеръ, отражая мистическія чаянія на революцію

сверху — очень сверху, съ неба. Напротивъ, демократія, растущая и сознающая свою силу выступаетъ подъ знаменемъ титаническаго, бурно - романтическаго искусства. Бываетъ и такъ, что натискъ оказывается разбитъ и титаны послѣдышей - художниковъ ломаютъ руки и проклинаютъ; имѣются великіе образчики романтизма отчаянія безъ оттѣнка мистическихъ упованій. Повторяю: это бываетъ въ эпохи контръ-революцій. Все это очень эскизно. Я вынужденъ опустить пропасть подробностей, не говоря уже о примѣрахъ и доказательствахъ. Чтобы изложить эти идеи планомѣрно и документально обосновать и оправдать ихъ, потребовались бы десятки лекцій. Но вотъ въ самыхъ общихъ чертахъ мои воззрѣнія на искусство. Искусство вовсе не призываетъ прямо на ту или иную борьбу, какъ говоритъ Борисъ Борисовичъ, но, украшая жизнь опредѣленнымъ образомъ и рисуя опредѣленные идеалы, оно всегда является орудіемъ какого-либо класса, сильнымъ или слабымъ, побѣдоноснымъ или жалкимъ. Оно, дѣйствительно, всегда помогаетъ жить и бороться. Если бы не помогало, то и не существовало бы. Оно отражаетъ жизнь, организуя это отраженіе, идеализируя ее въ ея дѣйствительности и въ ея упованіяхъ, или непосредственно украшаетъ и такимъ образомъ организуетъ повседневный бытъ. И вотъ мнѣ и хочется, и для этого я взялъ слово, съ этой точки зрѣнія бросить тоненькій лучъ свѣта на мнѣнія объ искусствѣ предшествовавшихъ ораторовъ. Въ нихъ, въ этихъ мнѣніяхъ, отразились чаянія различныхъ общественныхъ группъ современнаго общества.

— Вотъ, вотъ... Теперь начнется классификація на буржуазію разнаго калибра... Всѣ мы вѣдь буржуа разнаго калибра!—воскликнулъ Акинѳъ.

— Акинѳъ, напримѣръ, выражаетъ точку зрѣнія примитивно-народническую. Самый примитивный бунтарскій инстинктъ научаетъ заброшеннаго и бѣднаго плебея занести

прежде всего руку на преступную роскошь чужой ему, но его потомъ купленной раззолоченной культуры. Плебейскій вандализмъ и утилитаризмъ, повторяю, примитивная точка зрѣнія совершенно безсознательнаго, стихійнаго протеста. Такой протестъ свойственъ элементамъ несчастнымъ, но къ организаціи, а слѣдовательно и къ сознательности малоспособнымъ. Это босяцкая точка зрѣнія на искусство. Думается, что Акинеъ ее искусственно въ себѣ развилъ за время своихъ странныхъ скитаній. Онъ выражаетъ эту точку зрѣнія тѣмъ злѣе, что онъ не „простъ“, а „опрощенъ“. Онъ перебѣжчикъ въ міръ болѣе или менѣе трущобный, а потому съ особеннымъ смакомъ напираетъ на парадоксы. Я слышалъ, что даже Горькій, оскорбленный, вѣроятно, подвигами черносотеннаго „народа“, высказывалъ опасенія, что народу въ настоящее время вообще свойственъ вандализмъ и культуроотрицаніе. Это, конечно, пустяки. Никто такъ быстро не постигаетъ величія истинной науки и истиннаго искусства, какъ полуголодная молодежь деревень и городовъ. И если до тѣхъ поръ, пока организованные и сознательные элементы получатъ въ народныхъ массахъ преобладаніе, культурные господа потрепещутъ за то искусство, которое они частью не хотѣли, а частью не умѣли сдѣлать народнымъ,—то это только хорошій урокъ. Борисъ Борисовичъ выражаетъ точку зрѣнія народнической интеллигенціи. Интеллигенція эта безсильна безъ народа, должна вербовать дѣятельно сторонниковъ всюду, гдѣ можетъ, чтобы хотя отчасти осуществить желанный для нея порядокъ. Ея народолюбіе не только плодъ ея происхожденія, но и дитя ея безсилія. Критически развитая личность, по преимуществу пропагандистъ-пробудитель, все пускаетъ въ ходъ для этой цѣли. Годится для этого ей и искусство. Кромѣ того интеллигентная личность полна впечатлѣній, страданій, которыя просятся наружу. Отсюда рождаются призывы въ бодрыя времена, нытье въ безвременье. То и другое съ благородной

окраской народничества, любви къ ближнему и ненависти къ насилію. Все это понятно. Но въ Россіи давно уже зародилась и другая, чисто буржуазная интеллигенція, дѣти и слуги буржуазіи. Представителемъ этой группы явились здѣсь Скобелевъ и Эрлихъ. Буржуа-индивидуалистъ хочетъ хорошо дѣлать свое дѣло, а до остального ему и дѣла нѣтъ. Буржуазный банкиръ съ наслажденіемъ ведетъ операціи, быть можетъ, поэтически описываетъ игру на биржѣ и говоритъ: „оставьте меня въ покоѣ заниматься этимъ чуднымъ спортомъ". Буржуазный художникъ также относится къ искусству. Это его спеціальность, онъ въ ней находитъ себя и это прежде всего. У него это не сливается съ его человѣческой личностью и онъ требуетъ свободы для своего промысла, какъ такового. Скобелевъ говоритъ, что если надо будетъ,—онъ пойдетъ на улицу. Да, потому что у буржуазіи есть врагъ. Но когда она будетъ господиномъ, можно будетъ уже совершенно успокоиться. Другіе художники, у которыхъ человѣкъ сильнѣе, мучаются невозможностью выразить свой идеалъ, ищутъ его... Скобелевъ ничего подобнаго, онъ дѣлаетъ свое дѣло, это его занятіе рисовать сирень, при чемъ тутъ идеалы? Но во всякомъ случаѣ онъ выражаетъ желанія и взгляды здоровой и дѣловой буржуазіи. Нашъ молодой гартманистъ Эрлихъ выражаетъ ея раннее, весьма, впрочемъ, отрадное гніеніе. Они отрицаютъ жизнь, потому что инстиктивно чувствуютъ, какъ жизнь ихъ отрицаетъ. Они любятъ могилы, любятъ убирать кладбище цвѣтами, потому что исторія тихонько толкаетъ ихъ въ ихъ классовую могилу, потому что кладбище уже ждетъ ихъ. Эрлихи стараются умирать красиво. На мой взглядъ сомнительна эта кладбищенская красота. На настоящую красоту—одновременно свободную и боевую, одновременно идейную и насквозь художественную—способны лишь художники, которые станутъ на сторону трудящихся массъ, выразятъ самый высшій моментъ нашей общественной жизни—борьбу

по всему фронту за коллективизмъ. Но я говорилъ слишкомъ даже долго. Если кому кажется, что я былъ рѣзокъ... прошу не гнѣваться. А теперь я уступаю слово моему товарищу—Полинѣ Александровнѣ.

Полина Александровна, высокая и худая женщина съ короткими волосами и большими красивыми черными глазами, заговорила такъ тихо, что раздалось нѣсколько голосовъ: „Громче, громче“!

— Господа!—повторила Полина Александровна громче,— соглашаясь вполнѣ съ Наумомъ Викторовичемъ, я хочу подойти къ нашему вопросу съ нѣсколько другой стороны, и тутъ у насъ найдутся даже кой-какія точки соприкосновенія съ предшествовавшими ораторами. Такъ Акинѳъ Ѳомичъ, напримѣръ, правильно указалъ на ложь, царящую въ современномъ искусствѣ. Люди, которые станутъ критиковать уродливые стороны современныхъ искусства, науки, техники, по своему всегда будутъ правы... Но все же они смотрятъ узко... Вѣрнѣе они вовсе не смотрятъ впередъ. Имъ въ высокой мѣрѣ чужда точка зрѣнія развитія.

— Діалектика!—не безъ иронiи замѣтилъ Акинѳъ.

— Именно,—серьезно сказала Полина Александровна.— Искусство должно разсматривать исторически и въ связи съ развитіемъ человѣчества, въ которомъ благо часто становится зломъ, разумное — безсмыслицей, и наоборотъ. Товарищъ Португэзъ намѣтилъ такую историческую точку зрѣнія. Она возвышается не только надъ прямымъ и простецкимъ отрицаніемъ, но и надъ узкимъ утилитаризмомъ Бориса Борисовича. Борисъ Борисовичъ говоритъ: художникъ д о л ж е н ъ быть полезенъ. Нѣтъ: онъ н е м о ж е т ъ н е б ы т ь полезенъ при условіи, если онъ дитя идущаго впередъ класса, а внѣ этого условія намъ, представителямъ такого класса, не приходится ставить ему никакихъ серьезныхъ требованій. И потомъ, каковы условія полезности искусства? Бичеваніе пороковъ, говоритъ Борисъ Борисо-

вичъ, призывъ къ состраданію и борьбѣ. На мой взглядъ это страшно узко. Благодаря этой узости, Шекспиръ и Гомеръ попали во второй рангъ поэтовъ по сравненію съ кѣмъ? Напримѣръ, несомнѣнно съ Некрасовымъ, неправда ли? И даже, по сравненію съ послѣдователями Некрасова? И, однако, я вовсе не такъ далека отъ Бориса Борисовича. Я думаю тоже, что градація произведеній искусства, по ихъ соціальной полезности, въ высшемъ смыслѣ существуетъ, и что критерій для ихъ оцѣнки имѣется. Но для меня это критерій не абсолютный, а классовой, и лежитъ онъ не тамъ, гдѣ видитъ его Борисъ Борисовичъ.

— Гдѣ же, гдѣ?—спросилъ Акиноъ.

— Не будьте нетерпѣливы,—сказала Полина Александровна. — Я нахожу, что Скобелевъ былъ правъ, когда сказалъ, что Борисъ Борисовичъ совершенно не понимаетъ психики художника. Дѣйствительно, у него свободное творчество формъ оказалось очень слабо связано съ жаждой проповѣди, и послѣднюю онъ считаетъ главнымъ двигателемъ художника, по крайней мѣрѣ, художника идеальнаго въ глазахъ Бориса Борисовича. Я же думаю, что художникъ въ художникѣ долженъ быть прежде и сильнѣе проповѣдника. По Борису Борисовичу—онъ художникъ, потому что проповѣдникъ; именно стремленіе поучать и толкаетъ его къ творчеству. По моему же художникъ становится проповѣдникомъ именно въ силу своего художественнаго стремленія отразить жизнь въ ея сущности и притомъ сконцентрировано, потому же онъ ищетъ, жаждетъ красивыхъ формъ; поэтому моя демаркаціонная линія между высшимъ и низшимъ въ искусствѣ лежитъ совсѣмъ, совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ. Скобелевъ совершенно правъ, выдвигая на первый планъ чисто-художественные импульсы: горячее, страстное воспріятіе дѣйствительности въ ея красотахъ, во всемъ характерномъ, и стремленіе выразить это характерное въ чистѣйшей формѣ. Но Скобелевъ защищалъ эту пра-

вильную точку зрѣнія на источникъ высшаго художественнаго творчества примѣрами мелкими, словно художникъ можетъ и долженъ удовлетворяться отраженіемъ красивыхъ кусочковъ жизни, а не можетъ обнять ее. Точка зрѣнія Эрлиха—формально выше, потому что онъ хочетъ связать художника съ человѣчествомъ и съ великими, общечеловѣческими вопросами; онъ правильно указываетъ на то, что великій художникъ-философъ, который въ своемъ творчествѣ становится въ опредѣленное отношеніе къ величайшимъ проблемамъ жизни и смерти. Дѣйствительно, отъ вѣтки сирени истинно великій художникъ поднимается и насъ поднимаетъ къ небу, откуда видно прошлое, настоящее и будущее человѣчества и глубинные корни жизни. Чѣмъ выше поднимается художникъ въ своемъ самомъ чисто-художественномъ стремленіи отразить характерное въ жизни, тѣмъ ближе онъ къ философу, отъ котораго отличается лишь силой интуаціи и преобладаніемъ эмоціональной окраски надъ познавательной. Но если я согласна съ Эрлихомъ въ его сближеніи искусства съ философіей, въ его стремленіи отвести искусству роль въ самыхъ общихъ и важныхъ судьбахъ человѣчества, то въ опредѣленіи этихъ судебъ и въ оцѣнкѣ художественно-философскихъ тенденцій—мы антиподы. Для Эрлиха и ему подобныхъ, по причинамъ, правильно отмѣченнымъ тов. Португэзомъ,—усталость, печаль, смерть, тишина, недвижность—сущность міра, а движеніе и жизнь что-то постороннее и сомнительное. Мы же, сторонники класса, наиболѣе полнаго жизни, класса, которому принадлежитъ будущее, несмотря на тягость жизненныхъ условій этого класса, которую большинство изъ насъ матеріально и морально раздѣляетъ, мы любимъ жизнь, зовемъ и привѣтствуемъ ее, ждемъ блага отъ развитія всѣхъ ея рессурсовъ, отъ всей ея борьбы, знаемъ, что зло развитія превратится въ благо. Мы призываемъ жизнь, мы всѣми силами помогаемъ проявиться и развиться всѣмъ внутреннимъ противорѣчіямъ

общества, не мечтая о гармоніи путемъ уступокъ и притупленія требованій. Жизнь—борьба, поле битвы: мы этого не скрываемъ,—радуемся этому, потому что сквозь тяжесть трудовъ и, быть можетъ, рѣки крови видимъ побѣду болѣе грандіозныхъ, прекрасныхъ и человѣчныхъ формъ жизни. Побольше свѣта, борьбы, энергіи, жизни, правды съ собою и другими, прочь все больное, жаждущее покоя, мира во что бы то ни стало, все кислое и дряблое! Мы не боимся суровой истины, холоднаго горнаго вѣтра, и даже ужасающаго „нестрашнаго“, чудовищныхъ буденъ не боимся, потому что наша жажда борьбы скоро освѣтитъ ихъ заревомъ пожара. Мы за жизнь, потому что жизнь за насъ. Чего же хотимъ мы отъ художника? — Чтобы онъ училъ любить жизнь. Но не сахарное только въ жизни, не изюмины изъ нея, а всю ее съ ея противорѣчіями и ужасами. Мы не оптимисты. Мы не говоримъ: стоитъ открыть глаза на жизнь, какова она есть,—и полюбишь ее; о, нѣтъ, напротивъ—если намъ могуче и правдиво, ухвативъ самое глубокое и характерное, нарисуютъ ея портретъ, мы знаемъ—скорѣе ужасъ въ сердцѣ человѣка вызоветъ ея трагическій обликъ. Но художникъ долженъ сумѣть внушить намъ любовь къ жизни, включая сюда борьбу ея и трудъ ея, и вопреки ея ужасамъ. Онъ долженъ учить насъ мужественной любви къ жизни, которая способна пронести знамя впередъ среди стоновъ и скрежета, способна обнять прошлое, восторженно предвосхитить будущее, найти свое мѣсто въ борьбѣ человѣческаго разума съ слѣпыми силами общества и природы, и благословить это свое мѣсто, радостно принять свой мечъ и свой крестъ. Самое великое искусство — искусство жить, художникъ долженъ быть, а талантъ не можетъ не быть, прямо или косвенно, учителемъ этого высшаго изъ искусствъ. И съ этой точки зрѣнія Гомеръ и Шекспиръ—вѣчные и великіе учители. Не только трагедія, но всякое искусство должно освобо-

ждать насъ отъ страха и отъ излишка состраданія и по мѣрѣ силъ и способностей нашихъ превращать насъ въ маленькихъ или большихъ героевъ. И вѣтка сирени, талантливо написанная, вызоветъ тутъ свою ноту, свой приливъ весенней бодрости, приливъ предчувствія того, что дастъ столь ласковая иногда природа человѣку, когда городовой уже не будетъ лущить по зубамъ мастерового за заборомъ сиреневаго сада, а когда оба человѣка, такіе же, какъ этотъ городовой и этотъ мастеровой, но спасенные отъ подобной доли гармонизаціей общества, будутъ объ руку гулять въ сиреневомъ саду и говорить о вещахъ благородныхъ и высокихъ. Нѣтъ въ истинномъ искусствѣ ничего, что не звало бы жить, не учило бы ничего не страшиться, храбро идти своей дорогой, съ улыбкой срывать хотя бы и рѣдкіе еще цвѣты, съ энтузіазмомъ наносить удары, съ терпѣніемъ переносить плѣнъ, когда его нельзя избѣжать. Всякое живое, истинно прекрасное искусство по существу своему боевое. Если же оно не боевое, а унылое, безотрадное, декадентское, словомъ угодное Эрлиху, — мы отвергаемъ его, какъ болѣзнь, какъ отраженіе момента разложенія и умиранія въ жизни того или другого класса.

— Искусство тѣмъ выше,—продолжала Полина Александровна, немного передохнувъ,—чѣмъ полнѣе и ярче въ немъ выражена жизнь, но оно тѣмъ и полезнѣе. Сущность человѣческой жизни—борьба. Боевая психологія, мужество—это то, что нужно человѣку. Геніальный художникъ геніально отражаетъ какую-либо форму борьбы и геніально, могуче освѣжаетъ и укрѣпляетъ сердца. Но чтобы понимать всякое искусство, искусство всѣхъ временъ, народовъ и классовъ, надо обладать историческимъ чутьемъ, надо умѣть взять его въ связи съ его культурной обстановкой и тогда-то, что на первый взглядъ показалось холоднымъ, чуждымъ или варварскимъ, — окажется живымъ, роднымъ и человѣчнымъ. Ничто человѣческое не чуждо человѣку, исторически

развитому. Но будучи согражданами людей всѣхъ вѣковъ и народовъ, мы должны быть прежде всего современниками. Съ гордостью и счастьемъ видимъ мы, что являемся участниками самаго великаго культурнаго движенія, какое видывали подъ луною, что призваны играть хотя бы и скромную роль въ величайшей драмѣ, которая близится къ грандіозной и радостной развязкѣ. И, оглядываясь на современныхъ художниковъ, мы констатируемъ, что въ общемъ и цѣломъ они обслуживаютъ только классъ умирающій, живутъ паразитарными интересами, жалкими чувствами и идеями элементовъ, отмирающихъ или хищническихъ, не умѣютъ, не смѣютъ, не могутъ отразить движенія и надежды носителей свѣтлаго будущаго. Изъ этого печальнаго правила мы видимъ, увы, слишкомъ мало исключеній! Въ искусствахъ прошлаго: Греціи, Ренессанса, Sturm und Drang'а, революціонной романтики, словомъ, въ искусствѣ боевыхъ эпохъ прошлаго, мы находимъ больше соотвѣтственнаго нашимъ понятіямъ объ искусствѣ, больше истинно новаго, чѣмъ въ современности. Только литература до нѣкоторой степени является исключеніемъ, да и то лишь до нѣкоторой степени. Но можетъ ли это продлиться?

— Пролетаріатъ растетъ и поднимается и начинаетъ уже сознавать цѣнность искусства; художникъ, въ массѣ деклассированный и придавленный, мечется въ отчаяніи и ищетъ исхода. Не ясно ли, что дѣло марксиста-эстетика, марксиста-художественнаго критика стараться познакомить рабочую публику со всѣмъ лучшимъ, что есть въ искусствѣ, объясняя, толкуя, подчеркивая, пока не пріобрѣтены еще этой публикой навыки къ наслажденію, плодотворному, растящему душу, наслажденію великимъ въ искусствѣ. Съ другой стороны, не ясна ли задача раскрыть глаза наиболѣе отзывчивымъ и молодымъ художникамъ, чтобы они видѣли, уши—чтобы слышали, чтобы наполнилъ ихъ „шумъ и звонъ“ величайшей міровой борьбы, и чтобы они претворили намъ ихъ въ пѣсни радости, гордости, смѣлаго

вызова, жажды и предчувствія побѣды, въ пѣсни согласія, дружбы, пѣсни угрозы! Пусть поютъ намъ они эти пѣсни въ звукахъ, и въ краскахъ, всѣми художественными способами. Они могутъ быть широки и свободны, все будетъ хорошо, если настоящій духъ современности осѣнитъ ихъ, все подъ ихъ перомъ и кистью станетъ полно значенія. Не нужно проповѣди и тенденціи: пой, пой, какъ птица, художникъ, но если глаза твои видѣли, если уши твои слышали, ты споешь пѣсню желѣзную и золотую, ты ударишь въ неслыханный еще набатъ. Одинъ мой товарищъ говаривалъ мнѣ: „время великихъ критиковъ миновало: Бѣлинскій, Добролюбовъ, Писаревъ, Чернышевскій воспитали вкусъ и пониманіе, русскому читателю не нужно больше учителя эстетики". Но вотъ родился и выросъ новый читатель. Время явиться новымъ Бѣлинскимъ приспѣло, приспѣло и время для новой плеяды великихъ художниковъ.

— Эрлихъ! — воскликнула Полина Александровна, возбужденная и ставшая красивой, — вы любите музыку, подъ которую задумываются, вы не любите той, подъ которую пляшутъ. Я люблю и ту и другую, но больше всего ту, подъ которую совершаютъ подвиги и борются за торжество человѣчности. Господа у меня слабый голосъ, я не ораторъ... Мнѣ хочется передать вамъ, однако, тотъ энтузіазмъ, которымъ должны быть полны и художники, и читатели, и критики...

И, подойдя къ роялю, съ силой, неожиданной для этой слабой женщины, она заиграла царицу маршей, божественную марсельезу. И холодъ пробѣжалъ по спинамъ, кровь загоралась; казалось, что волосы шевелятся.

И въ эту минуту въ дверь вошелъ взволнованный студентъ и крикнулъ:

— Еще новость: игра съ Шидловскимъ окончательно сорвана пролетаріатомъ!

Начались возгласы, разспросы. Закипѣлъ страстный политическій разговоръ, котораго я передавать не буду.

Философія и жизнь.

„Къ чему теперь философія?“—недружелюбно спрашиваетъ читатель.—„Не слѣдуетъ отвлекать въ сторону философіи мысль, отдавшуюся полнокровной, конкретной теперешней, богатой событіями, дѣйствительности?“

Да. Философія и жизнь, это—двѣ вещи очень разныя. Одна для другой—почти что Гекубы. Вы, вѣроятно, слыхали, читатель, какъ, съ какой интонаціей, въ разговорѣ произносятъ иной разъ: „Ну, батенька, это философія“. Интонація эта не оставляетъ никакого сомнѣнія въ увѣренности произносящаго эту фразу въ томъ, что философія паритъ гдѣ-то надъ жизнью, и что, вознесясь въ ея регіоны, человѣкъ неминуемо теряетъ связь съ дѣйствительностью.

Джемсъ Милль высѣкъ Джона Стюарта Милля за то, что онъ сказалъ: „Теорія имѣетъ мало общаго съ практикой!“ или что-то въ этомъ родѣ. Джону Стюарту было въ то время лѣтъ восемь, врядъ ли больше. Но если бы Джонъ, вмѣсто „теорія“, сказалъ “философія“ и, вмѣсто практики—„дѣйствительность“, то гнѣвъ Джемса былъ бы несправедливъ.

Мы ужъ и не говоримъ о метафизикѣ. Метафизика „довольно свободно“ выдумываетъ на мѣсто дѣйствительности другой, весьма, на ея взглядъ, стройный міръ. Метафизика—это поддѣлка эмпирической вселенной баснословной системой. Но возьмите вы научную философію въ томъ ея пони-

маніи, которое давалъ ей хоть Спенсеръ. По Спенсеру каждая наука, охватывая свой кругъ конкретныхъ явленій, выводитъ свой возможно болѣе общій строй законовъ. Строится рядъ пирамидъ, подножія которыхъ покрываютъ всю дѣйствительность, а вершины высоко поднялись надъ нею. Философія же беретъ за исходные пункты именно эти вершины. То, что для каждой отдѣльной науки являлось верхомъ абстракціи, философія въ своемъ полетѣ принимаетъ за нѣчто „конкретное, слишкомъ конкретное“ и, касаясь своей призрачной ногой острія пирамидъ, она строитъ свое зданіе ультра-абстрактной системы законовъ изъ матеріала болѣе тонкаго, чѣмъ паутина.

Жизнь грохочетъ. Реветъ канонада *). Падаютъ трупы. Плохо вооруженный героизмъ мѣряется силами съ хорошо вооруженнымъ идіотизмомъ. Въ темныхъ квартирахъ съ яростно сжатыми кулаками добровольно голодаютъ рабочіе. Въ раззолоченныхъ кабинетахъ озвѣрѣвшіе вельможи пишутъ безграмотные и свирѣпые приказы по Россіи. Рядомъ съ ужасомъ и рядомъ со взрывами чистѣйшаго пламени трагически-великолѣпной человѣчности—спокойныя улицы, непрерывающаяся мелочная торговля. Кто-то выскочилъ всклокоченный на улицу Петербурга и кричалъ: „Москва! Москва! Москва!“ У него былъ видъ пророка Іереміи въ пиджакѣ. Публика улицы боялась остановиться; вбирая голову въ плечи, она торопливо шла „по своему дѣлу“, мутными глазами робко взглядывая на „сумасшедшаго“. Іеремію въ пиджакѣ взяли въ участокъ; тамъ, можетъ быть, будутъ бить его. И, подумавъ: „А вѣдь, пожалуй, помнутъ его тамъ“,— всякій идетъ по своему дѣлу. А въ Москвѣ у десятковъ тысячъ недавно чуждыхъ другъ другу столичныхъ песчинокъ было одно общее дѣло. Ему просто и безъ помпы жертвовали своею жизнью. И московскіе Петьки и Васьки, братья

*) Эта часть статьи была написана въ концѣ декабря.

парижскаго Гавроша, насвистывая Марсельезу сновали между пулями и помогали строить баррикады. И Петька говорилъ Васькѣ: „А Гришуткѣ-то пуля во́ куда угодила! Сразу померъ“. И они бѣжали подъ пули, насвистывая Марсельезу. Въ эту самую минуту приставъ Ермоловъ вѣжливо попросилъ доктора Воробьева показать ему разрѣшеніе на владѣніе револьверомъ и, когда профессоръ повернулся, чтобы отыскать его, убилъ его выстрѣломъ въ спину...

Можно безъ конца длить этотъ калейдоскопъ. Отъ него кружится голова и замираетъ сердце. Не позвать ли намъ философа? Настоящаго, научнаго философа? Мы зовемъ его, и это паукообразное существо живо сбѣгаетъ по геометрическимъ линіямъ своей паутины на ближайшій, доступный ему, пунктъ, т. е. на математическую точку, которой заканчивается самая высокая пирамида. Однако, у него для насъ оказывается лишь два слова: дифференціація и интеграція. Или, пожалуй: „Міръ есть ощущеніе по существу и движеніе по формѣ“, или еще что-нибудь въ этомъ родѣ. И нашъ паукъ на странномъ праздникѣ жизни проявляетъ полнѣйшее сходство съ той сорокой, которая зарядила Якову— одно про всякаго.

Допустимъ, что мы разсердимся на паукообразное и скажемъ ему: „Проклинаемъ тебя за то, что ты даешь намъ камень, вмѣсто хлѣба! Какое твое назначеніе въ жизни, пыльный паукъ, безполезнѣйшее изъ животныхъ? Убирайся поскорѣе въ свои абстракціи, пока гнѣвъ нашъ не проявится дѣломъ“. Если мы скажемъ такъ синтетическому пауку, онъ хитро улыбнется и отвѣтитъ: „Друзья, не плюйте въ кладезь мудрости. Прошу покорно на одну минуту подняться ко мнѣ. Вотъ тутъ вы найдете экономическую лѣсенку... взберитесь по шероховатой покатости соціологіи, прошу васъ схватиться теперь за канатъ философіи исторіи: таковъ одинъ изъ ходовъ, ведущихъ ко мнѣ... Вотъ... теперь вы въ моей паутинѣ. Оглянитесь“.

Да, мы высоко съ вами, читатель. Земная грудь усиленно дышитъ этимъ рѣдкимъ воздухомъ. Какая ширь, какая необъятная ширь открылась передъ нами! Но гдѣ же графъ Витте, который, снявъ съ себя шитый мундиръ, предсталъ въ наготѣ своей? Гдѣ Дубасовъ, прицѣливающійся съ Ивана Великаго въ самое сердце Россіи изъ Царь-Пушки?.. Гдѣ эти несчастные наши братья, въ пьяномъ чаду палящіе по дѣвушкамъ, выглянувшимъ въ окно?.. Гдѣ тѣ дамы, которыя во время погрома скупаютъ товары у громилъ вплоть до пуговицъ, лентъ и тесьмы, мокрой отъ дѣтской крови?

Ничего этого нѣтъ, а повсюду, куда ни глянь,—все одна дифференціація съ интеграціей; все только ощущеніе по существу и движеніе по формѣ. Хорошо. Чисто. Ой, читатель, какъ бы мы не запутались съ тобою въ этой паутинѣ, какъ двѣ Гамсуновскія обыкновенныя мухи средней величины. А философъ потираетъ руки и качается, сидя на геометрической линіи.

Нѣтъ. Философія имѣетъ отношеніе къ жизни. Никакая пушистая оттоманка не обезпечитъ такъ за вами спокойнаго кейфа. Льются слезы, слышатся крики, на окровавленныхъ плечахъ сквозь строй черныхъ чудовищъ пролетаріи тащутъ тяжелую золотую свободу. Хаосъ, хаосъ. Анархія.

А паукъ, качаясь, напѣваетъ:

Ты знаешь край, гдѣ зрѣютъ силлогизмы,
Дедукція раскидываетъ тѣнь,
Изъ устъ несутся сами афоризмы,
И крадется безшумно сѣрый день!
Туда, туда, къ седьмому небу духа,
Зову тебя я, миленькая муха.

Но мы не хотимъ туда. Мы слышимъ иные призывы.

Среди хаоса звенятъ марши. Звенитъ и нашъ маршъ, вонъ вѣетъ наше знамя, вонъ шеренги товарищей.

Паукъ досадливо покачивается на геометрическихъ линіяхъ и говоритъ: „Это были навозныя мухи, ибо вся юдоль внизу—навозъ. На тонкомъ стеблѣ растетъ изъ навоза блѣдная лилія: эта лилія и есть моя мудрость“.

Какъ-то разъ философъ Конфуцій пришелъ къ философу Лао-Дзе. Конфуцій пріѣхалъ на бѣломъ конѣ, покрытомъ тонкой шелковой тканью; его сбруя была золотая. Конфуцій былъ одѣтъ въ халатъ мандаринскаго образца и на шапкѣ имѣлъ павлинье перо. За Конфуціемъ пріѣхало множество учениковъ, жаждавшихъ его мудрости, ибо, пройдя курсъ его философіи, можно было получить доходное мѣсто. Конфуцій не былъ паукомъ, живущимъ надъ пирамидами, онъ былъ „учителемъ жизни“. И вотъ онъ слѣзъ съ коня и пошелъ въ домикъ изъ лакированнаго дерева подъ старой грушей, гдѣ жилъ Лао-Дзе. Лао-Дзе былъ паукъ. Онъ тянулъ безконечную нить изъ своей огромной головы. Когда Конфуцій вошелъ къ нему, онъ сидѣлъ, подобравъ тонкія дѣтскія ножки подъ брюшко, а огромная голова, которая и родилась сѣдою, думала. Конфуцій сдѣлалъ 71 поклонъ и 18 присѣданій, сказавъ при этомъ 43 комплимента, какъ это было установлено первыми императорами, о чемъ, впрочемъ, никто не помнилъ, ибо обычай былъ возобновленъ только Конфуціемъ. Лао-Дзе едва проронилъ одно „чингъ“. И, сѣвъ на циновку рядомъ съ мудрецомъ, мандаринъ сталъ говорить о томъ, что жизнь не должна быть безпорядочна, а напротивъ, подчинена опредѣленному числу церемоній, и что идеалъ его заключается въ томъ, чтобы все населеніе Небесной Имперіи жило подъ музыку и все дѣлало въ тактъ. Повсюду будутъ поставлены органчики, непрерывно играющіе одну мелодію за другой, и ужъ всѣ знаютъ, что означаетъ какая мелодія, и съ улыбкой на сжатыхъ въ пучекъ губахъ, въ тактъ передвигая ноги и руки, всѣ, каждый по чину, будутъ выполнять церемоніи. Валики для органчиковъ будутъ изготовляться въ Пекинѣ, а Таотаи будутъ распоря-

жаться смѣной валиковъ. Въ тактъ будутъ рожать женщины, въ тактъ умирать старцы и подъ опредѣленную музыку души предковъ отлетятъ въ гости къ первымъ императорамъ. Думать не нужно будетъ вовсе. Какая экономія! И органчикъ Конфуція игралъ и игралъ. И всѣ ученики въ мундирахъ и вицмундирахъ китайскаго образца внимали. Соловьи умолкли,—звѣзды слушали, чтобы разсказать послѣ о грезахъ Конфуція жаждущему гармоніи Сергѣю Юльичу, когда онъ, подойдя къ окну, съ тоской устремитъ свои лисьи очи къ свѣтиламъ небеснымъ и скажетъ имъ: „О вы, незнающіе безпорядковъ!“

Слушалъ ли Лао-Дзе, я не знаю. Но когда Конфуцій кончилъ свои мелодіи и съ надлежащими церемоніями спросилъ: „Что скажетъ солнце мудрости ея мѣсяцу чему научитъ старшій братъ младшаго?“—то Лао-Дзе открылъ свой большой ротъ и промолвилъ; „Мудрость —въ молчаніи. Молчаливый мудрецъ бесѣдуетъ съ Дао и не любитъ, когда глупецъ мѣшаетъ ему своей трескотней“.

Лао-Дзе поднялся до самой высшей абстракціи, до Бога-Ничто. Съ этой высоты не видно было ему пестраго міра,—для міра оставалось ровно столько мѣста, чтобы презрительно пожалѣть его иногда. Истинный міръ молчалъ и былъ равенъ себѣ, и передъ лицомъ его можно было сидѣть, поджавъ разучившіяся ходить ножки, и думать, т. е. тянуть нитку изъ мозга. А Конфуцій! Этотъ полный, сингвиничный человѣкъ хотѣлъ *приблизить* міръ къ Порядку, къ тому же Дао. Жизнь ему хотѣлось замѣнить администраціей. Всю жизнь онъ скитался отъ монарха къ монарху и сочинялъ конституціи, но когда оказалось, что даже китайцевъ нельзя заставить жить исключительно подъ музыку, Конфуцій огорчился и умеръ. Горе философу, который, вмѣсто того, чтобы понять, что абстракція есть искуственное и блѣдное отраженіе міра, захочетъ самый міръ сдѣлать абстрактнымъ. Философу лучше сторониться практики. Сладко было Ла-

тону созерцать сіяющій хоръ вѣчныхъ идей, но очень непріятно было ему стать игрушкой капризовъ тирана Діонисія, черезъ посредство котораго онъ пытался гармонизировать хоть кусочекъ міра.

Философія нужна для того, чтобы относиться къ жизни съ философскимъ спокойствіемъ. Видали ли вы совершенно спокойнаго человѣка съ благообразнымъ лицомъ и мягкими движеніями? Съ улицъ Москвы еще не была счищена вся кровь. Дѣвочка лѣтъ 14-ти, блѣдненькая, съ тоненькой косицей, вдругъ замѣтила странное грязно-красное пятно на стѣнѣ дома и тротуарѣ, поняла, вздрогнула и, остановившись, съ плачущимъ выраженіемъ лица тупо уставилась на пятно. Благообразный человѣкъ проходилъ мимо и увидѣлъ эту сцену. Два раза глаза его перебѣжали съ жалкаго личика на грязно-красное пятно. Потомъ онъ зашагалъ дальше, мягко ступая резиновыми галошами. У благообразнаго человѣка было „чуткое сердце“, онъ даже сочинялъ иногда философскіе стихи. Чуткое сердце было поранено сценкой, оно сочилось, а потому благообразный человѣкъ „мыслилъ“. Онъ даже пріостановился и посмотрѣлъ на морозное голубое небо надъ своей головой и вполголоса сказалъ: „Но вѣчность!“—и пошелъ дальше, мягко ступая резиновыми галошами. Сердце его не сочилось больше.

Одинъ профессоръ сдѣлалъ подлость, политическую подлость. Его жена была очень интеллигентная молодая дама. Она по установившейся привычкѣ распечатала полученное въ отсутствіе мужа письмо. Письмо было отъ пріятеля мужа, милаго стараго ченаго, котораго молодая женщина называла „угодникомъ истины“. Угодникъ истины писалъ ея мужу, что проситъ порвать всѣ сношенія и не хочетъ марать своей руки о руку непорядочнаго человѣка. олодая женщина плакала горько. Профессоръ, который сдѣлалъ подлость, вернувшись, засталъ жену въ слезахъ, а около нея сразившее ее письмо. Онъ нѣсколько разъ прошелся

къ кабинету черезъ гостиную въ столовую и обратно и все сопѣлъ носомъ. Потомъ онъ подошелъ къ женѣ и нѣжно сказалъ: „Надя, успокойся. Ко всему въ жизни надо относиться философски".

Да, да, отойти въ сторону, чтобы все посѣрѣло, чтобы сѣрыми стали всѣ кошки. Перевести глаза отъ страды земной на то же синее небо. Это возвышенно и удобно.

Напомню читателю страничку изъ Льва Толстого: „Онъ (князь Андрей) упалъ на спину. Онъ раскрылъ глаза, надѣясь увидѣть, чѣмъ окончилась борьба французовъ съ артиллеристами; на полѣ битвы, убитъ или нѣтъ рыжій артиллеристъ, взяты или спасены пушки. Но онъ ничего не видалъ. Надъ нимъ не было ничего уже, кромѣ неба—высокаго, неяснаго, но все-таки неизмѣримо высокаго, съ тихо ползущими по немъ сѣрыми облаками... Какъ тихо, спокойно, торжественно, совсѣмъ не такъ, какъ съ озлобленными и искусанными лицами тащили другъ у друга банникъ французъ и артиллеристъ, совсѣмъ не такъ ползутъ по этому высокому безоблачному небу. Какъ же я не видалъ прежде этого высокаго неба? И какъ я счастливъ, что узналъ его, наконецъ. Да все пустое, все обманъ, кромѣ этого безконечнаго неба. Ничего, ничего нѣтъ, кромѣ него. Но и того даже нѣтъ, ничего нѣтъ, кромѣ тишины, успокоенія. И слава Богу!"...

Вознестись надъ жизнью со всѣми ея ужасами и треволненіями—возвышенно и удобно, сказалъ я. Что точка зрѣнія, пріобрѣтенная княземъ Андреемъ въ описанное Толстымъ мгновеніе, возвышенна, какъ и всѣ подобныя точки зрѣнія—это рѣдко кто станетъ оспаривать, но что она удобна—это многимъ покажется утвержденіемъ злостнымъ. Между тѣмъ, какъ разъ наоборотъ: именно возвышенность полета къ вѣчности и безконечности представляется мнѣ сомнительной, удобность же онаго полета на мой взглядъ безспорна.

Моральный смыслъ мышленія о мірѣ, игнорирующаго пестроту многообразной дѣйствительности и подмѣняющаго ее какой-нибудь стройной и законченной картиной „истиннаго міра“—есть жажда спокойствія, „атараксія“ стоиковъ; тѣмъ болѣе таковъ моральный смыслъ осужденія живой ткани человѣческихъ страстей, стремленіе оторваться и отъединиться отъ нихъ или урегулировать ихъ, подчинивъ ихъ системѣ строгихъ государственныхъ или моральныхъ законовъ.

Въ сущности говоря, одно и не бываетъ безъ другого: метафизикъ, скажемъ, Элеатъ, вопреки очевидности утверждающій, что міръ неподвиженъ и во всѣхъ своихъ частяхъ однороденъ, достигаетъ такимъ построеніемъ несомнѣннаго удобства: онъ обезцѣниваетъ въ своихъ глазахъ всѣ роковые вопросы и мучительныя загадки живой жизни,—они существуютъ для него только въ мірѣ кажущагося, въ призрачномъ мірѣ; въ томъ мірѣ, который онъ призналъ истиннымъ бытіемъ, никакихъ вопросовъ для него не существуетъ. Молодой грекъ, измучивъ свою юношески пытливую голову надъ массой непонятныхъ явленій и очевидныхъ противорѣчій, которыми колетъ ему глаза окружающее; узнавъ отъ Парменида, что это окружающее вовсе и не важно, что оно пустое сновидѣнье, смѣшная ошибка чувствъ,—облегченно вздыхаетъ и съ наслажденіемъ любуется такимъ прозрачнымъ и такимъ понятнымъ „бытіемъ“ Парменида, шарообразнымъ, однобразнымъ, безмятежнымъ. Но откуда же произошло представленіе о возвышенности подобныхъ удобныхъ рѣшеній познавательной задачи? На каждомъ шагу встрѣчая неподдающееся ясному опредѣленію, неправильное, безобразное, изломанное и прерывистое,—Пиѳагоръ въ нѣмомъ восторгѣ подымалъ глаза къ ночному нѳбу, гдѣ надъ ясными свѣтилами царитъ порядокъ и разумъ, царитъ несомнѣнно, потому что тамъ приложимы божественная ариѳметика и божественная геометрія—истинныя отра-

женія разума. Къ порядку гармоничныхъ движеній, который восхищалъ глазъ Пиѳагора, онъ добавлялъ звуковую гармонію, и въ тишинѣ роскошной южной ночи до его чуткаго уха, казалось, доносилось пѣніе свѣтилъ, звучавшихъ въ своемъ полетѣ въ терцу, квинту и октаву. Кое-кто изъ историковъ философіи такъ и предположилъ, что характеристика порядка, какъ возвышеннаго, а не организованнаго многообразія, какъ низменнаго—произошла отъ противопоставленія скорбной землѣ того неба, которое и князю Андрею преподало урокъ мудрости.

Ничего подобнаго, конечно. Напротивъ того, само спокойствіе небесъ, какъ и спокойствіе снѣжныхъ вершинъ или безграничныхъ равнинъ стало цѣниться человѣкомъ лишь по мѣрѣ того, какъ жажда покоя вырастала въ его сердцѣ.

Боги воинственной аристократіи честолюбивы и кровожадны, они пьяницы и сластолюбцы; но приходитъ пора, когда воинственная аристократія превращается въ командующій классъ внутри сложившагося государства, когда земледѣліе, торговля и промыслы эксплоатируемаго народа (въ томъ числѣ и рабовъ) становятся главнымъ источникомъ богатствъ, а государственный порядокъ и разумное управленіе страной— первѣйшею задачею „господъ“. Тогда-то хранитель обычаевъ, обрядовъ и договоровъ—жрецъ, мудрецъ, законодатель, сенаторъ или членъ ареопага—становятся центральными фигурами, а люди войны безъ ропота признаютъ нѣкоторое первенство мудрѣйшихъ. Чего же жаждетъ больше всего на свѣтѣ этотъ „высшій“ аристократическій типъ? Онъ по самому существу своему консерваторъ, самое существованіе его объясняется существованіемъ сложной задачи—„консервировать“ общественный порядокъ. Вотъ та реальная почва, на которой создается своеобразное понятіе о возвышенности порядка. Внизу—ремесленникъ и купецъ; онъ жаденъ и долженъ быть жаденъ. Пусть безпокойными глазами ищетъ онъ наживы, пусть, не жалѣя себя, чахнетъ

въ тяжеломъ трудѣ и въ низменныхъ заботахъ о суетныхъ благахъ. Онъ противенъ, но онъ нуженъ для богатства народа, онъ нуженъ, какъ податное сословіе. Такъ говоритъ мудрецъ.

Выше стоитъ воинъ, божество котораго—храбрость. Этому гордому человѣку недостижимы высоты истинной мудрости и безъ контроля и управленія онъ совершалъ бы ненужныя кровопролитія; дайте ему роскошь, рабовъ, почести, но пусть онъ повинуется велѣніямъ разума.

Наконецъ, вотъ и вершина человѣческаго общества, вотъ и вѣчно спокойный, выпрямленный и властный, все постигшій мудрецъ, мысль котораго вращается въ наивозможно консервативнѣйшихъ формахъ.

Его боги величаво-спокойны и отнюдь не считаются ни съ какими перемѣнами; они совершенны, потому что онъ самъ стремится къ неподвижному совершенству,—вѣдь совершенство и есть неподвижность. Именно на потребности правящихъ обществами аристократовъ духа (cedant urmatogae) основывается первоначально идея о возвышенности воспріятія міра подъ угломъ зрѣнія вѣчности. Міръ идей авторитарный соціализмъ Платона—двѣ части одной лебединой пѣсни, тоскливой мечты аристократа, котораго сноситъ безпорядочная, горячая живая жизнь, ломающая рамки „мудрыхъ законовъ“.

Было бы нелѣпо утверждать, что аристократическій консерватизмъ—единственная истинная подоплека всѣхъ философскихъ полетовъ въ область вѣчнаго и истиннаго и всѣхъ попытокъ внести неподвижность въ реальную жизнь народовъ. Греція дала особенно яркіе примѣры возвышеннаго мечтанія вообще какъ въ его первоначальной аристократической формѣ, такъ и въ другихъ.

Мудрецъ—создатель внѣ-матеріальнаго „истиннаго міра“ и законодатель или утопистъ, стремящійся овладѣть бурнымъ потокомъ жизни и приблизить ее къ своему непо-

движному идеалу—смѣняется по мѣрѣ того, какъ жизнь окончательно разрушаетъ старый, авторитарный укладъ общественнаго бытія и замѣняетъ его волной индивидуальныхъ интересовъ и острыми формами борьбы классовъ,—другимъ типомъ. Соціальный утопизмъ не играетъ уже для мудреца новаго типа никакой роли,—его интересуетъ только личность, онъ махнулъ рукой на разложившуюся, непонятную, полную муки дѣйствительность, но среди темнаго моря бурь житейскихъ онъ хочетъ лишь создать для себя уголокъ свободы и покоя. Почему любитъ онъ покой? Потому что онъ недостаточно ограниченъ, чтобы, не раздумывая, грызться съ себѣ подобными за блага жизни, и, конечно, недостаточно энергиченъ, чтобы найти себѣ какую-либо широкую организующую, обобщающую цѣль, какое-нибудь сверхъиндивидуальное знамя, подъ которымъ онъ выступилъ бы на борьбу съ хаосомъ окружающей его общественной жизни.

Зажиточные классы выдѣляютъ эпикурейцевъ и стоиковъ. Общая черта всѣхъ—пріобрѣсти свободу для себя лично и тѣнь покоя и гармоніи путемъ самоограниченія. Это—обломки прежнихъ классовъ, стоявшихъ на стражѣ порядка, и своеобразные отбросы индивидуалистическаго житейскаго хаоса. Возвышенность эпикурейской или стоической точекъ зрѣнія, въ противопоставленіи ихъ низменности вульгарной жадности къ жизни, казалось несомнѣнной именно потому, что это по преимуществу или даже исключительно „гигіена“ высшихъ классовъ, интеллигенціи общества. Какъ имъ не думать, что они подчялись надъ жизнью, когда жизнь съ точки зрѣнія оторваннаго индивидуума дѣйствительно представляется горестной безсмыслицей, когда всякій, у кого есть время и возможность „думать“, немедленно отражаетъ въ своей личной философіи болѣзненную безпорядочность жизни. Какъ характерны въ этомъ смыслѣ веселые и спокойные боги Эпикура, поселившіеся въ „пустотахъ“ міра и

совершенно чуждые ему, или проснувшаяся у стоиковъ съ значительною силой любовь къ величественно спокойному въ неорганической природѣ. А въ иныя времена, когда воинственность, честолюбіе и жадность были отличительными чертами аристократіи, эпикурейское счастье въ удобной мѣщанской обстановкѣ и всякое вообще стремленіе купить маленькое спокойное счастье цѣною самообузданія—не казались отнюдь возвышеніемъ надъ жизнью, а низкой ограниченностью простолюдина, человѣка изъ черни, пониженнымъ существованіемъ. Наконецъ, и выдвинутая изстрадавшимся простонародіемъ страстная вѣра въ надземный „истинный міръ“, въ Бога, хранящаго справедливость и вскорѣ грядущаго съ судомъ праведнымъ, признана была воистину возвышенной, потому что она—христіанская чернь—усвоила себѣ въ самой высшей формѣ авторитарные идеалы и рабское самочувствіе. Идеальный міръ святыхъ и ангеловъ былъ построенъ по монархическому образцу, его центромъ было представленіе о непререкаемой власти, и лишь постепенно сдѣлалась хотя бы только возможной постановка вопроса: потому ли добро есть добро, что такъ хочетъ Богъ, или Богъ достоинъ поклоненія лишь потому, что хочетъ блага?

Я лишь бѣгло намѣчаю эти штрихи, но болѣе глубокое изслѣдованіе только ярче показало бы, что возвышенное религіи и метафизики всегда имѣло источникомъ своей „возвышенности“ либо свою принадлежность высшимъ классамъ, либо свою явно-авторитарную окраску. Возвышенно, потому что ассоціативно связано съ земнымъ представленіемъ о господствѣ, объ аристократіи,—вотъ что приходится сказать объ удобныхъ философскихъ концепціяхъ міра „истиннаго и вѣчнаго“. Небо, міропорядокъ, нравственный законъ, тысяча другихъ „высокихъ“ идей—вызываютъ въ сознаніи человѣка хоть мимолетно представленіе о власти, могуществѣ, вѣнцахъ державахъ, легкихъ ангелахъ; то болѣе

конкретно, то болѣе абстрактно всегда этотъ высшій міръ есть „главноуправленіе“. Другая категорія высокихъ идей—спокойствіе мудраго, равнодушіе къ благамъ земнымъ, душевная гармонія тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ представленіемъ объ аристократіи духа, о сливкахъ общества, о тонкой культурности и пр. Возвышенное либо создается властелинами или ихъ эпигонами по образу и подобію своему, либо создается демократіей по образу и подобію монархіи, конечно, проникнутой „народолюбіемъ“. Возвышенна идея объ „истинномъ мірѣ“ въ противоположность „низменной дѣйствительности“ только потому, что въ классовомъ обществѣ есть „верхъ и низъ“ и, все равно, сами ли верхи отражаютъ свои утопіи или свое утопическое разочарованіе въ возвышенной философіи, или рабы систематизируютъ свои упованія въ формѣ религіозныхъ мечтаній о справедливомъ „царѣ царствующихъ“.

Поскольку научная философія, философія позитивныхъ буржуа, просто строитъ нѣкоторыя схемы, помогающія намъ научно разобраться въ дѣйствительности, мы признаемъ ея цѣнность, цѣнность того же типа, что и цѣнность, скажемъ, таблицы логариѳмовъ. Но вообразите, что какой-нибудь математикъ, замѣтивъ, какъ вы „разстраиваете себѣ нервы“, слѣдя за „ужасами“ переживаемаго момента, будетъ вамъ говорить: „Занялись ли бы вы, батенька, рѣшеніемъ задачъ при помощи логариѳмовъ: что за чудная вещь!“ Тутъ тѣ же таблицы выступили бы, какъ моральная цѣнность, а именно, какъ успокоительное средство. Еще шагъ,—и вы, придя къ спокойному любованію законами математики, восторженно воскликнете: „Осанна создавшему ихъ разуму“, проникнетесь къ нимъ благоговѣніемъ. Увлекитесь этой моральной цѣнностью научныхъ абстракцій, и „разумность“ міропорядка—хотя бы и неопредѣленная, безличная—станетъ вашимъ утѣшеніемъ; вы съ презрѣніемъ и негодованіемъ оглянетесь на проклятый міръ страстей и страданій, пожа-

луй, потребуете отъ него подчиниться „разумности“ и начнете мечтать о „мандаринатѣ“, какъ Контъ и даже С.-Симонъ, и въ то же время, какъ Платонъ, какъ Конфуцій. Многообразны пути, ведущіе оторванную, обезкураженную хаотичностью общественной жизни личность къ „истинному міру“. Взглянувъ на небо такъ, какъ взглянулъ на него кн. Андрей, либо уйдешь въ него, либо захочешь низвести его на землю и трудно перебрать всѣ формы бѣгства отъ жизни и всѣ формы всяческихъ призывовъ къ „недѣланію“, „непротивленію“, подчиненію инстинктовъ „истинному я“, звѣря—духовному началу, „искрѣ Божіей“ и т. п.

Если бы кто-нибудь вздумалъ предложить читателю поинтересоваться въ настоящее время абстрактными схемами и научно-философской алгеброй, это было бы странно и неумѣстно, а если бы онъ добавилъ еще соображенія о „моральной цѣнности“ этой алгебры или расцвѣтилъ бы ее всѣми цвѣтами радуги,—онъ бы дѣлалъ, на мой взглядъ, дѣло измѣнника человѣчеству. Если же онъ затѣялъ бы, оперевшись на „вѣчное“, призывать живую жизнь—„опомниться“,—онъ дѣлалъ бы дѣло безнадежно-утопическое, и во всѣхъ трехъ случаяхъ читатель былъ бы глубоко правъ, отбросивъ долой его философію.

Но есть еще другая философія, которая съ „возвышенной“ философіей господъ и рабовъ всѣхъ типовъ и оттѣнковъ ничего общаго не имѣетъ: она не носится надъ жизнью, не ищетъ вѣчнаго, устойчиваго,—у нея другой принципъ. Именно въ движеніи, въ реальномъ потокѣ человѣческой исторіи видитъ она единственную „истинную дѣйствительность“, она никуда не бѣжитъ отъ улицы, отъ шума городовъ и отчаянія полей. Она не успокаиваетъ.

Философія жизни, философія конкретной дѣйствительности... Возможна ли она? Вѣдь философія, во-первыхъ, всегда зиждется на обобщеніяхъ; во-вторыхъ, какимъ образомъ можетъ такая философія помочь человѣку? Философія,

которая не обобщаетъ, не можетъ имѣть цѣнности научной. Философія, которая не утѣшаетъ, не можетъ имѣть цѣнности моральной.

Но реалистическая философія, созданная идеологами пролетаріата, въ огромной степени обладаетъ обѣими этими цѣнностями.

Она обобщаетъ, но, не отбрасывая презрительно время, не стараясь представить движеніе въ интегральной, вѣчной формулѣ, а лишь находя законы этого конкретнаго историческаго движенія, выводя изъ анализа дѣйствительности прошлаго и настоящаго—руководящіе принципы для предугадыванія будущаго. Марксистская историческая философія даетъ пониманіе того хаоса жизни, который пугаетъ оторванную индивидуальность, не подмѣняя его схемами, а путемъ анализа клокочущихъ въ немъ силъ; ища новыхъ формъ его развитія, въ нихъ, въ конкретной ихъ смѣнѣ, опредѣляющейся конкретными причинами, видя въ этомъ самое цѣнное для науки. Тутъ нѣтъ мѣста общимъ законамъ для всѣхъ временъ—тутъ все сводится къ изслѣдованію всегда перемѣнчивой реальности, учету полныхъ жизни тенденцій развитія общества. И вся наука вообще съ этой точки зрѣнія получаетъ иной смыслъ, весь міръ становится діалектическимъ процессомъ, растетъ передъ нами, какъ развертываніе все новыхъ формъ бытія, опредѣляемыхъ борьбою противоположныхъ элементовъ и ихъ взаимоприспособленіемъ. Все оживаетъ, но уже не ходитъ по заколдованному кругу, не повторяетъ вновь и вновь ту же въ небесахъ записанную роль, не подчиняется желѣзнымъ, кѣмъ-то разъ навсегда установленнымъ, законамъ, но изъ хаоса безконечно раздробленныхъ и разрозненныхъ элементовъ растетъ и растетъ въ безконечность процессъ самогармонизаціи міра, въ коемъ свое мѣсто занимаетъ и трагедія человѣка.

И такъ моральная цѣнность нашей философіи отлична

отъ цѣнности „возвышенныхъ“ философій! Ужасу реальности эта философія не противопоставляетъ грезы о „порядкѣ“, гдѣ-то существующемъ, ни для того, чтобы спастись отъ жизни въ царство мечты, ни для того, чтобы оттуда черпать форму для разныхъ возвышенныхъ законовъ, которые съ помощью „Высшаго блага“ должны нѣкогда неизбѣжно осуществиться въ нашемъ мірѣ, воплотиться. Нѣтъ, бѣжать отъ жизни пролетарію не нужно: какъ она ни тяжела ему, онъ ее не боится, онъ одолѣетъ ее и для воплощенія своихъ идеаловъ не ждетъ помощи „Вышняго“, а потому не нуждается въ томъ, чтобы его увѣряли, будто съ программой его вполнѣ согласенъ самъ Господь Богъ и ангелы его. Дѣйствительность понята въ ея противоположностяхъ, въ хаосѣ усмотрѣны элементы будущаго, силы, мощно растущія и направленныя къ гармонизаціи жизни черезъ обостренную борьбу съ элементами отживающими.

Здѣсь не мѣсто излагать эту философію,—я хочу лишь отмѣтить отличія ея отъ „возвышенныхъ“ концепцій, въ которыхъ словечко „законъ“ играетъ такую большую роль и всегда ассоціируется съ представленіемъ о приказѣ, распоряженіи власти, а также ея рѣзкое отличіе отъ всѣхъ наркотическихъ „возвышенностей“. Марксистская философія наблюдаетъ животрепещущую реальность и зоветъ къ активному вмѣшательству въ нее. Всѣ мы,—сторонники пролетарскаго міровоззрѣнія, — философы новаго типа, все равно, являемся ли мы больше теоретиками или больше практиками.

Храмъ или мастерская.

„Міръ не храмъ, а мастерская!“—воскликнулъ юношески-задорный русскій реалистъ; и до него, въ эпоху Великой Революціи, французскій реалистъ сказалъ: „Многое представляется намъ таинственнымъ и высокимъ только потому, что мы стоимъ передъ нимъ на колѣняхъ. Встанемъ же, братья!“

Воинственный буржуазный реализмъ разогналъ много тумана, разбилъ много душныхъ сводовъ, но не всѣ свободные умы, не всѣ свободныя сердца безъ оговорокъ привѣтствовали разрушительную работу просвѣтительной мысли. Я говорю тутъ только о свободныхъ умахъ и сердцахъ, я не говорю о тѣхъ романтикахъ, которымъ міръ показался менѣе живописнымъ, лишеннымъ мистической средневѣковой дымки. Я не говорю о тѣхъ, кому по-дѣтски жалко сребробородаго бога въ золотой коронѣ, который притворяется строгимъ среди сонмовъ ангеловъ съ разноцвѣтными крыльями. На свѣтѣ еще до сихъ поръ гораздо больше взрослыхъ, играющихъ въ куклы на манеръ жены Ибсеновскаго Сольнеса, чѣмъ это предполагаютъ. Помню, какъ послѣ бурной рѣчи молодого просвѣтителя одна очень неглупая барышня чуть не со слезами настаивала:

— „Я хочу, чтобы ангелы были! Иначе на свѣтѣ некрасиво!“—Эта страсть къ кукламъ, это капризное желаніе,

вопреки холодному требованію окрѣпшаго разума, вѣрить въ то, что сказки о феяхъ—правда, вовсе не доказываетъ, какъ думаютъ нѣкоторые, какой-то особенно поэтической складки въ натурѣ человѣка; напротивъ, весь этотъ дѣланный мистицизмъ, вся эта художническая ребячливость показываетъ своеобразную сухость сердца, неумѣніе обнять красоту дѣйствительности, неумѣніе почуять многосложную жизнь, многогранный блескъ того реальнаго міра, который сказочнѣе всякой сказки!

Молодой Гете, прочитавши Гольбаховскую „Систему природы", краснорѣчиво описалъ то тяжелое душевное состояніе, въ которое повергло его знакомство съ матеріалистическимъ взглядомъ на міръ. Но тутъ мы видимъ не болѣе, какъ смѣшеніе двухъ разныхъ отношеній къ міру: наука сѣра, потому что она по самой задачѣ своей вынуждена разлагать, анатомически расчленять изслѣдуемую ею природу, но она вовсе не отрицаетъ ея гармоніи и ея красоты. Ученому не слѣдуетъ вносить эстетическое, чувственное отношеніе въ свои изысканія, но только, какъ ученому; какъ человѣкъ—онъ будетъ съ неменьшимъ восторгомъ любоваться грандіозной красотой матери-природы.

Не смѣшно ли въ самомъ дѣлѣ было бы утверждать, что врачъ не можетъ глубоко-нѣжной любовью любить свою мать или страстно обожать свою жену, потому что онъ знаетъ слишкомъ точно, изъ какихъ элементовъ анатомически слагается ихъ тѣло, физіологически ихъ жизнь? Отношеніе Гете къ Гольбаху напоминаетъ именно отношеніе того юноши, который приходилъ въ ужасъ, когда ему описывали функціи мозга, и утверждалъ, что послѣ этого не можетъ быть ничего благороднаго и высокаго въ человѣкѣ, потому что вѣдь все—только химическіе процессы въ кускѣ студня.

Въ послѣднее время эстетическое капризничаніе съ требованіемъ существованія серафимовъ на небѣ и аргументы, подобные гетевскимъ, вновь интенсивно выкапываются чах-

лыми эпигонами той самой буржуазіи, первые вожди которой провозгласили торжество разума и правды. Это доказываетъ только, что буржуазія перестаетъ любить дѣйствительность; что корни, пущенные ею въ мать-землю, становятся все тоньше; что дѣйствительность становится для нея все болѣе непокорной и недоступной красавицей, такъ что она начинаетъ искать болѣе пріятнаго знакомства съ тощей и долгошеей, безкровной и безстрастной потусторонней мечтой.

Но существуетъ совсѣмъ другой типъ людей, на которыхъ холодная проза просвѣщенія дѣйствуетъ удручающимъ образомъ. Учительница одной воскресной школы передала мнѣ полуграмотно написанную тетрадь своего ученика—московскаго фабричнаго рабочаго. Тетрадь эта была однимъ изъ трагичнѣйшихъ документовъ, какіе мнѣ приходилось когда-нибудь читать. Научныя лекціи, преподанныя молодому рабочему въ воскресной школѣ, взволновали всю его душу. Я сначала не понялъ, почему онъ съ такимъ азартомъ, съ такою нескрываемой злобой противится научнымъ истинамъ, непреодолимо прокладывавшимъ путь въ его умъ оружіемъ логики. Выражался онъ тяжело, сбивчиво, но чувствовалось, какъ страсть клокочетъ въ этихъ строчкахъ, написанныхъ крупнымъ дѣтскимъ почеркомъ: „Всегда меня учили, что человѣкъ произошелъ отъ Адама, созданнаго по свѣтлому образу и подобію Божію; теперь же ученые господа говорятъ мнѣ, что человѣкъ просто вышелъ изъ лѣсу. Неужели же я когда-нибудь повѣрю этому?“ Наконецъ, все для меня стало ясно; я дошелъ до полной огня страницы, гдѣ душевная мука бѣднаго юноши излилась стремительнымъ потокомъ: „Госпожа учительница! Вы мнѣ разрушили мой спокой; я теперь несчастный человѣкъ; уже не одинъ годъ чахотка точитъ мою грудь, и докторъ мнѣ прямо сказалъ, что жить мнѣ недолго. Значитъ, скоро крышка всему; даже дышать, говорить, слушать, смотрѣть—и того не буду, а придется, согласно

наукѣ, смрадно гнить подъ землею. Однако же, радости на своемъ вѣку я никакой не видѣлъ и какъ могу такъ сдѣлать, чтобы усладилися мои послѣдніе дни? Не вижу тому никакихъ способовъ; но крѣпко вѣровалъ доселѣ, что еще не приходитъ послѣдній конецъ, что не въ тѣлесахъ жизнь, а въ душахъ, и что есть Господь справедливый... И старался быть добрымъ я, и не дѣлать никакихъ дурныхъ поступковъ; итакъ, хотя могу сказать наканунѣ смерти, умирая въ 20 съ небольшимъ лѣтъ, нашелъ себѣ спокой, и отошли отъ меня страхи. Госпожа учительница! Вы и прочіе господа учителя въ школѣ спокой мой нарушили вовсе, потому, что, если человѣкъ изъ лѣсу и есть ничто, какъ разумный скотъ, тогда скажите мнѣ, за что мнѣ ухватиться, чѣмъ себя утѣшить, чѣмъ прогнать предсмертные страхи? Значитъ, долженъ теперь, повѣривъ вашей наукѣ, утерять всякую надежду?—и рожденіе мое и жизнь долженъ я считать насмѣшкой и мукой? Отъ малыхъ лѣтъ я работаю и могу либо помереть, либо работать же, пока не свезутъ въ больницу, и тамъ, значитъ, крышка мнѣ. Не могу ждать пробужденія, но лишь тлѣнія только. Во что же вы меня превратили въ моихъ глазахъ: въ пищу червей".

Если буржуазный реалистъ, толкующій о томъ, что міръ—не храмъ, а мастерская, будетъ говорить, что жизнь, хотя и умѣщающаяся вся цѣликомъ между колыбелью и гробомъ, все же пріятная штука, ежели умѣть ею распорядиться, то вѣдь пролетарій совершенно справедливо отвѣтитъ ему, что какъ бы онъ, пролетарій, ни распоряжался своей жизнью, выходитъ все худо.—„И пить худо, господинъ, и не пить худо—говорилъ недавно мой сосѣдъ по конкѣ.—Не пить—очень скучно, однако, и пить то же самое не большое веселье. Напился—забылся, жену бѣдную спьяну избилъ и, могу сказать, унизилъ до тла... Потомъ продралъ глаза, а нужда злѣе прежняго, господинъ, прежняго скучнѣе стоитъ ужъ тутъ: здравствуйте-съ!" Это

не то, что богачъ, одѣтый въ пурпуръ и виссонъ, который, жирной рукой округло указуя на запасы свои, молвитъ: „Ѣшь, пей и веселись душа!“ Это не то, что „трезвый реалистъ“, который утро провелъ за переводомъ большого сочиненія по физіологіи животно-растеній, а потомъ въ демократической, выпачканной чернилами, блузѣ садится за столъ рядомъ съ женою—„разумной личностью“ и шалунами-дѣтьми и съ аппетитомъ ѣстъ свой скромный супъ, поучая: „Жизнь, не исполненная разумнаго труда, жизнь безъ излишествъ и устроенная по правиламъ гигіены—есть безусловное благо, и пессимисты напрасно противъ этого говорятъ“.

Положеніе молодого автора вышеприведеннаго письма къ учительницѣ сильно осложнялось чахоткой. Но надо быть весьма легкомысленнымъ, чтобы не знать, что всѣ люди отъ рожденія больны смертельной болѣзнью. Если иной богачъ, вмѣсто того, чтобы ѣсть, пить и веселиться, страдаетъ сплиномъ и идейно зѣваетъ, равнодушными глазами смотря на всѣ щедроты судьбы, высыпанныя къ его ногамъ изъ рога изобилія; если множество интеллигентовъ ломаютъ самую возможность гигіенической жизни и встаютъ на дыбы,—то тѣмъ болѣе пролетарій можетъ воскликнуть: „Жизнь наша собачья, дѣться некуда!“

Міръ—не храмъ, а мастерская. Скверная, капиталистическая мастерская, полная безтолковаго шума, стихійной вражды, каторжнаго труда и тунеядства... И изъ мастерской все таскаютъ да таскаютъ ногами впередъ на кладбище.

Вотъ Спиноза смотритъ на меня съ портрета мягкими глазами и говоритъ: „Мудрецъ ни о чемъ не думаетъ меньше, чѣмъ о смерти“. Не лучше-ли по нынѣшнимъ временамъ, высокочтимый Барухъ, мудрецу вовсе не думать, а? И поэтому случаю не напиться ли до зеленаго змія?

Mentre che il danno e la vergogna dura
Non veder, non sentir me gran ventura...

Я, однако, вовсе не даю столь горькаго отвѣта Спинозѣ. Напротивъ. Этотъ отвѣтъ я далъ бы ему если бы я думалъ, что міръ—мастерская и только. Но Спиноза не думалъ такъ. Я тоже не думаю такъ. „Такъ вы думаете, что міръ — храмъ?“ Ужъ не продѣлываю ли я, въ самомъ дѣлѣ, травкторію „отъ марксизма къ идеализму“?

Одного ребенка забыли въ церкви. Это сдѣлала подвыпившая мать. Ребенокъ заснулъ во время длиннаго богослуженія. Наши богослуженія, какъ извѣстно, переполнены многоглаголаніемъ, въ которомъ, согласно писанію, нѣсть спасенія. Когда ребенокъ проснулся, въ церкви никого не было, и было темно. Лишь передъ наиболѣе чтимыми образами теплились лампадки. Ребенокъ заплакалъ; на первый его крикъ огромное зданіе отвѣтило воплями и криками, и довольно долго кто-то гудѣлъ и кто-то отзывался по сводамъ и угламъ. Ребенокъ умолкъ; собственный голосъ былъ страшенъ ему при такомъ аккомпаниментѣ. Онъ пошелъ къ дверямъ. И каждый шагъ его звенѣлъ и его считали. Было ясно, что населеніе пустой церкви внимательно относилось къ его шагамъ. Вотъ при меркнущемъ свѣтѣ лампады чье-то худое лицо съ большими глазами, какой-то святой грозитъ длиннымъ желтымъ пальцемъ. Ребенокъ жмется къ стѣнѣ. Его ручонка попала на какой-то выступъ. Что это такое? Это чьи-то ноги, пронзенныя гвоздемъ, на нихъ кровь, а когда ребенокъ глянулъ вверхъ, онъ увидѣлъ въ полутьмѣ худое тѣло, ребра, язву и искаженное лицо. Темно, странно страшно въ пустомъ, но живомъ, въ молчащемъ, но звучномъ храмѣ. Ужасъ стиснулъ маленькое сердечко. Весь въ слезахъ, ребенокъ сталъ на колѣни и тонкимъ голосомъ взмолился: „Боженька, Боженька, не дѣлай мнѣ больно“.

Развѣ не таковъ былъ приблизительно міръ-храмъ? Человѣкъ радостно вздохнулъ, когда освободился отъ присутствія „Боженьки“ и сталъ трудиться, распоряжаясь по-сво-

ему въ ближайшемъ къ нему участкѣ природы. Пусть хнычутъ тѣ, кому страшно безъ помощи Божіей. Сильный и смѣлый человѣкъ гордо поднялъ голову и вытянулъ стальныя руки: „Бога нѣтъ, стало быть я теперь, я!“

Но мастерская организована отвратительно. Подавляющее большинство заинтересовано въ томъ, чтобы реорганизовать ее. Но лишь меньшинство пока понимаетъ, въ чемъ оно на самомъ дѣлѣ заинтересовано и въ какомъ направленіи нужна реорганизація.

Да, реорганизовать необходимо, потому что жить и работать въ мастерской при настоящихъ условіяхъ нѣтъ силъ. Это исходный пунктъ. Силъ нѣту. „Жизнь наша собачья: податься некуда“. Тутъ есть одинъ пунктъ, предѣльный пунктъ, странный изломъ. Какъ только становится ясно, что надо бороться за реорганизацію мастерской, что въ этой борьбѣ у тебя есть многочисленные товарищи—всѣ твои представленія и чувствованія быстро мѣняются. Борьба тяжка, зачастую грозитъ голодомъ, ранами, смертью и не сулитъ очень легкихъ побѣдъ: радикальнаго улучшенія не приходится ждать для нашего поколѣнія. Но съ удивленіемъ замѣчаешь, что это вопросъ второстепенный. Второстепенно—доживешь ли до побѣды. Первозначительно лишь то, будетъ ли, наконецъ, перестроена мастерская? Въ ней закипаетъ новая работа, непохожая на всѣ остальныя; работа, направленная не къ созданію какихъ бы то ни было необходимыхъ для жизни продуктовъ,—работа критики, ломки, разрушенія. Но чтобы разрушать—и вамъ самому и тѣмъ большимъ, недавно лишь всколыхнувшимся массамъ, силами которыхъ только и выполнима намѣченная титаническая работа—необходимъ положительный планъ, планъ того, какъ должна быть организована мастерская. Иные ловко и торопливо спасаются отъ того излома, о которомъ я говорилъ: они намѣчаютъ мелочныя улучшенія, способныя нѣсколько украсить „собачью жизнь“; они рисуютъ

серію такихъ улучшеній и не выходятъ за предѣлы своей личности, понятныхъ простому разуму благъ для себя; мастерская все время остается раціоналистическою мастерскою. Другіе—разъ заработала ихъ критическая и ихъ творческая мысль—ставятъ рѣзче вопросъ о такомъ пересозданіи мастерской, которое сразу позволило бы „выпрямиться“ человѣку, и тутъ открываются величественныя перспективы: какой свѣтлой, какой огромной, какой преисполненной красоты и счастья является мастерская будущаго; какимъ дорогимъ творецъ-человѣкъ, тотъ великій мастеровой, для котораго—міръ и мастерская и кусокъ матеріала, тотъ мастеровой, который, побѣждая стихіи, творитъ разумное, прекрасное, ликующее, по образу и подобію своего гармонично бьющагося сердца. На изломѣ человѣкъ становится жаденъ: онъ не хочетъ остановиться на удовлетвореніи первыхъ потребностей,—онъ привѣтствуетъ безконечный ростъ потребностей и безконечный ростъ производительныхъ силъ, рабски покорныхъ властелину-человѣку. Перспективы грандіозны, размахъ борьбы все увеличивается, великая цѣль рождаетъ тотъ энтузіамъ, безъ котораго ни одна великая цѣль не можетъ быть достигнута. Но если раститъ душу уже тотъ идеалъ, который вырастаетъ изъ пролетарской критики существующей мастерской, то еще больше раститъ ее борьба, борьба, въ которой личность теряется въ коллективѣ, естественно становится самоотверженной, активной, героической... Личность теряется въ коллективѣ, чтобы найти себя обогащенной, чтобы въ своемъ сердцѣ переживать приливы и буруны массовой любви, массовой ненависти гуляющихъ по океану сердецъ. Всѣ масштабы разума, этого аршина, къ которому все прикидываютъ въ капиталистической мастерской, откинуты. Люди подымаются до сверхъ-разумнаго, т. е. до разумнаго исторически, до разумнаго съ точки зрѣнія класса и человѣчества. И куда ушелъ теперь вопросъ о смерти? о неизлечимой болѣзни,

которою боленъ каждый человѣкъ? „Собачья жизнь“ превратилась въ кипучую борьбу, полную острыхъ наслажденій, заставляющихъ забыть о страданіяхъ: уже нельзя сказать, что некуда податься, податься есть куда—впередъ, на врага!

Но какая странная мастерская этотъ міръ! И можно ли сказать о ней, что она прозаична, что въ ней течетъ только мѣщански-организованная или помѣщански-дезорганизованная трудовая жизнь? Гдѣ тамъ! Въ мірѣ есть мѣсто для энтузіазма, для творчества, для колоссальнаго строительства, для безбрежной любви, побѣждающей времена и пространства. И вы все-таки находите, что онъ недостаточно поэтиченъ, гг. романтики?— Бѣдные, сухіе сердцемъ! Міръ есть скверная мастерская, но силами своихъ страдальцевъ эта мастерская становится ареной величайшей міровой борьбы и превращается въ храмъ. Да! превращается въ храмъ, въ которомъ богомъ будетъ самъ человѣкъ.

„Свое рожденіе и свою жизнь я долженъ считать насмѣшкой!“ Стоитъ войти въ борьбу—и передъ тобою развернутся золотые пути къ солнцу свободы и радости, подъ ногами расцвѣтутъ новые цвѣты, ты найдешь, чѣмъ можетъ „усладиться твоя жизнь“, и „смыселъ“ твоей жизни станетъ чувствоваться такъ ярко! И жизнь развернется широкой прекрасной долиной далеко-далеко за твоею могилой, и страхи, какъ стая побитыхъ собакъ, отойдутъ отъ тебя.

Экскурсія на „Полярную Звѣзду“ и въ окрестности.

I.

Когда я узналъ, что г. Петръ Струве и его товарищи-„освобожденцы“ будутъ издавать журналъ подъ названіемъ „Полярная Звѣзда“, фактъ этотъ показался мнѣ верхомъ комизма. Какъ? „Освобожденіе“, мягко скользившее вверхъ и внизъ по скалѣ демократизма, съ чуткостью барометра учитывавшее давленіе революціоннаго настроенія массъ, „Освобожденіе“, отличавшееся положительно флюгерною подвижностью своихъ взглядовъ, — переименовывается теперь именемъ единственнаго неподвижнаго и незыблемаго пункта, какой существуетъ на нашемъ небосклонѣ?

Всѣ помнятъ, съ какимъ благороднымъ негодованіемъ г. Струве отвергалъ обвиненіе въ одинаково отрицательномъ отношеніи къ „анархіи сверху“ и „анархіи снизу“. Теперь гг. Струве и К° эту борьбу на два фронта (борьбу, конечно чисто-словесную), возвели уже во главу угла своей политической, культурной и философской позиціи. Теперь г. Струве не придетъ уже, конечно, въ голову отрицать свою равномѣрную ненависть къ обоимъ „стачечнымъ комитетамъ“,— ему развѣ только впору какъ-нибудь обѣлить себя отъ все громче звучащихъ утвержденій, что Струве въ своемъ ра-

стущемъ недовольствѣ „неумѣренностью и безумной стремительностью крайнихъ партій, въ своей тоскливой жаждѣ „сильной власти“, сдѣлалъ себя почти неудобнымъ даже въ кадетской партіи.

А, впрочемъ, надо ли г. Струве обѣлять себя? Найдетъ ли онъ это нужнымъ при его „достойномъ удивленія моральномъ мужествѣ“, констатированномъ недавно Бердяевымъ? Доблестный мужъ можетъ при этомъ почерпать силы для презрительно величаваго игнорированія недовольства тѣхъ, кого онъ обгоняетъ въ своемъ неуклонномъ движеніи вправо, не только въ своемъ собственномъ моральномъ сознаніи, но и въ шумномъ одобреніи тѣхъ, къ кому онъ въ вышеупомянутомъ движеніи приближается.

Многіе такъ называемые „марксистообразные“, къ типу и стану которыхъ принадлежалъ прежде Струве, были огорчены эволюціей своего вождя въ откровенно буржуазные политики. Но развѣ эксъ-марксистъ не былъ съ избыткомъ вознагражденъ симпатіями своихъ новыхъ друзей—Петрункевичей, Трубецкихъ и имъ подобныхъ, столь далекихъ отъ всякаго соціализма, дѣятелей; и теперь, если Петръ Бернгардовичъ съ Божьей помощью покинетъ ряды кадетовъ *), не потонетъ ли горестный вопль покинутой Дидоны въ ликующихъ привѣтствіяхъ все растущихъ въ числѣ и значеніи „сыновъ 17 октября“? Г. Струве, конечно, сочтетъ достаточной компетенціей замѣну болѣе лѣвыхъ сторонниковъ болѣе правыми. Выборъ его не подлежитъ сомнѣнію. Послушайте, напр., что говоритъ о немъ поклонникъ этого „громаднаго государственнаго ума“ — Бердяевъ: „Положеніе П. Б. Струве очень трагическое. Онъ задыхается въ атмосферѣ предразсудковъ и старовѣрчества нашей „радикальной“ интеллигенціи, не выноситъ ея узости, ея связанности, ви-

*) Писано до кадетскихъ побѣдъ, которыя конечно, „закрѣпили“ г. Струве.

дить ея оторванность отъ народа, отъ сердца Россіи, ея неспособность къ большой всенародной политикѣ, и идетъ... къ либеральнымъ земцамъ и профессорамъ, которые не имѣютъ предразсудковъ традиціоннаго радикализма, но имѣютъ изрядное количество предразсудковъ академическихъ или барско-владѣльческихъ, тоже вѣдь мало привлекательныхъ, которые лишены паѳоса, страдаютъ политической безполостью".

Барско-владѣльческіе предразсудки г. Струве кажутся, такимъ образомъ, лежащими гораздо ближе къ „сердцу Россіи" и безконечно болѣе сносными, чѣмъ „узость" радикаловъ.

Но если г-нъ Струве — личность подвижная, то въ его движеніи есть, по крайней мѣрѣ, извѣстная закономѣрность: это равноускоренное движеніе слѣва направо.

Но возьмите все созвѣздіе сотрудниковъ Струве,—тутъ въ общей подвижности нельзя даже усмотрѣть закономѣрности. Вновь взошедшая „Звѣзда", претендующая на наименованіе „Полярной", пляшетъ на небѣ, вырисовывая довольно ирраціональные зигзаги. Такъ металось, вѣроятно, по небу Солнце, руководимое Фаэтономъ; какъ кони Платоновской души, или какъ лебедь, щука и ракъ, тянутъ—кто въ лѣсъ, кто по дрова—„рыцари „Полярной Звѣзды". Кауфманъ тащитъ направо, Франкъ рвется налѣво, а Струве подхлестываетъ того и другого, стараясь сохранить равновѣсіе; вся компанія, клубящаяся и толкающая другъ друга, какъ мы прекрасно знаемъ, будетъ порывисто метаться и мѣнять двусмысленные параграфы своей туманной программы въ зависимости отъ дальнѣйшихъ судебъ русской революціи. Хорошенькая „Полярная Звѣзда"! Хорошій образчикъ стойкости и неизмѣнности!

И тѣмъ не менѣе, въ этомъ названіи и его странномъ несоотвѣтствіи политической физіономіи нашихъ шатуновъ кроется глубокая логика.

Чѣмъ болѣе шатка политическая позиція, тѣмъ настоятельнѣе у ея членовъ потребность выдать себя за людей принципіальныхъ. Г-нъ Франкъ говоритъ объ этомъ:

„Всякая политическая партія, въ силу самаго существа ея задачъ и дѣятельности, въ извѣстномъ смыслѣ необходимо есть партія „реальной политики“, ибо, желая не только исповѣдовать свою вѣру, но и добиться ея осуществленія въ жизни, она должна считаться съ реальными условіями и пользоваться реальными, доступными ей средствами. Отрицать „реальную“ политику—значитъ отрицать политику вообще, и это можетъ дѣлать лишь религіозная сект, какъ, напр., толстовство, но не политическая партія. Съ другой стороны, всякая политика должна руководиться общими идеями, и то, что кажется чисто тактическимъ разногласіемъ, по большей части оказывается разногласіемъ принципіальнымъ, вытекаетъ изъ различія моральныхъ и политическихъ убѣжденій. И потому уже давно пора—а сейчасъ прямо настоятельно необходимо—подвести подъ широкое демократическое движеніе, не укладывающееся въ русло соціалистическихъ партійныхъ организацій, самостоятельный и прочный идейный фундаментъ“.

„Давно пора“... Дѣйствительно, если всякая политика должна руководиться общими идеями, то какимъ же образомъ случилось, что объ этомъ только теперь подумали столь философски настроенные идеологи наиболѣе „интеллигентной партіи“?

Г-нъ Франкъ создаетъ въ объясненіе никуда негодную теорію. Онъ говоритъ: „Бой продолжается, но поворотный пунктъ его уже позади насъ; мы уже преслѣдуемъ бѣгущаго врага и должны озаботиться устройствомъ новой жизни на полѣ битвы, покидаемомъ имъ. Борьба разрушительная можетъ вестись безъ широкихъ идей, безъ сознанія отдаленныхъ ея цѣлей; борьба созидательная, начало которой уже наступило, нуждается въ культурномъ творчествѣ, въ ясно-

сти и цѣльности міросозерцанія, въ богатствѣ духа и свободѣ его иниціативы.

Трудно предположить, чтобы г. Франкъ дѣйствительно вѣрилъ въ то, что „поворотный пунктъ достигнутъ“ и что мы вступили въ творческій фазисъ. Правда, оружіе критики будетъ сложено представителями буржуазной интеллигенціи въ такой періодъ, когда крайнія партіи будутъ еще считать настоятельно необходимой критику оружія, но и моментъ, благопріятный для созидательной дѣятельности кадетовъ, еще далеко не наступилъ даже теперь—послѣ „побѣды“.

Строго говоря, попытка принципіальнаго обоснованія зыбкой реальной политики промежуточной партіи вовсе не нова,—можно сказать съ полной увѣренностью, что дѣятельность „Полярной Звѣзды“ ничего существеннаго не прибавила къ установившейся уже надзвѣздно-ползучей доктринѣ умѣренно-лѣвой буржуазіи.

Близкая къ жизни принципіальность не можетъ не отразиться въ программѣ партіи, какъ строгая опредѣленность требованій, въ ея тактикѣ—какъ сила характера и неуклонная послѣдовательность. Реальные, полные живою кровью принципы обязываютъ партію держать твердый курсъ и помогаютъ ей въ этой задачѣ. Рабочая партія, напр., вовсе не строитъ своей тактики по примѣру Николая I, опредѣлившаго направленіе Николаевской желѣзной дороги, черкнувъ на картѣ прямую по линейкѣ линію между Москвой и Петербургомъ. Только недобросовѣстные противники рабочей партіи могутъ упрекать ее въ такой упрощенной прямолинейности. Нѣтъ, живая дѣйствительность принимается въ соображеніе, скалы и мели посильно обходятъ, попутнымъ вѣтромъ и теченіемъ посильно пользуются, но все-таки курсъ держатъ твердо, и конечная цѣль и цѣпь ближайшихъ требованій-этаповъ даны неизмѣнно, принципіально незыблемы, потому что вытекаютъ изъ глубокаго общаго анализа совре-

меннаго общества. Живые, реальные принципы никогда не могутъ являться апріорными постулатами, на девять десятыхъ они — результатъ научнаго изслѣдованія тенденцій общественнаго развитія. Требованія рабочей партіи являются субъективными цѣлями этой партіи и въ то же время объективными результатами общественнаго прогресса. Какъ это возможно? Это возможно потому, что рабочій классъ въ одно и то же время субъектъ, оцѣнивающій общественныя явленія и устанавливающій цѣли, и главный элементъ діалектически развивающагося общества, не только вообще крупная сила среди другихъ силъ, но сила, все растущая, въ конечномъ счетѣ долженствующая опредѣлить собою весь характеръ общественнаго развитія. Желанія сознательной части рабочаго класса являются прямымъ отраженіемъ стихійной борьбы въ нѣдрахъ общества, естественной антиципаціей грядущихъ побѣдъ растущаго новаго надъ дряхлѣющимъ старымъ. Рабочая партія, съ одной стороны, связана съ самымъ могучимъ и стихійно растущимъ элементомъ развертывающейся соціальной революціи, съ другой—связана именно съ элементомъ вполнѣ опредѣленнымъ, въ себѣ цѣльнымъ, а не разношерстымъ и внутренно-противорѣчивымъ.

Но какъ можете вы требовать принципіальности отъ партіи, сложившейся изъ разныхъ кусочковъ и остатковъ большихъ и властныхъ политическихъ направленій? Могутъ ли идеологи этой пестрой партіи кѣмъ-нибудь руководить? Они носятся по морю житейскому, какъ утлая ладья, и, поворачивая по направленію наиболѣе сильнаго въ данную минуту вѣтра, съ комической важностью заявляютъ, что стремятся къ „широкой народной политикѣ“, а для этой-де цѣли никакъ невозможно вести свою собственную линію, а, напротивъ, надобно угадать равнодѣйствующую и по ней-то и направиться. Впрочемъ, я еще углубилъ нѣсколько общественную философію сотрудниковъ „Полярной Звѣзды“: они

стараются затушевать тотъ фактъ, что чаемая ими „широкая народная политика“ не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ равнодѣйствующей многихъ борющихся классовыхъ силъ; они любятъ оперировать съ понятіемъ „общественное мнѣніе“; они съ важностью упрекаютъ крайнія партіи въ неумѣніи согласовать свои дѣйствія съ этимъ общественнымъ мнѣніемъ. Въ статьѣ „Политика и идеи“ г. Франкъ старается, впрочемъ, ближе опредѣлить это понятіе, и выходитъ у него слѣдующее: „Мы твердо убѣждены, что единственной основой всякаго политическаго и соціальнаго порядка, какъ и единственнымъ и послѣднимъ двигателемъ всякаго политическаго и соціальнаго прогресса и переворота является общественное мнѣніе, совокупность и равнодѣйствующая господствующихъ въ народѣ вѣрованій, стремленій и настроеній. Эта довольно банальная на первый взглядъ истина на практикѣ не пользуется особой популярностью въ Россіи“.

Послѣдняя фраза этой тирады придаетъ ей особый комизмъ: банальность своего положенія г. Франкъ принялъ за его доказанность, а между тѣмъ оно самымъ очевиднымъ образомъ не стоитъ на своихъ ногахъ, и его не нужно толкать для того, чтобы оно упало. Какимъ образомъ, въ самомъ дѣлѣ, „равнодѣйствующая“ можетъ быть „послѣднимъ двигателемъ“? Совершенно очевидно, что она сама является результатомъ сложенія борющихся между собою силъ, которыя, какъ это ясно и ребенку, и являются послѣдними двигателями. Если общественное мнѣніе есть „совокупность стремленій“, то только филистеръ, только безвольный зритель можетъ по-просту согласовать съ этой „совокупностью“ свои собственныя стремленія, всякая же активная личность, всякій членъ общества, а тѣмъ болѣе всякій классъ будетъ стараться измѣнить въ своемъ духѣ „совокупность“ путемъ подъема энергіи своего собственнаго стремленія, какъ одного изъ слагаемыхъ. Вѣдь переведя на рус-

скій языкъ, на простую рѣчь премудрость Франка и его товарищей, мы получимъ совѣтъ—безвольно подчиняться рѣшенію стихійнаго самобытнаго большинства. И къ этому приводятъ насъ господа, съ надрывомъ твердящіе о самостоятельности личности, объ ея священныхъ правахъ и о томъ, что она — „единственная на землѣ реальная точка, въ которой и черезъ которую дѣйствуетъ божественный духъ".

Наши розовые друзья, глубоко убѣжденные, что „равнодѣйствующая",—если только крайнія партіи не будутъ слишкомъ усердствовать,—пройдетъ гдѣ-то близко отъ желательнаго имъ направленія, формулируютъ свое приглашеніе передовыхъ элементовъ общества пассивно подчиниться механическому большинству еще и въ видѣ проповѣди подчиненія классовыхъ интересовъ общегосударственнымъ. Такую задачу взялъ на себя г. Котляревскій, который, чувствуя всю неумѣстность этой проповѣди, счелъ нужнымъ еще покривляться и съ сокрушенными вздохами заявить: „Трудно въ такія минуты, какъ теперь, проповѣдовать самоограниченіе, трудно именно дѣлать это передъ тѣми, кто дольше всѣхъ страдалъ и сейчасъ чувствуетъ себя вышедшимъ на свѣжій воздухъ; передъ кѣмъ открывается надежда достигнуть достойнаго человѣческаго существованія".

Всѣ эти хитрости въ концѣ концовъ свидѣтельствуютъ только о крайнемъ политическомъ убожествѣ той партіи, идеологами которой являются перечисленные авторы. Ничто не можетъ спасти ихъ отъ флюгернаго существованія. Плебесцита въ Россіи не произведешь и настоящаго мнѣнія большинства не узнаешь доподлинно; притомъ же настроеніе различныхъ группъ народа измѣнчиво,—вотъ и приходится играть роль барометра, угадывающаго погоду.

Не могу не остановиться на одномъ поучительномъ курьезѣ. Г. Струве въ передовой статьѣ перваго номера

БИБЛІОТЕКА

„Полярной Звѣзды“ пишетъ о Совѣтѣ Рабочихъ Депутатовъ:

„Онъ, „хозяинъ рабочаго петербургскаго народа“, приказывалъ; ему подчинялись. Но содержаніе своихъ приказовъ онъ черпалъ не въ своемъ собственномъ пониманіи того, что нужно и возможно для „подданныхъ“, а въ мѣняющихся настроеніяхъ этихъ подданныхъ. Эти настроенія Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ возвращалъ рабочимъ въ краткихъ, электризующихъ, приказательныхъ формулахъ. Такъ дѣйствовалъ, по крайней мѣрѣ, Хрусталевъ-Носарь. И потому Совѣтъ Рабочихъ Депутатовъ не былъ властью, онъ только ею казался. И онъ казался тѣмъ болѣе огромной властью, чѣмъ послушнѣе исполнялись его приказы, т. е., въ сущности, чѣмъ послушнѣе былъ онъ самъ. Ужасное безвластіе русской революціи открылось мнѣ именно тогда, когда я—съ напряженнымъ вниманіемъ—вслушивался въ пренія Совѣта Рабочихъ Депутатовъ“.

Такимъ образомъ, ужасное безвластіе Совѣта Рабочихъ Депутатовъ заключалось какъ разъ въ томъ, что онъ считался съ общественнымъ мнѣніемъ того класса, интересы котораго представлялъ. Если „сильная власть“, о которой мечтаетъ Струве, будетъ, согласно рецепту Франка, подчиняться „единственной основѣ всякаго порядка — общественному мнѣнію“, Струве тотчасъ обвинитъ ее въ „ужасномъ безвластіи“. По Струве — власть должна властвовать надъ „измѣнчивыми настроеніями своихъ подданныхъ“, а по Франку — подчиняться общественному мнѣнію. Разберись, поди! Но если вы вдумаетесь въ сущность мотивовъ обоихъ утвержденій, вамъ станетъ ясно, какъ они сливаются и что тогда значатъ: „власть должна подчиняться общественному мнѣнію „общества“ и властвовать надъ подданными, не принадлежащими къ „обществу“.

Но кадеты съ „Полярной Звѣзды“ никогда не выскажутъ даже себѣ самимъ такъ голо этого своего желанія, ибо они—

представители промежуточныхъ классовъ — чуютъ, что эта формула можетъ легко повести къ порядку, при которомъ сами они очутятся за предѣлами „правящаго общества“ въ числѣ тѣхъ „подданныхъ“, съ настроеніями которыхъ „не считаются“. Единственно, чѣмъ могутъ быть милы и полезны для такихъ завѣдомыхъ членовъ „общества“, какъ либеральные князья, безцензовые жители „Полярной Звѣзды“, это мнимой возможностью состроить позицію, не нарушающую насущныхъ интересовъ либеральныхъ землевладѣльцевъ и въ то же время пріемлемую для „народа“.

Этого хотятъ достигнуть реальной политикой, клонящейся къ выгодамъ имущихъ классовъ, и высшими принципами демократическаго и идеалъ-соціалистическаго характера съ обѣтами о томъ, что „медленнымъ шагомъ, робкимъ зигзагомъ“ мы до всего дойдемъ, и нѣкогда всѣмъ хорошо будетъ, пока же,—какъ это ни грустно, — классовые интересы пролетаріата и крестьянства должны быть принесены въ жертву государственнымъ интересамъ буржуазіи.

Сдобрить черствую свою реальную политику небеснымъ елеемъ возвышенной принципіальности, замаскировать свои метанія, свою пеструю природу высокопарной полярной неподвижностью общихъ началъ — вотъ естественная потребность этой несчастной партіи, вѣрнѣе, ея несчастныхъ лѣвыхъ идеологовъ, и она-то и выполнялась на страницахъ „Полярной Звѣзды“. Названіе, какъ видите, характерное и вполнѣ соотвѣтствующее: вертясь на землѣ по волѣ „равнодѣйствующей“, извиваясь среди „реальныхъ возможностей“, кадетъ утѣшается неподвижностью и высотою идеалистически-метафизической „звѣзды“.

Если что ново въ этомъ журналѣ по сравненію съ прежними лабораторіями буржуазнаго идеализма, такъ это потуги провести подъ флагомъ идеализма помѣщичьи интересы, шаткій и валкій союзъ струвистовъ съ Кауфманомъ, Петрункевичемъ и имъ подобными. Идеалистическій

элексиръ примѣняется на практикѣ; его ароматъ долженъ помочь публикѣ проглотить либерально-монархическую похлебку, отъ которой иначе такъ разило бы дворянскимъ ароматомъ, что бѣда!

Удалось ли, однако, это? Повидимому, нѣтъ. По мнѣнію одного изъ парфюмеровъ, приготовившихъ идеалистическій о-де-колонъ, парфюмерныхъ дѣлъ мастера Николая Бердяева, лѣвая помѣщичья группа, единственное реальное ядро кадетовъ, пахнетъ чужимъ потомъ, несмотря на постоянныя обильныя вспрыскиванія надзвѣзднымъ флеръ д'оранжемъ. Г. Бердяевъ пишетъ, напримѣръ:

„Не нужно быть сторонникомъ экономическаго матеріализма, чтобы увидѣть всю „буржуазность“ психологіи к.-д. Это—порода людей, имѣющая вкусъ къ мирной парламентской дѣятельности, но неспособная къ творческой работѣ національнаго перерожденія, лишенная обаянія, энтузіазма, широкаго историческаго размаха. У огромнаго большинства к.-д. нѣтъ идеи всенародной политики, о которой мечтаетъ Струве; демократизмъ ихъ чисто-теоретическій и не всегда искренній; психологическія предпосылки у нихъ таковы, что они не могутъ говорить въ народныхъ собраніяхъ, среди крестьянъ и рабочихъ и привлекать къ себѣ сердца народныхъ массъ“.

„У к.-д. нѣтъ вѣры, которую они могли бы понести народу, нѣтъ міросозерцанія, заражающаго массы; никто не пожелаетъ страдать и умирать за эту партію, и она не будетъ народной, она распадется, и часть ея образуетъ партію откровенно-буржуазную“.

Специфическій „душокъ“ кадетовъ такъ ударилъ въ тонкій носъ нашего парфюмера, что онъ, не такъ давно поносившій соціалдемократію за ея слишкомъ земные (даже „свиные“—осмѣлился онъ сказать) идеалы, вдругъ возопилъ:

„Соціалдемократія даетъ религіозный паѳосъ, которымъ заражаетъ сердца народныхъ массъ, увлекаетъ молодежь.

Сама политика для соціалдемократовъ есть религія, религіозное дѣланіе. Что могутъ противопоставить этому к.-д.?“

Статья Бердяева, которуя я цитирую, интересна, несмотря на ея удивительную политическую ребячливость, тѣмъ, что въ ней неожиданно констатируется, что даже въ области „религіознаго паѳоса“, которымъ такъ гордилась столь философская и столь культурная кадетская партія,— у соціалдемократовъ оказались преимущества по признанію самого архи-религіознаго Бердяева.

„Полярная Звѣзда“—вовсе не полярная звѣзда, а туманность, при анализѣ которой приходится признать, что имѣешь дѣло не со скопленіемъ звѣздъ и не съ первобытной матеріей — матерью звѣздъ—и даже вообще не съ небеснымъ тѣломъ, а просто съ клочкомъ чада помѣщичьихъ вожделѣній, смѣшаннаго съ фиміамомъ интеллигентскихъ кадильницъ и поднятаго вѣтромъ народнаго движенія на нѣкоторую высоту.

Трудно, почти невозможно даже, исчерпать весь тотъ богатѣйшій матеріалъ слабыхъ мѣстъ, характерныхъ чертъ, нелѣпостей и претенціозностей, который даетъ „Звѣзда“ любому идеологу „непочтительныхъ хамовъ“; мы выберемъ лишь нѣсколько характерныхъ разсужденій и поученій нашихъ идеалистовъ, руководясь не столько желаніемъ возможно полнѣе охарактеризовать ихъ физіономію, сколько противопоставить узости, плоскости и запутанности идейныхъ построеній этихъ столь гордящихся своей образованностью и глубиной писателей,—ту широту и ясность, которыми одаряетъ марксистская точка зрѣнія даже самаго скромнаго пролетарскаго философа.

II.

Начнемъ хотя бы съ постановки у гг. идеалистовъ вопроса о соціализмѣ. Къ вопросу этому публицисты „Поляр-

ной Звѣзды“ возвращаются постоянно. Имъ вовсе не охота порвать всякую связь со знаменемъ, со словомъ, которое, по признанію, вѣроятно, большей половины культурнаго человѣчества, является знаменемъ и лозунгомъ будущаго. Для настоящаго интеллигента, т. е. такого, которому свойственно гордиться своимъ внѣ-классовымъ безпристрастіемъ даже въ Западной Европѣ, а тѣмъ болѣе въ Россіи, просто совѣстно не быть адептомъ соціализма, конечно, адептомъ чисто словеснымъ. При томъ же соціализмъ трудами буржуазныхъ фальсификаторовъ и соціалистическихъ примиренцевъ и фабіанцевъ „возродился“ въ особой обезвреженной, беззубой и салонной формѣ.

Существенной чертой того „возвышеннаго и научнаго“ пониманія соціализма, къ которому примыкаютъ самые крайніе „струвисты“ (среди послѣднихъ есть и анти-соціалисты), является оцѣнка его съ точки зрѣнія требованій либерализма, какъ простого дополненія къ либеральной декларации правъ. Если присоединить къ „либерализаціи“ соціализма еще ползучій эволюціонизмъ („эволюція“, но не революція“), то мы будемъ имѣть передъ собою всѣ главнѣйшія основы возвышеннаго неосоціализма.

Въ уже упоминавшейся нами столь богатой содержаніемъ руководящей статьѣ г. Франка „Политика и идеи“ авторъ говоритъ о соціализмѣ слѣдующее:

„Міросозерцаніе соціализма шире и глубже тѣхъ экономическихъ или политическихъ формулъ, съ которыми оно обыкновенно отождествляется и приверженцами, и противниками его. „Диктатура пролетаріата“, экспропріація капиталистовъ, даже отмѣна частной собственности и обобществленіе орудій производства — не исчерпываютъ собой основной идеи соціализма и даже совсѣмъ не затрагиваютъ ея. Все это—лишь частичные, частью односторонніе, частью прямо невѣрные техническіе пріемы осуществленія соціализма. Даже соціализмъ, понимаемый, какъ коллективное хозяйство-

ваніе народа, или вообще, какъ извѣстная, заранѣе опредѣленная организація производства, обмѣна и распредѣленія— не можетъ имѣть принципіальнаго морально-политическаго значенія; онъ сводится къ вопросу о цѣлесообразности той или иной организаціи хозяйства — вопросу, который можетъ быть рѣшенъ лишь на основаніи указаній опыта и свободнаго научнаго изслѣдованія. Принципіально — въ соціализмѣ лишь перенесеніе идей свободы и равноправія личностей на экономическую и соціальную область; принципіально — въ немъ только требованіе отмѣны хозяйственной эксплоатаціи и соціальныхъ привилегій".

Въ этой замѣчательной тирадѣ г. Франкъ отметаетъ не только все, что составляетъ сущность научнаго соціализма, но даже всѣ существенныя черты соціализма вообще. Кто задумается, хоть на минуту, надъ финаломъ тирады, тому станетъ яснымъ ея мелко-буржуазный характеръ. Не очевидно ли, въ самомъ дѣлѣ, что идеалъ парцелляризма, дробной самостоятельной собственности, постоянно вновь и вновь возникавшій у идеологовъ разореннаго крестьянства и мѣщанства, по Франку, оказывается соціалистическимъ?

Съ особенной силой проявилась недостаточность либеральной декларацiи правъ немедленно послѣ ея возникновенія, когда народные низы, осуществивъ ее, нисколько не улучшили ни своего экономическаго, ни своего „морально-политическаго" положенія. Для взволнованныхъ народныхъ массъ скоро стало въ высшей мѣрѣ ясно, что лозунги свободы и братства остаются фикціями до тѣхъ поръ, пока не получила вполнѣ реальнаго содержанія — а не только политико-юридическаго—идея равенства. Уже наиболѣе смѣлые изъ якобинцевъ доходили до сознанія необходимости уничтоженія „хозяйственной эксплоатаціи и соціальныхъ привилегій", отнюдь не выходя, однако, изъ рамокъ мелкобуржуазнаго парцелляризма.

Гракхъ-Бабефъ сдѣлалъ шагъ дальше: исходя изъ той же

потребности гарантировать свободу гражданъ ихъ экономическою обезпеченностью, но видя въ то же время неосуществимость мечтаній Сенъ Жюста и Коло д'Эрбуа о „болѣе равномѣрномъ распредѣленіи богатствъ", онъ пришелъ къ своей идеѣ коммунизма, дѣйствительно всецѣло являющагося революціоннымъ завершеніемъ декларацiи правъ. Но даже Бабефъ—поскольку онъ все же былъ соціалистомъ—сознавалъ противоположность между провозглашеніемъ декларацiи въ области государственнаго права и проведеніемъ ея въ живую, общественную жизнь. Въ „Манифестѣ равныхъ" мы читаемъ:

„Съ незапамятныхъ временъ намъ лицемѣрно повторяютъ: люди—братья, и съ незапамятныхъ же временъ наиболѣе унизительное неравенство тяготѣетъ надъ человѣческимъ родомъ. Съ тѣхъ поръ, какъ существуютъ гражданскія общества, принципъ равенства, это прекраснѣйшее достояніе человѣка, никѣмъ не оспаривался, но до сихъ поръ онъ не могъ когда-либо осуществиться на дѣлѣ. Равенство осталось ничѣмъ инымъ, какъ прекрасной и безплодной фикціей закона".

„Теперь же, когда громче, чѣмъ когда-либо, требуютъ его осуществленія, намъ отвѣчаютъ: „Замолчите, несчастные! фактическое равенство — одна лишь химера; вы должны довольствоваться условнымъ равенствомъ: всѣ вы равны передъ закономъ. Чего вамъ еще нужно, мерзавцы?!"— Чего вамъ еще нужно? Послушайте же и вы, законодатели, богачи-собственники! Намъ нужно не только это равенство, написанное въ декларацiи правъ человѣка и гражданина,— мы требуемъ, чтобы оно существовало среди насъ, подъ крышей нашихъ домовъ"...

Сравните теперь эти послѣднія слова съ той глубокой характеристикой, которую даетъ той же оторванности отъ жизни гражданскихъ свободъ Карлъ Марксъ („Еврейскій вопросъ"):

„Тамъ, гдѣ политическій строй достигъ полнаго своего совершенства, человѣкъ не только въ мысляхъ, не только въ сознаніи, но и въ дѣйствительности, въ жизни ведетъ двоякую —небесную и земную—жизнь, жизнь въ политическомъ коллективѣ, гдѣ онъ является существомъ, по преимуществу, общественнымъ, и жизнь въ буржуазномъ обществѣ, въ которомъ онъ участвуетъ, какъ человѣкъ частный, въ которомъ онъ остальныхъ людей разсматриваетъ, какъ средство, самъ унижаетъ себя до роли средства и становится игрушкой чуждыхъ ему силъ. Политическій строй такъ же спиритуалистически относится къ буржуазному обществу, какъ небо—къ землѣ. Государство находится въ такомъ же противорѣчіи къ буржуазному обществу, оно такимъ же образомъ одерживаетъ верхъ надъ нимъ, какъ религія—надъ ограниченностью свѣтскаго міра, т. е. государство также даетъ возможность буржуазному обществу подчинить себѣ само государство, заставить его вновь признать и возстановить это общество. Человѣкъ въ ближайшей ему дѣйствительности, въ буржуазномъ обществѣ является существомъ свѣтскимъ. Здѣсь, гдѣ онъ для себя и для другихъ является дѣйствительнымъ индивидуумомъ, онъ—явленіе реальное. Въ государствѣ, наоборотъ, гдѣ человѣкъ является существомъ родовымъ, онъ—мнимый участникъ воображаемаго суверенитета, онъ лишенъ своей дѣйствительной индивидуальной жизни и наполненъ недѣйствительной всеобщностью“.

Но Марксъ не ограничивался тѣмъ, что отмѣчалъ безжизненную абстрактность либерализма; соціализмъ никогда не казался ему простымъ завершеніемъ и окончательнымъ осуществленіемъ буржуазной „декларацiи правъ человѣка“ и именно потому, что онъ насквозь видѣлъ ея буржуазность не только въ ея недостаткахъ, но въ самой ея сущности. Я извиняюсь передъ читателемъ, но не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести хотя и длинную, но безконечно

поучительную, относящуюся сюда, цитату изъ той же статьи Маркса:

„Права человѣка, какъ таковыя,—droits de l'homme—отличаются отъ правъ гражданина—droits du citoyen. Кто же является этимъ homme'омъ, отличнымъ отъ citoyen'а? Никто иной, какъ членъ буржуазнаго общества.

Почему членъ буржуазнаго общества называется „человѣкомъ", человѣкомъ вообще, почему права его называются правами человѣка? Чѣмъ объясняемъ мы этотъ фактъ? Соотношеніемъ между политическимъ государствомъ и буржуазнымъ обществомъ, сущностью политической эмансипаціи.

Прежде всего, мы констатируемъ тотъ фактъ, что такъ называемыя права человѣка—droits de l'homme—въ отличіе отъ droits du citoyen являются ничѣмъ инымъ, какъ правами члена буржуазнаго общества, т. е. эгоистическаго человѣка, человѣка, отрѣзаннаго отъ остальныхъ людей и общественнаго коллектива. Самая радикальная конституція, конституція 1793 года, провозглашаетъ: „Права естественныя и неотчуждаемыя суть: равенство, свобода, безопасность и собственность",—но въ чемъ заключается эта свобода?—„Свобода есть право человѣка дѣлать все, что никому не вредитъ (или—не вредитъ ничьимъ правамъ)".

Итакъ, свобода есть право дѣлать все то, что не вредитъ никому другому. Предѣлы, въ которыхъ каждый можетъ дѣлать все, что ему угодно, не вредя другимъ, отмежеваны закономъ точно такъ же, какъ граница двухъ полей отмежевывается кольями. Рѣчь идетъ о человѣческой свободѣ, какъ изолированной, сведенной къ себѣ самой, монадѣ.

„Право человѣка на свободу основано не на связи между людьми, а, напротивъ, на отчужденіи людей другъ отъ друга. Это право и есть право на такое отчу-

жденіе, право ограниченнаго, замкнутаго въ самомъ себѣ, индивидуума.

Практическое примѣненіе права человѣка на свободу заключается въ правѣ человѣка на частную собственность.

А въ чемъ заключается право человѣка на частную собственность?

Право собственности—это право каждаго гражданина пользоваться и по своему произволу располагать своимъ имуществомъ, своими доходами, плодами трудовъ своихъ и своего промысла".

„Итакъ, право человѣка на частную собственность, есть право произвольно (a son gré), не считаясь съ другими людьми, независимо отъ всего общества, пользоваться и распоряжаться своимъ имуществомъ; оно есть право на своекорыстіе. Вышеупомянутая индивидуальная свобода и это ея примѣненіе являются основой буржуазнаго общества. Оно заставляетъ каждаго человѣка видѣть въ другомъ человѣкѣ не осуществленіе, а ограниченіе его собственной свободы".

„Остаются другія права человѣка—l'egalité и la sûreté—равенства и безопасности.

L'egalité, въ его неполитическомъ смыслѣ, означаетъ здѣсь не что иное, какъ вышеразобранная liberté, а именно: что каждый человѣкъ одинаково мыслится, какъ такая замкнутая въ себѣ монада.

Что касается безопасности, то она „заключается въ покровительствѣ, оказываемомъ обществомъ каждому своему члену въ дѣлѣ охраны его личности, его правъ и его имущества. Безопасность есть высшее соціальное понятіе буржуазнаго общества, есть полицейское понятіе, будто все общество существуетъ только для того, чтобы каждому изъ принадлежащихъ къ нему людей гарантировать неприкосновенность его личности, его правъ и его собственности".

„Ни одно изъ такъ называемыхъ правъ человѣка не идетъ такимъ образомъ дальше эгоистическаго человѣка, человѣка, какъ члена буржуазнаго общества, какъ индивидуума, руководимаго только своимъ частнымъ произволомъ, оторваннаго отъ всего общественнаго цѣлаго. Въ этихъ правахъ человѣкъ далеко не мыслится, какъ существо родовое, напротивъ, сама родовая жизнь, общество мыслится, какъ внѣшнія рамки для индивидуума, какъ ограниченіе его первоначальной самостоятельности. Единственнымъ связующимъ звеномъ для людей являются естественная необходимость, потребности и частные интересы, сбереженіе своей собственности и своей эгоистической личности".

Единственно принципіально важное, по мнѣнію Франка, т. е. отмѣна „хозяйственной эксплоатаціи", оставляетъ возможность господства за мелкой частной собственностью, при самой крайней изолированности и даже самомъ скотскомъ благополучіи или же нищенскомъ перебиваніи съ хлѣба на воду,—словомъ, со всѣми прелестями независимаго существованія владѣльца парцеллы. Любое стадо свиней осуществляетъ этотъ возвышенный идеалъ въ своей средѣ: ни соціальныхъ привилегій, ни эксплоатаціи свиньи свиньею въ свиномъ стадѣ не существуетъ. Г. Франкъ забылъ бездѣлицу,—онъ забылъ, что первѣйшимъ принципомъ всякаго соціализма является солидарность, организованное для всеобщаго благополучія сотрудничество. Въ частности же научный соціализмъ рѣетъ еще гораздо выше, ставя въ то же время свои задачи гораздо конкретнѣе. Тутъ констатируется сдѣланный уже огромный успѣхъ въ соціализаціи труда, двѣ стороны котораго суть: растущая организованность сотрудничества и ростъ власти человѣка надъ природой. Препятствіемъ для дальнѣйшихъ успѣховъ на этомъ пути человѣческой любви, взаимопомощи и мощи является противодѣйствующее тенденціямъ обобществленнаго труда—индивидуальное присвоеніе. Разбить стѣсняю-

щія прогрессъ производительныхъ силъ рамки частной собственности на орудія производства—вотъ задача современнаго соціализма, которую г. Франкъ старается подмѣнить идеаломъ Колло д'Эрбуа, при отсутствіи, конечно, якобинской рѣшительности, свойственной послѣднему.

Почему же г. Франкъ именно такъ опредѣлилъ „существенное“ въ соціализмѣ? А именно потому, что сердце его трепещетъ паѳосомъ „декларацiи права“, а трепещетъ оно потому, что каждый к.-д. есть „членъ буржуазнаго общества, индивидъ, руководимый своимъ частнымъ произволомъ, оторванный отъ общественнаго цѣлаго“. Соціализмъ Франка гарантируетъ и закрѣпляетъ этотъ произволъ и эту оторванность,—соціализмъ Маркса замѣняетъ ее широкой и свѣтлой солидарностью, сліяніемъ „матеріальной жизни человѣка“ съ „родовою жизнью человѣчества“.

Я долженъ замѣтить, что Франковская постановка вопроса настолько свойственна „буржуазнымъ“ соціалистамъ, что попадается у такихъ, напр., марксистскихъ публицистовъ, какъ Антоніо Лабріола *). Надо замѣтить, однако, что Антоніо Лабріола, вопреки рекомендаціямъ г. Тотоміанца и Плеханова, отнюдь не признавался въ Италіи ортодоксальнымъ соціалдемократомъ. Вождю лѣваго крыла итальянскихъ соціалдемократовъ, Артуро Лабріола, неоднократно приходилось разъяснять разныя непріятныя недоразумѣнія, возникавшія изъ сходства фамилій. Врядъ ли Плехановъ одобрилъ-бы такія, напр., положенія Антоніо Лабріола: „Мы, соціалисты, стремимся именно къ тому, чтобы осуществить на дѣлѣ абсолютные принципы права и морали“.

Настоящій соціалистъ, хотя и не пренебрежетъ указаніемъ на то, что истинная свобода даруется только соціа-

*) См. его брошюру „О соціализмѣ“. Итальянск. раб. биб. стр. 11.

лизмомъ, никогда не скажетъ, что осуществленіе индивидуальной свободы составляетъ самую существенную задачу соціализма.

III.

Мы видѣли, какъ представители лѣваго крыла струвистовъ, съ глубокомысленнымъ видомъ философски выдѣляя истинную сущность соціализма, калѣчатъ его, подмѣняя его истинное общественно-трудовое значеніе—убого-индивидуалистическимъ. Но если въ рукахъ этихъ пресловутыхъ идеалистовъ, неизмѣнно преисполненныхъ экстаза и бесѣдующихъ съ вѣчнымъ благомъ и ангелами его, безнадежно гаснетъ пролетарскій идеалъ, то чего же можно ждать отъ того пути послѣдовательныхъ реформъ, который эти поборники справедливости считаютъ единственно возможнымъ и единственно правильнымъ?

Среди иниціаторовъ шумнаго идеалистическаго движенія въ Россіи очень видную роль игралъ г. Новгородцевъ. Это онъ провозгласилъ въ предисловіи къ извѣстному сборнику „Проблемы идеализма“, что позитивизмъ окончательно умеръ и похороненъ; онъ же заодно похоронилъ и марксизмъ. Ни тотъ, нидругой отъ этого не умерли, а крикливое идеалистическое движеніе въ концѣ концовъ не нашло отклика даже въ широкихъ слояхъ русской буржуазной публики и выродилось въ маленькое, почти совершенно слившееся было съ декадентствомъ теченіе. То, что часть кадетской партіи подняла знамя идеализма, уже вылившееся на землю, свидѣтельствуетъ лишь о крайней трудности для буржуазіи найти предъ лицомъ пролетарской философіи—хоть сколько-нибудь приличную идеологію.

Въ героическій періодъ, стоя во главѣ немногочисленной, но живой компаніи авторовъ „Проблемъ“, г. Новгородцевъ широкимъ и не лишеннымъ изящества жестомъ

бросилъ перчатку всѣмъ юристамъ міра, а заодно и сторонникамъ экономическаго матеріализма, во имя прекрасной дамы—„Естественнаго Права“.

Г. Новгородцевъ со справедливымъ негодованіемъ доказывалъ представителямъ юридической науки, что имъ чужды сколько-нибудь широкіе горизонты, сколько-нибудь творческія задачи. Право они берутъ, какъ нѣчто данное, и напрягаютъ свои ученыя головы только для того, чтобы привести въ порядокъ, въ возможно болѣе логически стройную картину, чтобы кодифицировать тѣ отдѣльныя правовыя положенія, которыя падаютъ на ихъ лоно съ древа жизни. Г. Новгородцевъ противопоставлялъ этому новую юридическую науку, которая творитъ право, исходя изъ общихъ соображеній, изъ общихъ принциповъ, изъ ясно понятыхъ требованій общественнаго блага. Все это было хорошо. Нелѣпы были только два утвержденія воинственнаго юриста-новатора: 1) будто сторонникамъ экономическаго матеріализма также не остается никакой другой задачи, какъ фаталистически объяснять каждое данное право, въ качествѣ необходимой и неизбѣжной надстройки надъ экономическимъ порядкомъ; что имъ совершенно чуждо всякое правовое творчество; и 2) что такое творчество вообще мыслимо лишь съ признаніемъ вѣчныхъ абсолютныхъ принциповъ блага, какъ своего рода кормчихъ звѣздъ для направляющаго общественную ладью юриста.

Въ настоящее время даже ребенку извѣстно, что соціалдемократія выдвигаетъ цѣлый громадный рядъ правовыхъ преобразованій, имѣющихъ тенденцію совершенно перестроить нашъ общественный строй, или, вѣрнѣе, привести его политическія и правовыя формы въ согласіе съ основнымъ экономическимъ фактомъ—растущимъ обобществленіемъ труда. Всѣмъ извѣстно также, что эта партія не склонна сентиментально предполагать, будто подобный переворотъ можетъ быть доведенъ до конца идилически-

мирнымъ путемъ. Извѣстно также, что, кромѣ программы полнаго пересозданія всего современнаго правопорядка, соціалдемократія выдвигаетъ также программу цѣлаго ряда такихъ мѣропріятій, которыя, будучи вполнѣ осуществимы въ нѣдрахъ капиталистическаго строя, облегчаютъ по ніе пролетаріата и въ особенности его борьбу. Наконецъ, всѣмъ извѣстно, что эта широкая и сложная программа творчества въ области права, которая не проводится въ жизнь цѣликомъ лишь вслѣдствіе остервенѣлаго сопротивленія буржуазіи, не нуждалась для своего возникновенія и распространенія и не будетъ нуждаться для своей побѣды ни въ абсолютахъ, ни въ естественномъ правѣ, а лишь въ правильномъ пониманіи классовыхъ интересовъ пролетаріата, совпадающихъ съ задачами дальнѣйшаго развитія производительныхъ силъ человѣчества.

Все же, какъ ни глубоки были заблужденія г. Новгородцева, можно же было ожидать, что на путь публицистики онъ выступитъ въ формѣ, сколько-нибудь соотвѣтственной всѣмъ торжественнымъ фонфарамъ его первой вызывающей статьи.

Увы! При новой встрѣчѣ съ г. Новгородцевымъ я испыталъ приблизительно то чувство, какое испытала Горьковская Варвара изъ „Дачниковъ“, увидѣвъ нѣкогда поэтически кудряваго писателя Шалимова совершенно полинявшимъ и облѣзшимъ. Г. Новгородцевъ полинялъ до неузнаваемости. Когда онъ говорилъ „вообще“, у него и тонъ былъ такой возбужденный и молодой, свои же „Два этюда“ въ 3-емъ номерѣ „Полярной Звѣзды“ онъ написалъ какимъ-то сѣренькимъ и растерянным слогомъ.

Насъ интересуетъ въ настоящее время только второй этюдъ, носящій громкое названіе „Право на достойное человѣка существованіе“ и открывающій одинъ изъ важныхъ этаповъ въ направленіи къ „абсолютному общественному благу“.

„Достойное человѣка существованіе!“ Если мы, трудовые позитивисты, неудостоивавшіеся лицезрѣть абсолютное благо, подъ достойнымъ человѣка существованіемъ разумѣемъ нѣчто большое и великолѣпное, свѣтящее намъ лишь въ отдаленіи, потому что „человѣкъ—это звучитъ гордо“, если Гейне выяснялъ программу нашихъ требованій, упоминая о пурпурѣ и мраморныхъ храмахъ, божеской красотѣ тѣлъ и вереницѣ разнообразныхъ и утонченныхъ утѣхъ,—то что скажетъ намъ о достойномъ человѣка существованіи идеалистъ, для котораго человѣческая личность божественна! Какъ громадны, глубоки и всеобъемлющи должны быть тѣ требованія, которыя идеалистъ обязанъ представить обществу, настаивая на гарантіяхъ существованія, достойнаго богочеловѣка, какимъ является въ его глазахъ всякій человѣческій индивидъ!..

О, какъ далекъ отъ всего этого нашъ полинявшій рыцарь естественнаго права. На первыхъ же страницахъ мы встрѣчаемъ такое ограниченіе задачи! „Когда говорятъ о правѣ (курсивъ автора) на достойное человѣческое существованіе, то подъ этимъ слѣдуетъ разумѣть не положительное содержаніе человѣческаго идеала, а только отрицаніе тѣхъ условій, которыя совершенно исключаютъ возможность достойной человѣческой жизни“ (Курсивъ мой).

Читатель, несомнѣнно, сразу заинтересуется, что значитъ „совершенно исключить“ достойное человѣка существованіе. Иному покажется, напримѣръ, что всякая эксплоатація наноситъ смертельную рану человѣческому достоинству, но г. Новгородцевъ безконечно скромнѣе,—онъ ограничивается задачей: „Освободить отъ гнета такихъ условій жизни, которыя убиваютъ человѣка физически и нравственно“.

Итакъ, читатель, если вы не убиты, то, значитъ, ведете

достойное человѣка существованіе. Г. Новгородцевъ съ граціей безсознательности конкретизируетъ это свое положеніе слѣдующимъ образомъ:

„Можно спорить о восьми и девятичасовомъ рабочемъ днѣ, но совершенно очевидно, что пятнадцать или восемнадцать часовъ работы есть безсовѣстная эксплоатація. Можно спорить о всевозможныхъ размѣрахъ жилища въ сторону отклоненія вверхъ отъ минимальной нормы, но безспорно, что темные и сырые подвалы противорѣчатъ всякимъ нормамъ допустимаго и возможнаго".

Какъ видите, новое „право" г. Новгородцева отнюдь не стѣсняетъ даже самыхъ дикихъ формъ эксплоатаціи. Г. Новгородцевъ, написавши: „15 часовъ", повидимому, усомнился, всякій ли читатель „Полярной Звѣзды" согласится съ нимъ, что это—„безсовѣстная эксплоатація", и счелъ нужнымъ упомянуть еще о 18-ти часовомъ рабочемъ днѣ. По г. Новгородцеву выходитъ, что 14 часовъ труда, пожалуй, и допустимы принципомъ достойнаго человѣка существованія.

А между тѣмъ установленіе этого удобнаго и, по г. Новгородцеву, столь непритязательнаго права чревато самыми желательными для эксплоатирующихъ классовъ результатами. Эту идею г. Новгородцевъ рѣшается, впрочемъ, выдвинуть лишь съ извѣстной прикровенностью.

„То, что особенно гнететъ и удручаетъ труженниковъ жизни, это—сознаніе своей беззащитности и безпомощности въ жизненной борьбѣ. Высказать въ самомъ законѣ принципъ поддержки всѣхъ слабыхъ и беззащитныхъ—это значитъ возвысить въ нихъ чувство собственнаго достоинства, укрѣпить сознаніе, что за нихъ стоитъ с а м ъ з а к о н ъ".

Конечно, г-ну Новгородцеву очень хорошо извѣстно, что сознаніе своей беззащитности, сознаніе того, что „самъ законъ" есть лишь выраженіе воли и интересовъ эксплоа-

таторовъ, не только, „гнететъ и удручаетъ“ рабочій классъ, но прежде всего сплачиваетъ его въ опасную для господствующихъ и желанную для всякаго истиннаго сторонника достоинства человѣка“—боевую классовую партію. Итакъ, „да слышатъ имѣющіе уши слышати“, только бы не были ужъ окончательны убійственны подвалы, только бы не по 18 часовъ изнурять рабочаго—и въ немъ „укоренится сознаніе“, что буржуазный „самъ законъ“ за него стоитъ!

Г. Новгородцевъ выдвигаетъ и практическіе результаты, вытекающіе, по его мнѣнію, изъ его высокаго принципа. Первое—право на трудъ.

Читатель-марксистъ, конечно, скептически улыбнется. Онъ знаетъ, что „право на трудъ“ было до сихъ поръ либо требованіемъ туманныхъ полу-соціалистическихъ головъ, вродѣ Луи Блана, либо недурнымъ средствомъ въ рукахъ буржуазіи нѣкоторое время дурачить пролетаріатъ. Карлъ Марксъ подвергъ это высокопарное и трогательное словосочетаніе рѣзкой критикѣ и доказалъ, что это право найдетъ свое реальное осуществленіе лишь послѣ обобществленія орудій производства.

Но у г. Новгородцева словосочетаніе это имѣетъ даже не луи-блановскій, а просто вульгарно-кадетскій смыслъ. Онъ спрашиваетъ:

„Что такое, какъ не признаніе на трудъ лежитъ въ основѣ той реформы, которая требуетъ увеличенія площади землепользованія населенія, обрабатывающаго землю личнымъ трудомъ?“

Не задумываясь, отвѣчаемъ: у кадетовъ въ основѣ этой реформы лежитъ извѣстный „Долгоруковскій“ страхъ передъ грознымъ крестьянскимъ движеніемъ.

Идеализмъ г. Новгородцева, какъ и слѣдовало ожидать, отнюдь не вывелъ его за предѣлы чисто помѣщичьихъ формъ „реформы“.

„Вся эта реформа въ программѣ конституціонно-демо-

кратической партіи ставится на почву права и производится съ должнымъ уваженіемъ отчуждаемыхъ правъ землевладѣльцевъ-собственниковъ".

Полюбуйтесь на пылкаго рыцаря „естественнаго права", благоговѣйно снимающаго свой цилиндръ передъ вопіющей несправедливостью, освященной историческимъ правомъ. Неужели вы думаете, читатель, что Новгородцевъ не знаетъ, что „должное уваженіе" означаетъ здѣсь закрѣпленіе эксплоатаціи, налогъ на тотъ самый трудъ, право на который провозглашается. Да, помѣщики провозглашають для крестьянина „право трудиться" на помѣщиковъ!

Второй выводъ—профессіональные союзы. Г. Новгородцевъ обливается холоднымъ потомъ, чтобы его не заподозрѣли въ близости къ разрушительнымъ идеямъ и пишетъ языкомъ, достойнымъ канцеляріи Витте:

„Здѣсь возникаетъ задача огромной сложности—примирить свободу профессіональныхъ союзовъ съ государственнымъ интересомъ. На почвѣ свободы союзовъ создаются такія могущественныя организаціи, которыя при извѣстныхъ условіяхъ могутъ угрожать правильному теченію государственной жизни и приводить въ разстройство самыя основы общественнаго строя. Здѣсь необходимо найти извѣстную линію примиренія, и средствомъ къ этому является созданіе центральныхъ и посредствующихъ инстанцій, которыя силою своего общественнаго авторитета могли бы предотвращать возможные конфликты и способствовать удовлетворенію требованій, осуществимыхъ при данныхъ условіяхъ".

Браво, браво! Не кажется ли вамъ, проф. Новгородцевъ, что „задачи огромной сложности" недурно разрѣшилъ въ свое время талантливый Зубатовъ? Проф. Озеровъ, котораго вы цитируете, придерживается этого мнѣнія.

Третье слѣдствіе — государственное страхованіе.

И нашъ Икаръ, взлетавшій къ горячему солнцу „Абсо-

люта“, лежитъ теперь въ курятникѣ и бормочетъ; „Моя задача—лишь выяснить, что всѣ эти реформы уже проводятся въ жизнь нѣкоторыми законодательствами“.

Въ марксизмѣ возвышенный идеализмъ неразрывно слитъ съ реальной практикой. Не трудно видѣть, какой огромный интересъ имѣетъ буржуазія разорвать этотъ союзъ, отослать на небеса идеалъ, а на землѣ оставить липкую улитку „реформизма“. Но ни размагнитившіеся Бернштейны, ни идеалистическія стряпухи, убирающія столъ для нарождающейся русской „прогрессивной“ буржуазіи, не расторгнутъ связи пламеннаго идеализма и кипучей революціонной практичности, связи, которою характеризуется мощное рабочее движеніе нашихъ дней.

Варвары.

(Новая пьеса **М. Горькаго**).

Надъ безконечно широко-раскинувшейся деревенской „Соломенной Россіей“ съ давнихъ-давнихъ поръ выросла мелко городская „деревянная Россія“. Выросла на больной странѣ какими-то чирьями и волдырями. Герой чеховской повѣсти „Моя жизнь“ говоритъ: „Павлово дѣлаетъ замки, Кимры—сапоги, но что дѣлаетъ нашъ городъ, я никогда не могъ понять“. Трудно въ самомъ дѣлѣ понять, что дѣлаетъ маленькій уѣздный русскій городъ. Онъ только ничтожный, но болючій центръ скверной двойной эксплоатаціи. Совершается въ немъ въ самыхъ отвратительныхъ формахъ жестокое и тугое первоначальное накопленіе. Безжалостно и основательно пьютъ, потѣя, словно за самоваромъ, соки десятковъ тысячъ обнищалыхъ, одичалыхъ мужиковъ. Маленькіе капиталисты зарождаются здѣсь, и капиталы ихъ, принося не по размѣру большой вредъ, отнюдь не приносятъ той относительной пользы, которая дѣлаетъ капиталъ исторической цѣнностью. Ютятся въ такихъ городкахъ всевозможные чиновники, маленькіе тоненькіе щупальцы, сливающіеся потомъ въ жадный губернскій кровососъ большого всероссійскаго спрута.

Всѣмъ въ этихъ городахъ невыносимо скучно. Голый развратъ, адюльтеръ отъ тощищи, запойное пьянство, карты, да еще, пожалуй, какой-нибудь меломанъ отъ нечего дѣлать примется за трудную задачу обучить „моржей“-пожарныхъ „играть во весь духъ на трубахъ“.

Казалось бы, что можетъ быть интереснаго въ этихъ жалкихъ и дурныхъ людяхъ, скучно, глупо и не для себя разоряющихъ измученный народъ? Между тѣмъ, интереснаго тутъ много, даже если брать всѣ эти захолустные персонажи независимо отъ ихъ столкновенія съ большою жизнью. Интересны тутъ всѣ аберраціи человѣческой личности. Вѣдь и тутъ, какъ всюду, жаждутъ счастья, почета и любви, только не имѣютъ сколько-нибудь правильнаго представленія о томъ, въ чемъ заключаются жизненныя блага, какими путями идти къ нимъ.

Между людьми средняго калибра попадаются здѣсь и крупные люди. Но уѣздный городъ все измельчаетъ: обыкновенные средніе люди кажутся здѣсь мерзкими и лилипутами, а крупные люди—смѣхотворными чудаками. Нельзя не смѣяться надъ уѣздной „фауной“, но разсмотрѣть за ея каррикатурными образчиками глубокую, и я бы сказалъ, чистую трагедію—это безконечно поучительнѣе.

Въ центрѣ городской обывательщины стоитъ въ пьесѣ Горькаго шестидесятилѣтній городской голова Рѣдозубовъ. Это властная домостроевская натура.

По внѣшнему и по внутреннему облику онъ похожъ на многихъ царей и правителей. Одѣньте Василія Ивановича въ широкую пурпурную одежду и сдѣлайте его изъ уѣзднаго городского головы венеціанскимъ дожемъ—онъ былъ бы, быть можетъ, даже замѣчательнымъ дожемъ. Въ немъ много непреклонной воли внушительнаго авторитета, умѣнья властвовать, бездна чувства собственнаго достоинства; и все это приняло формы и смѣшныя, и мучительныя. Въ долгой и жестокой эксплоатаціи, по словамъ Рѣдозубова,

онъ своимъ горбомъ наживалъ свои деньги; противопоставляя себя помѣщицѣ, по его мнѣнію, паразиткѣ, Рѣдозубовъ заявляетъ, что ему „жалко“ накопленныхъ средствъ, а, между тѣмъ, онъ съ истинно барскимъ шикомъ много лѣтъ швыряетъ деньги, отстаивая по судамъ нелѣпые каменные столбы, выстроенные имъ среди улицы. Онъ „никогда никому не уступалъ“; такимъ образомъ, увѣренность въ своей силѣ, поэзію силы, Рѣдозубовъ безсознательно ставитъ выше наживы. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ характеризуетъ его такъ:

„Человѣкъ,—замѣтить смѣю,—жестокій: одну супругу въ гробъ забилъ, другая—въ монастырь сбѣжала, одинъ сынъ—дурачкомъ гуляетъ, другой—безъ вѣсти пропалъ...“

И, однако, эти изувѣрства уживаются въ немъ съ горячею любовью къ тѣмъ же дѣтямъ. Въ атмосферѣ крошечнаго городка Василій Ивановичъ создалъ себѣ иллюзію, будто онъ дѣйствительно п е р с о н а, при томъ же хранитель какихъ-то весьма важныхъ и почтенныхъ устоевъ. Но „желѣзная Россія“, Россія крупно капиталистическая ударила своимъ стальнымъ пальцемъ по деревяннымъ стѣнамъ пыльныхъ домовъ, по искалѣченнымъ сердцамъ заплѣснѣвѣвшихъ людей и рухнуло все величіе Рѣдозубова. Приспособиться, унизиться, какъ дѣлаетъ это вульгарный наживало Притыкинъ, Рѣдозубовъ не можетъ. Онъ противосталъ непонятнымъ „фармазонамъ“, занесшимъ въ его уголъ струю непривычнаго холоднаго воздуха, и его авторитетъ разсыпался прахомъ,—его нисколько не испугались, его принизили и окончательно отняли у него послѣднихъ дѣтей, и онъ сломился, онъ растерялся, онъ со слезами самаго истиннаго горя отпускаетъ отъ себя свою дочь, въ концѣ концовъ онъ оказался просто несчастнымъ человѣкомъ, и все несомнѣнное богатство и ветхозавѣтное былое благородство его натуры, конечно, не помогло ему.

Но развѣ стойкіе упрямые люди, люди чести по пре-

имуществу, кряжистыя и цѣльныя каріатиды, которыя могутъ прямо и гордо сдержать на своихъ плечахъ цѣлый строй идей, вѣрованій и поступковъ не внушительная, не прекрасная сила? Все дѣло въ томъ, что поддерживаютъ эти гордыя каріатиды: въ деревянной Россіи они поддерживаютъ гору ненужнаго хлама.

Какъ смѣшна эта Надежда Поликарповна Монахова, которая думаетъ, что герцогини и аристократки всегда ходятъ въ красномъ, которая не читаетъ ничего, кромѣ скверныхъ напыщенныхъ романовъ, и говоритъ только объ одной любви, такъ что мѣстная старая барыня конфузится за ея глупость. Между тѣмъ этотъ вполнѣ реальный, вполнѣ возможный во всякомъ захолустьѣ образъ, при сколько-нибудь глубокомъ къ нему отношеніи, оказывается столь чистымъ, высокимъ, даже торжественнымъ, что я не знаю, какой другой образъ въ драматургіи послѣднихъ лѣтъ могъ бы я поставить рядомъ.

Что поражаетъ въ Надеждѣ—это ея спокойная, какъ у тихой, широкой рѣки, увѣренность въ себѣ. Свои фразы, дико звучащія въ ушахъ собесѣдниковъ, она говоритъ съ полной вѣрой въ то, что ей знакома самая сущность любви. Говоритъ, какъ власть имущая. Ея красота внушала болѣе интеллигентнымъ провинціаламъ непривычно большую страсть, иногда разбивавшую ихъ жизнь. Но эти бѣдные люди могли ей дать такъ же мало, какъ маленькій паукъ — ея акцизный мужъ. Чуя въ себѣ великія возможности любви, она ставитъ себѣ героическій, романтическій, недосягаемый идеалъ, ставитъ спокойно среди всѣхъ этихъ мужчинъ, у которыхъ „даже какъ будто вовсе глазъ нѣтъ“, въ трущобѣ, которую хорошо характеризуетъ исправникъ, говоря: „уѣздный городъ — и вдругъ герой, это даже смѣшно“. Развратный инженеръ Цыгановъ объясняетъ себѣ то, что Надежда притягиваетъ, какъ магнитъ, соображеніемъ о „голодномъ инстинктѣ, чуть прикрытомъ ве-

тошью романтики". Цыгановъ въ глубокомъ заблужденіи: голодный ѣстъ все не разбирая, а трудно быть разборчивѣе Надежды. Нѣтъ, въ ея лицѣ живетъ въ уѣздномъ городкѣ жажда большого и смѣлаго счастья и субъективная возможность его, да только вотъ героя нѣтъ, нѣтъ объективныхъ условій, некому откликнуться, нѣтъ тѣхъ сильныхъ рукъ, которыя могли бы взять это большое счастье. И красавица Надежда такъ и увяла бы, медленно угасая, все ожидая, все старѣя, смѣшная для сосѣдки барыни, „соблазнительная штучка" для разныхъ селадоновъ, мука, неразгаданная непостижимая мука для жалкаго, безумно влюбленнаго мужа и другихъ жалкихъ, безумно влюбленныхъ обывателей.

Желѣзная Россія любитъ выколачивать изъ деревянной все, что въ ней есть мало-мальски цѣннаго. Съ ея пришествіемъ Надежда поднялась въ цѣнѣ, передъ ней открылись горизонты. Инженеръ Цыгановъ охотно пустилъ бы ее въ ходъ, онъ не пожалѣлъ бы съ шикомъ бросить съ шикомъ нажитыя тысячи на большой кутежъ въ Парижѣ съ „женщиной-магнитомъ". Блескъ столицы міра, богатая и полная приключеній жизнь, жаркій воздухъ той самой великосвѣтской романтики, о которой столько мечтала Надежда,—все это можетъ она взять теперь, и ничего этого она не беретъ и предпочитаетъ даже смерть, потому что ей нужна только любовь, а для любви нуженъ герой.

Этого героя и она и другіе усмотрѣли въ героической фигурѣ желѣзной Россіи, въ представителѣ промышленной энергіи, выходцѣ изъ народа, инженерѣ-завоевателѣ—рыжемъ Черкунѣ. Энергически ломаетъ этотъ господинъ деревянную Россію, безъ труда опрокидываетъ онъ и каменные столбы и духовные устои Рѣдозубовской культуры. Но что же изъ этого? Какую же все-таки цѣнность, кромѣ усиленной еще эксплоатаціи, несетъ онъ съ собой? Почему вѣритъ онъ въ себя? Въ чемъ вообще его вѣра? Онъ опьяненъ процессомъ широкаго труда, процессомъ разрушенія,

процессомъ созиданія колоссальнаго желѣзнаго молоха. Но циничный и гнилой Цыгановъ выступаетъ рядомъ съ нимъ, и онъ-то вноситъ въ желѣзныя рамки, создаваемыя Черкуномъ, ихъ живое содержаніе—циничный развратъ и циничный грабежъ; на мѣсто упраздненнаго Рѣдозубова ставится совершенно уже трезвый и прозаически безсовѣстный Притыкинъ; уѣздная молодежь, несчастная и загнанная, потеряла даже тѣ примитивные нравственные устои, какіе у нея были, и, разожженная жаждой сладко-пьянаго, крупно-буржуазнаго „шартреза", пошла на неминуемую и вульгарную гибель. Старое деревянное рушится въ душахъ, новое, соотвѣтствующее желѣзной культурѣ, холодно, безчеловѣчно развертываетъ худшіе инстинкты, не приноситъ ни капли свѣта и тепла. Что изъ того, что Черкунъ поетъ дифирамбы „Симфоніи большого города"? Что изъ того, что въ немъ много силы и жизни?—онъ только безсознательное орудіе въ рукахъ слѣпой стихіи капитализма, онъ только его мускулистое тѣло, исполняющее волю и предначертанія его развратно-грабительской души — желѣзно-русской цыгановщины; и потому-то нѣтъ и не могло быть въ немъ того героизма, котораго жадно ищетъ Надежда. Внѣшней рѣшимости, внѣшней силы сколько угодно, но почувствовать обаяніе настоящей любви и настоящей свободы, протянуть руку за настоящимъ живымъ счастьемъ, сотворить его для себя не можетъ тотъ, кто не имѣетъ о немъ понятія, кто такъ же силенъ, такъ же холоденъ и автоматиченъ, какъ его сестра, другой агентъ-исполнитель капитала—машина. У этихъ господъ либо нѣтъ никакого внутренняго содержанія, кромѣ рабочей энергіи, безсмысленной, какъ паръ, либо содержаніемъ этимъ является циничная жажда наживы ради безмозглаго прожиганія жизни, ради безпутнаго мотовства.

Если живутъ „надежды" въ глубинѣ деревянной Россіи, то выполнить ихъ не дано героямъ грядущей эры пара и

стали. М. Горькій упомянулъ и о силахъ, которыя создаютъ рядомъ съ собою Цыгановы и ихъ патроны, о „разрушителяхъ“ иного типа, о сознательныхъ разрушителяхъ во имя будущаго золотого вѣка, во имя будущаго творчества. Но пока это слабые и неувѣренные ростки. У студента Лукина на губахъ всегда бродитъ недобрая и насмѣшливая улыбка, и говоритъ онъ не иначе, какъ съ ироніей, даже когда „проповѣдуетъ“. Онъ не очень—то вѣритъ въ свои силы и, уговаривая даровитую дѣвочку Катю бросить Рѣдозубовскій домъ для большихъ городовъ, онъ боится обѣщать ей что-нибудь опредѣленное; единственное, что онъ ей гарантируетъ, такъ это то, „что будетъ, по крайней мѣрѣ, молодость чѣмъ помянуть“. Онъ говоритъ: „не мы, какъ видно, создадимъ новое, нѣтъ, не мы! это надо понять... это сразу поставитъ каждаго изъ насъ на свое мѣсто“. А въ другомъ мѣстѣ: „открывайте глаза слѣпорожденнымъ— больше вы ничего не можете сдѣлать... ничего!“

Можно упрекнуть Горькаго за то, что въ его мрачной въ общемъ картинѣ нѣтъ болѣе свѣтлыхъ и болѣе опредѣленныхъ фигуръ, чѣмъ Лукинъ и Катя. Я думаю, однако, что отъ каждой драмы невозможно требовать, чтобы она была цѣлой маленькой энциклопедіей современной соціальной жизни. Драматургъ сдѣлалъ хорошо, сконцентрировавъ все наше вниманіе на столкновеніи деревянной Россіи съ желѣзной, на мукахъ этого процесса, на его глубокой всеобщей неудовлетворительности.

У меня нѣтъ возможности остановиться на недостаткахъ новой пьесы, потому что, сохраняя пропорцію между ея недостатками и ея достоинствами, приходится либо о недостаткахъ не упоминать, либо перечислить и разобрать весь тотъ огромный рядъ тончайшихъ наблюденій, психологическихъ откровеній, символическихъ контрастовъ и неизъяснимыхъ красотъ красочнаго, блещущаго афоризмами діалога, которыми Горькій сумѣлъ придать своему произведенію особую прелесть.

Быть можетъ, въ шумѣ текущаго политическаго момента эти соціально-психологическія сцены изъ жизни уѣзднаго города покажутся лежащими въ сторонѣ отъ господствующихъ направленій общественнаго интереса. Но обостренный политическій конфликтъ схлынетъ раньше, чѣмъ повсемѣстная, глубокая и страшная борьба крупно-капиталистической Россіи съ Россіей мелко-буржуазной. Художникъ помогаетъ намъ понять и оцѣнить это колоссальное явленіе варварской войны варваровъ двухъ типовъ въ непосредственныхъ переживаніяхъ живыхъ личностей, въ ихъ эфемерномъ или пустомъ торжествѣ, въ ихъ жалкой или трагической гибели.

Надо помнить, однако, твердо, что настоящую цѣну всѣмъ перипетіямъ этой войны можетъ дать лишь тотъ, кто, не цѣпляясь за точки зрѣнія дряхлаго уклада и его иллюзій, не задерживаясь на лжи или самообманѣ Черкуновской псевдо-философіи, минуетъ также абстрактно-моральную или абстрактно-эстетическую точку зрѣнія, лишь тотъ, кто, пойметъ, что безобразная желѣзная Россія, и только она, создаетъ почву для новой борьбы, для новаго конфликта, результаты котораго одни лишь въ состояніи спасти гибнущую во мглѣ уѣздныхъ трущобъ „Надежду“ и осуществить ея грезы съ такою ширью и яркостью, передъ которой поблекнутъ, какъ звѣзды передъ солнцемъ, фантастическія красныя платья романтическихъ „королевъ и аристократокъ“.

Оглавленіе.

	Стр.
Предисловіе	III—VIII
Дачники	1
Въ мірѣ неяснаго	36
О чести	73
Есть ли душа у японца	102
Діалогъ объ искусствѣ.	116
Философія и жизнь.	164
Храмъ или мастерская.	181
Экскурсія на „Полярную Звѣзду“ и въ окрестности.	190
Варвары	218

14497

Ленинградский Петр. Райсовета
БИБЛИОТЕКА
имени В. И. ЛЕНИНА
ул. Р. Люксембург д. 9

БИБЛИОТЕКА
имени тов. ЛЕНИНА.

Мк 116898/62 М50

7

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00028462592